З А Р У Б Е Ж Н Ы Е Za–Za З А Д В О Р К И

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БУМАЖНЫЙ ЖУРНАЛ/«БУМЖУР»

№ 2 (44), февраль 2018

В НОМЕРЕ:

Редакторская страничка 2

Владимир Алейников. Давние стихи 1964 3

Михаил Ковсан. Ты. Роман 23

Светлана Леонтьева. Очами божьими мы все глядим 56

Ирина Власова. Турция 61

Георгий Нипан. Среди дождя. Несколько историй про Алису и Гену (Продолжение. Начало в №9(39), 2017) 86

Максим Сентяков Поэма «Турнюр» 97

Ирина Сумарокова. Эпизоды безразмерной жизни. Роман 100

Валентин Нервин. Музей. Стихи 131

Наталия Шайн-Ткаченко. Два рассказа: Жемчужный Раврегель и Усмешка Экклезиаста 138

Виктор Орешкин. Тени Невского проспекета. Стихи 153

Ефим Гаммер. Хронпас. Мозаичная повесть мятежного столетия 155

Михаил Стригин. Замерзшие ладони. Стихи 183

Мария Купчинова. Подобно тому, как произрастают фиалки... 194

Анатолий Ливри. Обряд. Стихи 204

Лариса Петрашевич. Из тюрьмы да с сумой. Рассказ 207

Александр Балтин. Лаборатория. Стихи 222

Изабелла Кроткова. Болящая Берта и невидимый лекарь 226

Татьяна Чурус. Блажь, Из жизни, Сточная Яма 230

za·za PUBLISHING

Дюссельдорф

2018

Редакторская страничка

Дорогие друзья!

У нас добрая новость.

1 марта 2018 г. мы открываем Международный Литературный Конкурс в честь десятилетия проекта Za-Za. Приглашаем всех наших авторов, чьи сочинения хоть однажды были опубликованы в наших журналах (электронном или бумажном), или чьи книги были изданы в Za-Za Verlag, помериться силами и мастерством. Не сомневаемся, что наш Конкурс продемонстрирует высокий уровень своих участников.

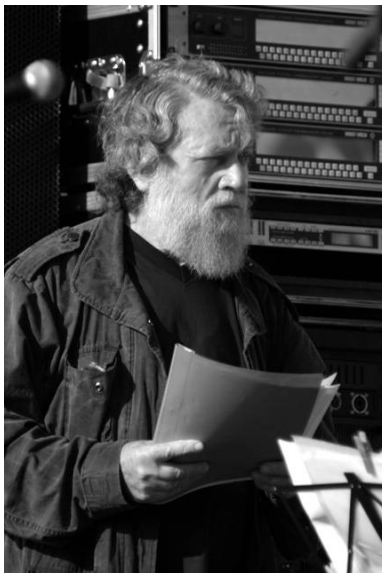
Таким образом, Конкурс «ЮБИЛЕЙ-10» в первую круглую дату нашего проекта, подведет итоги нашей совместной литературной работы.

Подробную информацию об этом событии можно найти на главной странице сайта под кнопкой меню «КОНКУРС».

Успехов и удачи всем вам, дорогие авторы проекта Za-Za!!!

Евгения Жмурко

Владимир Алейников. Давние стихи 1964



Русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился 28 января 1946 года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на Западе. При советской власти в отечестве не издавался. Более четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках, в том числе собрания сочинений в восьми томах. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии, книга «Нрав и права» — шорт лист премии «Писатель XXI века». Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс», альманаха «Особняк». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

Незнаемое, невспомненное... не уцелевшее на скрижалях... и вдруг сочно и мощно, нежно и трансцендентно явившееся несомненным вторым пришествием: явлением Поэта, что распахивает занавес, чтобы мы увидели живое, бьющееся сердце его любви.
Если наслоить эти стихи на время, когда они рождались на свет, понимаешь: их рождение — подвиг, но Поэт тогда ничего об этом не знал; он просто всегда поет, и всегда живет, и вот это безошибочное, отчетливое чувство вечной жизни его, к счастью, не покидает. Оно и дает ему силы жить там, где не выжить; творить там, где сама мысль о художестве, едва возникнув, тут же ставится на плац, под команду, по ранжиру.
Ранжир Поэтом давно нарушен, сбит; приказ сожжен и развеян по ветру. Поэт сам себе царь. "Ты царь! живи один..."
Стихи Владимира Алейникова тех баснословных лет — еще один подарок нам: чтобы мы не забывали о свободе и вольном воздухе, чтобы целовали ускользающую красоту настоящей поэзии; чтобы верили: горит звезда, никто не сможет погасить!
"Гори, звезда! — вернёшься ли? — тогда
Шагну к тебе..."

Елена Крюкова

1

* * *

Ах, апрель! — твои первые дни
Не умеют встречать и угадывать —
Так хотя бы тайком протяни
Горстку окон агатовых,

Этих окон, в которых сквозят,
Как солёные, тайные зёрна,
Чьи-то тени, не в силах сказать,
Почему они так безнадзорны,
Почему они так высоки
И поэтому очень близки,
Почему, научившись парить,
Или просто по парам, упрочившись,
Так боятся они отворить
Дверь одиночеству.

Поведи же хотя бы тайком
В переулки, встающие дыбом,
Где гречанки проносят с тоской
Свои груди — солёные рыбы,
Где заветно скрипят флюгера,
Семьям тесно у телевизоров,
Под гитару поют фраера
Горячо и непризнанно.

Я увижу — текут по ручьям
Непонятные токи пространства,
И приходит пора поручать
Первым встречным и тропы, и трассы,
Как в египетских душах камней
Просыпается чувство корней,
Как осколок разбитого зеркала
Бредит небом и дышит морем,
И тогда я пойму — крамольно
Всё, что молодо, всё, что зелено.

Я пойму — среди всех неудач,
Среди общей тяжёлой непрочности,
Счастлив тот, кто попросту зряч,
Если даже сильны одиночества.

Апрель 1964

* * *

Забор косил на левый бок —
А вдалеке, в пыли по пояс,
Как будто спичек коробок,
Болтался маленький автобус.

Ты, в красном платье до колен,
Светилась грустью неуместной —
Прервать её как встать с колен,
Но это было бы не к месту.

Дышало вечером село —
И в самом деле мир заполнив,
Умопомрачительно росло
Число минут, шагнув за полдень.

А мы в прибрежные дворы
Входили, долго пили воду,
Под жёлтой молнией жары
Дрожа, как два громоотвода.

Мы близились к развязке той,
Которая была уместна
Своей сквозною простотой,
Своею переменой места.

Огнеопасностью пронзив
Безволье хат, спорыш потрогав,
Сквозь пыль попахивал бензин,
Разлитый через всю дорогу.

Идёт автобус — подождать?
И на сиденьях ждать неловко?
Потом останется лишь встать
На предпоследней остановке.

Ведь до размолвки нам недолго! —
Но за плечи держали нас
Виденья месяцев медовых
И прочих басен и прикрас.

Брели мы, грустью истекая
Не зная — что, не зная — как —
Огромным рыжим истуканом
В глаза нам хохотал закат.

Апрель 1964

* * *

Я умру, — но если буду жив —
Сберегу последнюю улыбку.
Голову на плечи положив,
Мне о смерти заиграет скрипка.

Будет день стекать по желобам
И ржаветь по улицам безлюдным.
Будет жизнь чиста и голуба —
Вспоминать вот только будет трудно.

По моим ботинкам потекут
От дождей нелепые разводы,
Каждый год сгустится до минут —
Я такого не предвидел сроду.

Вновь с весной — чинить велосипед,
Уезжать, смеяться, забываться,
То, что есть, опять сводить на нет —
И собой при этом оставаться.

Будто ты — последний человек,
Будто ты уйдёшь — и всё с тобою.

И моря пойдут по руслам рек
На последнем выдохе прибоя.

Только скрипке — что ей объяснять!
Перед нею — все мы неумехи.
Всё равно не сможем разгадать
Тайну струн, продолженную в эхе.

Только скрипке — вновь без скрипача,
Прислонившись к вашим подбородкам,
Признаваться в чувствах сгоряча,
Задыхаться с возгласом коротким.

Будет час — сумеете понять
Проблеск солнца из-за близкой тучи,
Будет час — научитесь терять,
Всё пойдёт тогда гораздо лучше.

Одного я только не пойму:
Как — живём мы, как — переживаем?
Я спрошу у скрипки: почему
Каждый миг для нас незабываем.

Людям — петь. А если умирать —
Обретая музыку иную,
И тогда бы рядом ощущать
Руку или скрипку — явь земную.

Май 1964

* * *

В горах — калёный запах смол,
Всё остальное — книзу
Последний дождь нарочно смёл
До самого карниза.

Но здесь — сирень глаза томит,
И мыслят кипарисы,
Как повторить, как утолить
Протяжный шорох листьев.

Пусть был бы я совсем другим —
Но так же, впрямь отпето,
Я понял бы зелёный гимн
Отсюда до Ай-Петри.

Побрёл бы я среди людей —
И разглядел бы в каждом
Из-под обветренных бровей
Мою людскую жажду.

Я понял здесь с недавних пор
Изнанку истин спорных,
Нутро дорог, поверхность гор
И сущность склонов горных.

Я понял так, как поняла
Ночные кипарисы
Та, что во тьму меня вела
Тропой, по краю мыса.

Ах, эта ночь! Ах, как она
Среди стволов струится!
Скажу я хрипло: «Пей до дна!» —
Той, что испить боится.

Она не сможет, — я уйду
И вдруг увижу ясно
Её любовь — свою беду,
Пришедшую напрасно.

Она уйдёт, темна, как тень, —
Но вновь, куда её ни день,
Куда ни спрячь, как ни молчи,
Она появится в ночи.

И вновь — сирень томит глаза,
Теснятся кипарисы, —
А ей уже не рассказать
Протяжный шорох листьев.

Май 1964

* * *

Я провожаю корабли,
Меня вот так не провожали, —
Их длинный след огни внесли
Строкой начальной на скрижали.

Всё опустело до утра,
Пришла вечерняя прогорклость —
И, как осенняя пора,
Предчувствием сковала горло.

Сейчас и песня не близка,
Хотя она в ночном дозоре,
И близорукость маяка
Не превратится в дальнозоркость.

И, от раздумий далека,
Подобно затаённой боли,
Стирается, как след мелка,
Сухая линия прибоя.

От невозможности расплакаться
Портовый город очень тих, —
Да будут встречи мне расплатою
За то, что выше сил моих,

За то, что мне никто не дарит
Закономерностей земли,

За то, что всё-таки недаром
Я провожаю корабли.

1964

* * *

И вот, шагнув жрецами в храм,
От мира жертвы ждали скалы —
И, корабли даря ветрам,
Таврида век свой вековала.

Эллада! Пой, вторгаясь в кровь,
Родись из пены и из пепла —
К тебе, затворница, любовь
Во мне всю жизнь росла и крепла.

Куда б судьба ни увела,
С ней календарь в родстве исконном —
И ты, душа, ещё цела,
Внимая знакам заоконным.

О злые чайки старых снов!
Ну что за странная утеха —
Твердить фригийский лад валов
И повторить ночное эхо?

В округе музыка плыла,
Кружились пары по аллее —
И были сложены крыла,
Бродяжьей доли тяжелее.

Как арфа в брызгах золотых,
Вздымался плющ, — а там светало,
И слов предвестие простых
От сердца к горлу подступало.

Слепцами к солнцу фонари
Брели — чтоб зренье даровало,
На птичьей дудочке зари
Гора зелёная играла.
И луч, светлея на глазах,
Бессвязной наполнялся речью —
И всё в цвету, с лицом в слезах,
Бросалось море мне навстречу.

1964

* * *

Не минуют нас муки
И участье людей!
Расскажите о музыке
Меж чужих этажей.
Расскажите, как полночь,
Забываясь, знобит.

Эту осень — не вспомнить,
Если вспомнить — забыть.

Позабыть о последних
Полоумных такси,
Улетавших по следу
Небывалой тоски,
Позабыть о случайных
Озареньях и срывах,
Что со мной ни случалось —
Всё равно справедливо.

Мы с тобою — недолги.
Загоревшись — погаснем?
Ах, не знаю, — но только
Нам исход не указан.
Утешенья скопили,
Будто медь на ладони.
Так играют слепые
На осипшей гармони.

И поэтому хмуры
В ожидании слов
Восковые фигуры
Онемевших мостов —
И зимы дуновенья
Не понять никому.
Фонари в отдаленье
Прорастают сквозь тьму.

А друзья — привечают.
Дом дыханьем согрет,
Полумглу прожигают
Огоньки сигарет.
В этой комнате старой
Ноябри не гостят.
Ты не знаешь, гитара,
С кем они говорят?

Я — не знаю. Но, стиснув
Губы в чёрной тиши,
Говорю: «Мы простимся,
Но пока — не спеши.
Мы с тобою — недолги.
Загоревшись — погаснем?
Ах, не знаю, — но только
Нам исход не указан.

И поэтому, может,
Уходя навсегда,
В невозможном — возможна
Чья-то вера, судьба.
И поэтому, значит,
Обгорели глаза,

Мы незрячи, — но зрячим
Обо всём — не сказать.

И поэтому — слитны,
Словно с пламенем пламя,
Мы летаем, как листья,
Над глухими полями.
И в прощальное шествие
Входят говор и стон — »
Индевеющим шелестом
Твой уход заглушён.

1964

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОСЕНИ

I

НАЧАЛО

Когда я вышел на крыльцо,
Ещё не мысля о разлуке, —
Сжимали белое лицо
Мои отринутые руки.

Шёл дождь. Старик тележку вёз.
Тугие лужицы плескались.
Слова прощанья забывались,
И в горле ком обиды рос.

Ботинок узкие носы,
Как стая голубей с карниза,
Слетали с лестницы. Капризы
В авоськах женщины несли.

Шло утро. Падала листва
Протяжным звоном с колоколен.
С Автозаводского моста
Свисал сентябрь, смертельно болен.
Какое огненное зелье
Костром заставило играть
Гранёную густую зелень
В квадратных ящиках оград?

Исход лишь верящим обещан! —
Чей голос властно прозвучал,
Серебряные крылья женщин
Срезая бритвами зеркал?

В который раз, упав на землю
С высот, где въявь опоры нет,
Вздохнёт, иную твердь приемля,
Пластом лежащий зябкий свет?

Неужто впрямь в такое время,
Покинув дом, что стар от бед,

Сквозь почву прорастёт, как семя,
Мой след? — возможен ли ответ?

Москва со мною, но едва ли
Я — с ней. Несчитаны шаги.
И как герань в полуподвале,
Мерцали тихие стихи.

И переулком незнакомым,
Не избавляясь от печали,
Я шёл — и в горле твёрдым комом
Слова прощания стояли.

II

МОРАЛЬ

Был день, умудрённый сознанием лжи,
Пришёл почтальон с запоздавшим письмом, —
Я молча покинул нахохленный дом,
Прозрачный конверт на ладонь положив.

Твой красный, лукавый, как гном, ноготок
Забытые буквы на нём выводил, —
Я поднял пылающий красный листок
И чёрным дыханьем его погасил.

Письма не читая, судьбу не кляня,
Я шёл среди всех, но от всех в стороне —
Любимая ищет во мне не меня,
Любимая ищет меня не во мне.

Бульвар спотыкался, прохожих браня,
И синюю птицу держал в пятерне —
Любимая ищет во мне не меня,
Любимая ищет меня не во мне.

Вернувшись под вечер, я знал, что Москва
Теперь для меня отыскалась —
Я чай заварил, и письмо отыскал,
И пил, и читал, обжигаясь:

«Поклон тебе низкий от всех фонарей,
Фанерные тени в углах разложивших,
А дождик на тонких железных пружинках
Шлёт память о тропке среди пустырей.

Поклон тебе низкий от всех поездов,
От стёкол, впитавших горячие брызги, —
Два года — два горя, — а где же любовь?
Три осени шепчут — поклон тебе низкий.

Где лгать научились? — о правде моля,
Шепчу, от прохожих, как снег в стороне,
Любимому — ищешь во мне не меня,
Любимому — ищешь меня не во мне».

О, где вы, сутулый седой почтальон?
Письмо унесите — в почтамте соседнем,
Где ложь и любовь сургучовым замком
Завешены, словно соседкиной сплетней,

Прочтите его — вы, наверно, добры —
Не смейтесь, папаша, не плачьте, папаша, —
Смотрите — деревья ладонями машут —
Им тоже не выйти из этой игры.

III

ПАРАД ПОЧТАЛЬОНОВ

Рассвет приходит бел и свят —
шеренгою наклонной
проходят будто на парад
седые почтальоны

их кашель высушен и взят
на вооруженье
решеньем сдвинуть листопад
к возвратному движенью

их вены нитками дрожат
к сухим вискам пришиты
сердца спешат как на пожар
пожарные машины

под сенью лба созвездья дум
хоть держат их в столице
спокойствие и трезвый ум
в ежовых рукавицах

но зная что живут в душе
желания иные
слетают окна с этажей
в их сумки надувные

они идут в последний раз
черны как негативы
последний искренний парад
последних несчастливых

солдаты срочных телеграмм
и писем анонимных
что километр то килограмм
на их висячих спинах

хранили красное словцо
да где-то позабыли —
разлуки на одно лицо
на два лица любили

и умирают стиснув стон
шеренгою наклонной
во славу будущих времён
седые почтальоны

приходят дети — каждый тих
пред коллективной смертью —
и запечатывают их
в хрустящие конверты

и письма в ящики летят —
шеренгою наклонной
свернувшись вчетверо лежат
седые почтальоны

за всё добро за столько бед
за недостаток оных
в гробах «для писем и газет»
седые почтальоны —

ты распечатаешь конверт
печалью опалённый
увидишь простенькую смерть
седого почтальона

и вспыхнет пламенем в горсти
всё то что было прежде —
ведь никому не принести
последнюю надежду.

Сентябрь 1964

* * *

Никто не сможет научить прощаться!
давным-давно у дальнего пруда
я встретил девочку уставшую от счастья —
она его не знала никогда

я говорил: в краю где дремлют птицы
есть дом в котором нынче не живут —
там позабыт под красной черепицей
вчерашний несговорчивый уют

опавший сад подскажет где хранится
вишнёвое домашнее вино —
пусть дождь непрошен и влажны ресницы
давно ли — помнишь? — нет! — давным-давно —

никто не сможет научить прощаться
и не узнать что встречи сочтены —
я приезжал — и снова был причастен
к дыханию последней тишины

и самолёты тихо пролетали
и фонари не загорались зря
и на ладони всё никак не таял
прощальный знак чужого сентября.

Осень 1964

* * *

Потом гостиница ночная
и вновь приход часовщика —
и звон последнего трамвая
и отзвук ломкого зрачка

ах часовщик! себя не мучай —
мои прощания чисты —
но в этот раз на всякий случай
приостановлены часы

тогда выстраивай за дверью
и приводи ко мне на суд
те города где ждут не веря
а если верят то не ждут.

Осень 1964

* * *

Это было давно — это было со мною когда-то
В городах без названий, до которых идти далеко, —
На серебряном дне колыхались большие фрегаты,
Сумасшедшие кони несли отставных моряков.

Наяву, наяву — отчего же загадочны лица?
Наяву, наяву — отчего же мертвы голоса?
Упадут на траву предзакатные красные птицы,
Опадут в полумрак постаревшие наши леса.

Белобрысый пацан никогда ничего не отыщет,
Будет счастье дремать в сундучке на серебряном дне.
Если волны мертвы — горизонты матросов не спишут,
Если звёзды мертвы — значит, моря не сыщешь нигде.

Это было давно — не отыщутся старые карты,
В городах без названий всегда до утра далеко,
В переулке моём безымянные люди всегда предзакатны,
Постаревшие птицы несут отставных моряков.

Осень 1964

ПОЭМА

I

В ту ночь ушли из Лисса корабли,
Бессонницы исчезли, сны пропали.
Ушёл декабрь — но с трёх сторон земли
Пришли дожди и в изголовье встали.
Текла большая плоская вода,
Текло большое плоское молчанье.
Черным-черно — от ласточек в садах,
Белым-бело — от мокрых мёртвых чаек.

Текла вода — и в ней вращался мир.
Ни огонька, лишь два последних цвета —

Вот чёрное за белыми дверьми,
Вот белое в преддверии рассвета.
Тогда пришёл, в плаще обвисшем, Грин,
Сутулой тенью угол разрезая.
В ту ночь ушли из Лисса корабли,
Но верилось — он этого не знает.

Он — понимал. Часы у потолка
Двенадцать раз нарочно простучали.
Простимся, Грин! Дорога далека,
Белым-бела от мокрых мёртвых чаек,
Черным-черна, — куда бы мы ни шли.
Он шёл, сутул, над плоскою водою.
В ту ночь ушли из Лисса корабли,
Как аисты — косою чередою.

II

Стучи, стучи, стучи
В назойливые двери —
Сегодня москвичи
Пришедшему не верят.

О, хвойная Москва!
Невозмутимы лица.
Старушкою — молва:
«Откуда вы?» — «Из Лисса».

Обледенелый смех,
Улыбочки зарница.
И, в стороне от всех:
«Откуда вы?» — «Из Лисса».

Обледенелый плащ —
По вымершей столице.
Какой-то женский плач:
«Откуда вы?» — «Из Лисса».

Круженью нет конца,
Звонок едва теплится.
«На госте нет лица!
Откуда вы?» — «Из Лисса».

«Смеётесь, гражданин?»
«Закрой плотнее двери!
Москва, товарищ Грин,
Пришедшему не верит».

III

Когда, как рюмку, к векам прислонял
Зелёный звон над длинными столами,
Январский снег в узорных санках приезжал
И руки прислонял к оконной раме.

Как Дон-Кихот, сутулился торшер,
Свисали с ёлки сорванные латы,

Хозяйкин пёс тащил густую шерсть
На четырёх косящих тонких лапах.

Живи, квартирка, терем-теремок!
Кричали гости, зажигались лампы,
Когда я шёл к зелёному трюмо
На четырёх косящих тонких лапах.

Январский снег, ты добрый человек,
Садись со мной — жаль, покурить не можешь.
О чём молчишь? — скажи январский снег.
Куда идёшь, пальто забыв в прихожей?

Храни меня, ушедшая любовь!
Верните снег, не зажигайте лампы.
Зелёной кошкой прибегала боль
На четырёх косящих тонких лапах.

Остался холод, липкий, оголённый.
Я гость весёлый — здравствуй, добрый дом!
Мой профиль пуст, картонной звёздочкой зелёной
Прибит к стене большим тупым гвоздём.

Хозяйкин пёс на цыпочки привстал,
Привстал диван в размашистых заплатах, —
И только приседала пустота
На четырёх косящих тонких лапах.

IV

Улетели голуби
С подоконника —
С холоду ли, с голоду ли,
Медленно ли, скоро ли —
Только улетели,
Удивлённо-белые.

Только заметелило —
Снегом ли, бедами ли.

Медленно ли, скоро ль
Уходили парни —
По каким законам
Оставалась память?

И она стояла,
Превращаясь в луч,
Будто ожидала
Будущих разлук.

И вконец запутавшись,
Убегал и я —
Ведь она замучилась
Думать, что моя.

По январским крышам,
Синим, как озёра,

Стали тише, тише
Встречи и раздоры.

Я — среди веселий.
Счастье мне? горе ли?

Только улетели
Белые голуби.

V

А где же Грин? Ни Лисса, ни Москвы.
Прошли фонарщики цепочкою неровной.
Растаял снег, растаяли мосты,
Пришла дорога плоскостью огромной.

Прокалывала плоское молчанье
Ненайденная тайная звезда.
Большие недоверчивые чайки
Сгорали на стеклянных проводах.

VI

Гори, звезда, — но пепел не роняй.
Гори, любовь, — но не теряй печали.
Гори, тоска, — но пальцы прислоняй
К сухим вискам пришедшего молчанья.

Гори, маяк, — но где же твой черёд?
Гори, судьба, — но где же утешенья?
Гори, луна, — но где же твой приход
К большим кострам ночного воскрешенья?

Гори, волна, — ни плыть, ни горевать.
Гори, листва, — ни опадать, ни плакать.
Гори, восход, — ни ждать, ни забывать,
Пусть злу — свеча, добру — пора расплаты.

Гори, декабрь, — ни памяти, ни сна.
Гори, корабль, — ни паруса, ни правил.
Гори, звезда, — в другие времена
Твой пьяный снег за окнами не таял.

Вернись, звезда, — но где же ночь и снег?
Вернись, любовь, — но где же птицы свищут?
Вернись, печаль, — но где же человек?
Зачем он ждёт? зачем же он не ищет?

Вернись, волна, — но где же корабли?
Вернись, корабль, — но маяки погасли.
Вернись, луна, — но с трёх сторон земли
Пришли дожди и в изголовье встали.

Вернись, судьба, — но где она, звезда?
Вернись, листва, — но птицы на чужбине.
Вернись, звезда, — исчезла высота.
Верните снег — дожди меня сгубили.

Верни, окно, случайный силуэт,
Верни, подъезд, шаги сквозь десять лестниц,
Мой плащик старый, пару сигарет,
И тишину, и косолапый месяц.

Верните ветер, изморось, росу,
Автобусы и скверик неприглядный,
И всех друзей, и фонари в грозу,
Меня, меня — верните мне обратно.

Кто не вернётся — значит, не бывать
Ни снегу, ни звезде, ни трём дорогам.
Верните мне уменье забывать,
Но горе — однокрыло, одиноко.

Верните смех — как в клеточках щеглы,
Четыре буквы простенького слова.
Верните осень — были бы щедры
Её леса, — но память голословна.

Гори, звезда! — вернёшься ли? — тогда
Шагну к тебе, — так горизонт бесснежен,
Так ветер слаб, так тяжелы надежды!
Прости, любовь. Не догорай, звезда.

Осень 1964

2

ДВАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ

I

Надолго? — над ветвями разметавшись –
надолго ли? — губами отогревшись
забытыми привычно размечтавшись
усталыми среди оторопевших —
надолго ли?

II

Проезжий фокусник чудак из чудаков!
я помню вас — сбывались наставленья –
порою в паутинке с чердаков
угадывал значенье –
кручину укоризною зову
а заповеди с заводью сличаю –
переиначьте если наяву
дороги о которых промолчали
проезжий фокусник чудак из чудаков.

III

Отговори! — напрасные миры
безмолвно шевелят бровями –
и берег мхом — и смуглые бобры
глядят на пламя –

и снег пластом — и смыслы в хоровод –
и рыбам не согреться скудной кровью –
и лес зажёг загадочные кроны
согревшись от негаданных щедрот.

IV

От неизвестности не жди
самолюбивых превращений –
священны берега твои
да только реки не священны

безбрежна музыка зимой –
кукушка медленно ступая
настольной лампой восковой
над рукописью застывает

с востока взгляд а с юга стук –
молил — никто не отозвался –
кричал — и крик ключом из рук –
так просто ларчик открывался.

V

Обручальная ночь не придёт по заречному льду
говорливых вещуний зову на заре в декабре –
развесёлый шофер с треугольной короной на лбу
приезжает за мной и сигналит внизу во дворе

увози поскорей — надоело бродить бобылём —
ожидают гребцы — полустёртые числа свои
подсчитает в уме перескажет луне — далеко уплывём –
рыжий лоцман-приятель родившийся после войны

поутру колдовать если только спасёт колдовство –
благоверны слова на чужой стороне — но и там –
знают лоси родник — знают мальчики воровство —
знают женщины смерть — знают лошади цену слезам

полустёртые вёсла вручите весёлым гребцам
полустёртые числа пускай подсчитают в уме –
лупоглазым колечком глядит островок — но и там
знают змеи мигрень — знают корни целебного нет

возвратите меня — поутру побреду бобылём
обручальная ночь не придёт по заречному льду –
рыжий лоцман поёт — и от скуки играет с огнем
развесёлый шофёр с треугольной короной на лбу.

1964

* * *
Пелерина-полынь
фортепьянный недуг –
даже в сердце теплынь
если руки на юг –

разве губы мои
не умеют вразброд?
не моли так мори
не признают забот –
разве в прочный пакет
обгорелой спины
удивлённый паркет
полутёмной стены?
паутинкой пути-
ной питомницей злой
нежилое *прости*
не придёт за тобой
а придёт — не от глаз
от ворон не уйти —
даже локоть скуласт
от такого *прости* -
не пускай не входи
раздарила кресты —
не простится — груди
не приснится (прости)
над зелёным ручьем
шелестящих гардин
не приснишься врачом
(*не прощай)* на груди
не простишься ручьем
серебрящим золу
не приснишься — плечо
палачом назову —
от веселых подруг
не простынешь — живьём
за такою придут
не простимся живём —
желудёвый раствор
опрокинул торшер –
не простится росток
обгорелый душе —
на подушке смолой
над подушкой дыша
на подушке со мной
табаком пороша
не душа не ладонь
не тверда не слышна —
что же? — может огонь?
по углам вороша –
что же? — замкнутых льдин
заповедная гладь
пелерин паутин
не касалась игла –
что же? — смуглым ребром
отдышавшись и в тень
шелестя серебром
перевёрнутых тел
плача плечи кроша

на подушке черно –
что же? — птица? душа?
показное окно –
ткань теряя моля
не смотри — до седин
так доводит моря
что любовью (следы
на песке) что моля
называют (краса
полутёмных огней)
что любовью (леса
на границе полей)
что печалью (рукой
золотящей и всё ж
залетающей той
зажимающей нож)
что рассветным звеном
сумасшедшей цепи
не приходит за мной
за тобою почти
не приходит — от слёз
горячо и черно
не приходит — от звёзд
не находит окно.

31 декабря 1964

* * *

И не были — но были!
и в городе дурном
и небо ли не били
распахнутым крылом
и горя ли не знали
когда на третий день
счастливцы на вокзале
несчастные — в сирень
провинцию запрятав
колокола скребли
где плесенью запятнан
по крашеной пыли
язык её воловий
пылил в семи шагах
от горницы где вдовы
с каймой на рукавах
где мальвы на припёке
разломаны и в ночь
входя как скоморохи
бубенчики толочь
пытаются — резные
наличники скрести
решаются — родные
наличными куски
разломанного тела

на вынос продавать –
и солнышко на темя
и лето на кровать
где пчёлы по пружинам
и звёзды по шарам
судьбу запорошили
где капелькой двора
и липкою луною
под лампочкой дрожа
прощается со мною
до встречи в этажах
провинция — предвидел
как с боку на бок вкось
тарелочки с повидлом
на медленную ось
нанизывая пятясь
заглатывая плач
телегою в заплатах
растерянной — лихач
растерянный над летом
в сутулых сапогах –
провинция! поэтом
в растерянных садах
воспета будешь –горем
раздета будешь — глаз
войною будешь — город
за горло в самый раз!
акацией кручёной
залетным лепестком
провинция! не к чёрту
а к Богу под веслом
вода твоя где тиной
и вербой оплетен
над реченькою тихой
залётный этот стон –
провинция! трамваи
раздаришь проводам –
простимся! но едва ли
сторицею воздам
столице.

Михаил Ковсан. Ты. Роман

Автор комментированного перевода ТАНАХа на русский язык, ряда книг по иудаизму и литературоведческих статей. Прозаик, поэт. Автор многочисленных публикаций в интернете, двух книг прозы и двух поэтических сборников. Живет в Иерусалиме.

Философская проза, сквозь которую, как сквозь сакральный пушкинский магический кристалл, просвечивает невозвратное время.

Проза эта ритмизована, подчинена ударам сердца до такой степени, что легко становится поэзией.

Или не так. Поэзией эта материя была изначально; она такою родилась. И лишь потом ее одели в платье прозы. Человек идет по дороге? Нет. Он идет по пути.

Путь важнее, святее дороги; дорога — почва, путь — почти храм.

Попытка пути — так можно назвать это высказывание: одновременно и исповедь, и раздумье, и заклинание, и диалог.

Да, диалог, ибо уже в самом названии — "Ты" — заключена тайна разговора: доверия, скорби, радости, признания, прощания. И встречи.

Встретившись с прозой Михаила Ковсана, вы поймете: да, он мне нужен был, этот человек и его путь, и люди вокруг него, и это путешествие по эпохам, и эта судьба — изгнанника во времени. Как мы давно его не видели! А он — вот он, там, далеко: прошел стороною, и лишь ветер, лишь листья сухие летят.

Елена Крюкова

Откуда ты знаешь, какие у мертвого руки?

Заметил, вздрогнул, напрягся: шаг ни ускорить, ни побежать, ни оглянуться, себя выдавая.

Тропа по сторонам заросла — не сойти.

Узка: не свернешь.

Убежать? Неприлично. До поворота. Там, исчезнув на миг, рвануть и — взгляд назад. Маньяк? Сумасшедший?

Крикнуть? Кому? Помогите? Посмешищем стать?

Идет, гонится, нависает. Дамоклов меч. Прототип гильотины. Приближается.

Шаг ускоряет? Пьяная, рвотная вонь изо рта.

Липкие ладони, склизкие, как у покойника.

Откуда ты знаешь, какие у мертвого руки?

Где же тот поворот? Не бежать. Не оглядываться.

Волки воют. Гнутся шведы. Невидимкою луна.

Кто произносит слова? Или не слова это вовсе? Мычание.

Звуки м**у**ки. Звуки мук**и**.

Как звучит мука, когда пересыпают?

Под ноги смотреть. Не споткнуться. Камень схватить. Нагнуться, будто споткнулся. Руку вниз, чтоб не заметил. Подойдет — заметит. Неудобно. Ка-

мень в руке. Почему не зовет. Если крикнет? Остановиться? Если маньяк — нельзя останавливаться, надо бежать.

А если нормальный? Тогда засмеет. Знакомый? Расскажет. Будут все хохотать. Вот-вот поворот. От ворот поворот. Ворон врет. Ворот в рот. Ворот? Тот, что колодец, крутится, вертится. Шар голубой. И нависает над головой. Крутится-вертится, хочет упасть. Кого-то маньяк хочет украсть.

Ты заметил. Ты испугался. Виду не подаешь. Чтобы не было стыдно. Остальное — неважно. Ритм почти бессмысленных звуков, в подобие слов обращающихся, тебя успокоил. Надо отстать. Дать уйти тебе от хаоса к слову. Оно тебя успокоит, вернет движению смысл. Иди со словом, не думая обо мне, исчезающем. Думай о чем угодно.

О чем?

О том, что тобой причиненное зло помнится сильнее и дольше, чем тебе причиненное. Или о том, что где ни протопчешь тропу, всё равно зарастет, песок занесет, смоет вода, выдует ветер. Пока идешь по тропе, засасывает, идешь, ничего не замечая. К тропе привыкаешь, роднишься, она избавляет от необходимости лечь точно в ячейку, в матрице из набитого клопами матраца улечься.

Иди, как идется. Не ты управляешь движением, оно управляет тобой. Не силясь запомнить, иди. Что тебе запомнится, в моей памяти сохранится. Выцветут чернила на съежившейся, пожелтевшей бумаге, рассеются запахи, звуки заглохнут. Но я оживлю. Интонация, обрывок фразы, клочок мысли, столкновение звуков. Нет человека сказавшего. Но сказанное сохранилось.

Пытаешься разглядеть начало тропы и конец. Бесполезно: она не прямая, в изгибах, змеиных извивах, исчезает, не появляется. Будешь мучиться ты, а пойму это я: ни начала, ни конца не существует. Для других было и будет. Для тебя не-было-и-не-будет. Зряшны усилия. Иди, под ноги глядя: не споткнуться бы, в грязь не свалиться.

Чем пристальней всматривался, тем меньше человек становился: то ли я над ним поднимался, то ли он надо мной, то ли шел в гору, движения не ощущая, то ли под гору. Но скрипел песок, и камешки отскакивали. Тропа вела непонятно куда, но другой не было, а идти необходимо, не будешь ведь стоять истуканом, досужим умам на потеху.

Слева и справа заборы, поросшие не стриженой зеленью, пыльной, обтерханной, не настоящей. Высокие чувства тропа не рождала. Те, которые ветром случившимся заносились, мгновенно зарастали песком, утаптывались подошвами. В дождливые дни вовсе не заходили: мокро, сыро, вода брезгливо стекала по листьям в бессмыслицу. «Дождик, дождик, лей сильней, будет травка зеленей», — угасал детский голос в тумане.

Споткнулся, задумавшись: ты нужен тому, кто не нужен тебе; кто нужен тебе, тому ты не нужен. Цепь ненужности разрушается редко, случайно. Жить с этой цепью на шее почти не возможно. Потому выход один — не думать о ней, не спотыкаться. Куда глаза глядят, с площади убегаешь. Торить тропу, главное — от площади вдалеке.

Тропой можно идти бесконечно. Вначале тесно, плечи упираются в ощущение узости, тягостное, болезненное. Стремишься вырваться, натыкаясь на холодный, мокрый бетон, и, вздрогнув от мерзости, резко сжимаешься. Тело исколото, до свадьбы всё заживет, но когда эта свадьба, зачем? Не успев ничего граду и миру пролепетать, идти продолжаешь, вроде тропа стала чуть шире, плечам вольготней и духу вольней.

Идешь по тропе и ждешь, вот, грянет и распахнется, и чем больше ждешь, тем это становится невозможней. Думаешь: перестану ждать и случится, и когда отвлечешься на миг и забудешь, действительно может случиться: ку-

сочек голубого сквозь ветки, краешек горизонта сквозь дыры в бетоне. Было тесно и узко, стало не страшно, терпимо. Чем больше идешь, тем сильней ощущаешь, извини, терпкость терпимости. Вначале даже приятно. Словно легкая боль при ударе, несильном, отмерянном, но дальше — больше, уже нестерпимо, скулы сводит, ни слова молвить, ни кусок проглотить. Терпеть мочи нет, а не проходит.

Идя по тропе, всё время натыкаешься на парадоксы. Поначалу, ведь быстро идешь, даже бежишь, со всей силы, а время тянется медленно. Устав, медленнее идешь, а время бежит, невидимый конец тропы приближая.

Тропа? Почему тропа, а не путь, не дорога? Дорога — для всех, путь — о тебе, если будет кому. Вот, тебе тропа и остается.

При солнечном свете тропа безобразна. Из ржавой трубы, как время, бессмысленно вытекает вода. Грязь, лужи, гниющие листья — не страшно. Но разноцветные осколки стекла, консервные банки ржавым надрезом наружу — рана может быть неприятной. Слипшиеся, словно смерзшиеся, презервативы — блевотное омерзение. Скажешь: не представляй, не сам ли гнусные картины рисуешь?

Не призванные являются, сами рисуются, призванные тропать, то есть топтать. Словно стропы натянутые, расходятся тропы, чьим предком был греческий «оборот», что не должно удивлять: русский без эллинского привоя есть язычество, христианскому русскому иноязычное, с татарщиной смешанное. А от тропы расходятся тропы: метафора, метонимия и синекдоха. Всё, как всегда: налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь.

Я иду по тропе? Куда я иду? Во время какое?

В какое время податься?

Присел на скамейку передохнуть. Сыто урчали гламурные голуби, совершенно не схожие с белой нежной паломой: по-испански голубка. Словно созванные позировать знаменитому испано-французскому голубятнику они суетились. Там, где вывешивали портреты, всю беспозвоночную рать, словно покойников перед выносом тщательно разукрашенных, девушка с хищным носом яростно румянила рекламные щеки.

На площадь впадали-из-нее-выпадая две улицы, кончаясь внезапно, обрывисто, неудачным финалом, не домами, а скверами, невразумительными и тщедушными, возникшими на месте снесенных за ветхостью развалюх. Одна улица — «жизнь». Другая улица — «смерть». Табличек не было. Безымянные? Они тоскует по имени, а именованное — по безымянности.

Нет, площадь не та, не Севилья. У мусорных баков кишмя кишел мюзикл, кошачий, кошмарный, кипучий, за которым среди кирзовых запахов и кургузых деревьев тщательно наблюдал выпивший категорический императив в офицерской не по чину фуражке.

Посередине фонтан. Без воды, без монет. Впрочем, даже когда была, всё равно не бросали. Вернуться, наверное, никто не хотел. Воняло. На дне гнили отбросы. Коты-собаки-и-люди в фонтан справляли нужду. Безучастные облака образы лиц принимают, черты расплываются, сплющиваются, растягиваясь и скукоживаясь. Проваливаются носы, глаза вылезают, губы сжимаются в жуткой, бесконечно посмертной улыбке. Облака судного дня проплывают.

На этом месте капище было: язычники жертвы богам приносили. Потом поставили столб: привязывали преступников, прозвали позорным. Затем виселицу воздвигали: на ней не до конца отделялась от тела осужденная голова.

Шло время, нравы менялись, боги-цари-короли-герои оказались на удивление смертными. Тогда явилась конная статуя. Конь был изящен, тонок в бабках, стремителен. Всадник юн, порывист, могуч. Грива и хвост развевались.

Меч беспощадно разил. Оба, и всадник, и конь, начеку, наготове. В любой миг заслышат-почуют-и-встрепенутся. Сольются-взметнутся-поскачут, грохоча медно, трясущего кулачками безмолвного безумца преследуя. Не сивка-бурка-вещий-каурка, не Иванушка-дурачок, но державный конь, наездник властительный. Иной раз они, хозяева места — язычники, привязанные и повешенные, лошадь и всадник — сходятся, ностальгируя: настоящее низменно и никчемно, будущее ужасно и гнусно.

Куда деться? В какое время податься? Срыв фонтан, конную статую водрузить? Конь-и-всадник несутся, гарцуя, помпезничая на скаку. Дыханье от восторга сбивается, голос дрожит, слезы радости глаза увлажняют, слова — навсегда, навечно — созвучия. Но никто мгновение остановить не посмел. И правильно сделал. Остановленное мгновение — бабочка, наколотая на иглу. Красива, однако, мертва. А я исповедую религию жизни: всю жизнь к смерти готовлюсь.

К столбу? О нет, слишком воняет. Навозом, потом и кровью. Неразумное капище? Есть шанс: образумятся, а пока порадеть, с капающим жиром, пряностями приправленное жертвенное мясо с жертвенным хлебом, поджаренным на костре, есть, не пресыщаясь. С дымком, свежее, аппетитное.

Фонтан, некогда имевший имя, пронзительное, как джазовая труба, ныне идол площадной вместо статуи конной. Это вам не шутиха. Но трубы, которые ставили далеко не екатерининские мастера, давно проржавели. В древности к фонтану за водой приходили, а ныне сплетничать, трепеща: курица или яйцо, город или же площадь? Субстанции связанные или соперничающие?

Площадь — пустота, заполняющаяся парадами — редко соответствует городу. Площадь — ровное, плоское пространство — то больше города, свидетельствуя о его нереализованных амбициях, то меньше, свидетельствуя о скромности, некоторым кажущейся неуместной. На площади должна то тут, то там проступать благородная патина, словно седина из-под шляпы или портреты предков на стенах, от времени потемневшие. Площадь без патины — голый нувориш, придумавший предков.

Как море реки, площадь втягивает тонны людей, улицы, время. Людей — в толпу превратить: ни эллина, ни иудея. Улицы — чтобы не были бесконечными. Время — остановить, обращая в пространство.

Гений фонтанного места был единением звуков, охранявшим со времен незапамятных от посягательств чужого, профанного, не освященного любовью и злобой. Любовью к тому, что внутри, откуда звучит, злобой — к тому, что вовне. Особо этот голос был внятен тому, кто к площади был, как цепями, прикован. Покидая площадь, звуков не слыша, прикованный ощущал: жизнь кончена, никому он не нужен, и ему не нужен никто. Если мог, возвращался к родному капищу, родному столбу или виселице, конной статуе или фонтану. Не они, не отеческие гробы увлекали, но голос, как полагали иные: выдумка, глупый фантом, нелепый алтарь, фантазия извращенная.

Ежедневно независимо от погоды, состояния экономики и нравственности на площади появлялись два человека, которых часто принимали за близнецов. Оба слышали голос. Оба считали: раз гений места невидим, то они призваны восполнить зрительное небытие. Один возникал на западе площади, другой — на востоке. Юго-западный, фотограф, склонялся к старинному аппарату, покрываясь черной накидкой, словно смертник мешком, и застывал, пока не темнело, и его аппарат становился, совсем бесполезным. Северо-восточный, художник, как жрец треногу, устанавливал свой мольберт. И на месте фонтана, сменяя друг друга, являлись пестрое жирное капище, столб с голым юношей, на девичью честь посягнувшим, веревка, на которой болтал-

ся разбойный покойник, его сменял всадник хрипящий, коня храпящего вздымающий медно.

Вслед за фотографом уходил и художник. Часок-другой пили пиво в пивной, закусывая сыром и вяленой рыбой. Махнув рукой на прощание, они расходились. Фотограф жил на востоке, а художник на западе. Им бы махнуться, чтобы ближе идти, и сама площадь не маленькая, но в стране стоял остро квартирный вопрос. Так что в их дни живи голый юноша, на честь девицы ему было бы нелегко посягать. А фотограф с художником были много лет седовласы: столб их не пугал.

Фонтан окружали писающие мальчики и девочки, выкрашенные серебрянкой. Половые признаки когда-то были тщательно скрыты, а нынче вылеплены выпукло, подчеркивая неукротимое стремление к продолжению рода и возбуждая сексуальные фантазии стариков и старух. Девочка чуть в стороне выпускала в небо давно исчезнувших голубей. От них осталась одна ржавая арматура: насест, с которого когда-то взлетели, чтобы никогда не вернуться. Паук, обезумевший от раздолья, сплел вокруг девочки невиданную по прочности паутину. Гипсовые голуби где-то летели, а в ушах гипсовой девочки бодро, гипсово, призывно звучало:

Летите, голуби, летите,
Для вас нигде преграды нет.
Несите, голуби, несите
Народам мира наш привет.

На лавочках сидели старушки, на скаку останавливающие коня, ни девочками, ни девушками, ни женщинами не умевшие носить одежду, лицо и фигуру. Витала не собственно прямая речь, украшенная множеством междометий: старушки сплетничали-людоедничали бодренько, живенько, взвизгивая и бранясь. С их узких, злых язычков, словно с трамплина, зеленея, звуки взлетали, завиваясь, взвиваясь, сплетаясь в словечки, разлетаясь змейками, жаля не до смерти, но ядовито-и-очень-паскудно.

По площади, где ничего не напоминало о государстве античности, растопырив руки, переваливаясь пингвинно, человек малых лет бежал за упрыгнувшим мячом надувным: океаны-и-континенты не покорялись. Кое-где краска облезла, истерлась, моря превратились в пустыни, пески города занесли, вода отступила, солончаки поля и сады заместили. Завораживающе экранно, осыпаясь, айсберги ползли в океан, порождая торнадо, поднимая тайфуны, взмывая цунами, катившееся к вулкану, в жерле которого прекрасно взорваться, окатить паром пустыни, в озера горькие обратиться. Поля усеяли мельницы ветряные, дававшие электричество, улицы городов — вывернутые зонты, поваленные деревья, оторванные головы, из прибрежных вод торчали верхушки мачт, к берегам прибило горы водорослей и трупов.

Мяч прыгнул. Рассыпались тени. Брызнуло пепси. Неизлечимо завоняло попсой. Неразличимо хлынуло псиной. Человек малых лет Землю поймал.

Вокруг фонтана, подчиняясь внутренним ритмам, блуждали чумные тинэйджеры с голыми, прозрачными лицами. Их родители пили-скандалили-корячились-на-заводах. Пьяный голубь орал: Nevermore! Речь чумных состояла из междометий и слов непечатных, выполнявших роль междометий. Онанируя, они судорожно кнопки ласкали, понуро вздрагивали, поймав злостного, злобного покемона. Изловив, подобно тому, как предки накалывали бабочку на иглу или крестным знамением сатану изгоняли, они протыкали пространство, и, когда уходили, оно оставалось исколотым, словно марля. Всех ловцов, скользящих над пропастью, по полю с не посеянной рожью, не

слишком боясь ошибиться, можно было б назвать по имени: у каждого поколения свои имена. Такая для номиналистов забава.

Вокруг было голо. Старые деревья, предвосхищая их близкое умирание, вырубили под корень, а саженцы не приживались. Голодно урчали хмурые голуби. И вдруг нехотя, сипло, угрюмо фонтан зажурчал. Задудели в горн серебристые пионеры. Звонко руки к небу взметнули серебристые пионерки. Тщательно на шеях галстуки повязались, подчеркивая верность дороге отцов. С гиканьем, весело, пыльно и потно, заглушая неотвязные сексуальные фантазии, подростки погнались за мячом, блин, друг друга они укоряли, и тот от одного к другому летал, прекрасно сочетаясь с красной икрой, скрипом санных полозьев и замороженной водкой.

Посмотри на площадь в сумерках с высоты, на которую поднимаются птицы — увидишь фигуру, вытянутую и расплющенную, словно смотришь на человека сквозь пьяный бокал, будто над ним Прокруст потрудился, не изменив содержания, форму поправил. На распластанной фигуре — свет фонарей: лимонные кружки на коричневатом жирном холодном. От центра, упав на брусчатку, фонтанными струями разбегаются трещины: бокал лопнул — вино кроваво разлилось. За звоном — босые ступни, отделившиеся от ног, по осколкам ступая, издают крик, который никто не услышит.

Площадь раздваивается, растекается, подтеки, свертываясь, засыхают. И деформированное вечностью время, петляя по сторонам, на запруду наткнувшись, течет вспять, за собой оставляя мокрое ложе, которое превратится в болото. По его берегам поселятся черепахи, дольше других животных живущие, почти столько же, сколько маслины, среди которых до сих пор сохранились и те, из чьих плодов готовили масло псалмопевцу Давиду.

Над площадью — Млечный путь, навечно к тверди себя приковавший в знак протеста против слов, мелко колотых к чаю, изобилия бессмысленных звуков над площадью, гранулированной, растворимой в бесстыдстве любви и распыленной среди гипсовых слепков мраморных совершенств.

Змея заглотнула зеленый свой хвост

Издалека потянуло дымком, возбуждающим обоняние. Ноздри радостно встрепенулись, как крылья бабочки, почувствовавшей ветерок и не знающей: это начало ее растерзающей бури. Вдыхал весело, вольно, наслаждаясь ласкающей горечью, подобной расставанью не долгому, не пугающему.

Вдыхал, не зная: его дымок — это дым, что выжжет время мое. Не зная, вдыхал: его дымок мои глаза выест дымом, ведь леса горели не здесь не сейчас, но где-то когда-то. Его земля была не слишком и круглой, в отличие от круглого времени, подобного колесу обозрения, которое над землей поднимает, через веселый промежуток на нее возвращая. И не слышал он голос поэта-царя: Дымом кончились мои дни, кости, как в костре, обгорели.

Полной мерою не вдыхал дымный, щекочущий сознание воздух. Не кашлял долго, мучительно, слыша далекий лязг гусениц, из которого, облившись бензином и вспыхнув, бабочка мертво в неживые небеса поднималась. Генералам дым в радость, надышавшись, долго живут. Поэтам дым — яд, вдохнув, умирают.

Остановиться, прислониться к забору, услышать щебет, шуршанье травы, несмотря на тьму зеленеющей в свете лунном и звездном. Услышать, но тащит, словно цепью желания неутолимого. Упираюсь, ноги вбивая в песок, но призрак-греза-фантом моей воли сильнее. Может, он вселился в меня, может, мной притворился? Нет! Он — вовсе не я, я — вовсе не он.

Подумал, вздохнул и дальше за ним потащился, пытаясь понять, где кончается явь-жизнь и начинается смерть-наваждение. Зачем меня тащит? Мо-

жет, я его выдумал, а его не было и не будет? Или, что того хуже, он меня выдумал, вот, я и случился.

Тем временем дым лег тенью на землю, и она, тень, взошла в небеса. Облака, тени — всё дым, всё пустое.

Явился неожиданно, вдруг, возник в плотном воздухе ниоткуда, из дыма, столкнулись лоб в лоб, но — удивление вместо удара. Прошел сквозь меня, идет сзади, отстав, не догоняя. Оглянувшись, ничего не увидел, кроме дрожащих веток с засохшими завязями цветов, которые не распустятся.

Где делся и был ли? Ветки задел, вот и дрожат. Я — причина, дрожание — следствие. Нет загадки, показалось, можно не думать. Иным мыслям дорогу открыть: проникнут — и вытеснят. Но! Проникнут-вытеснят — безлично, вне моей воли. Подумается: что за бредовые мысли? И тут же ответ: чем мысль бредовей, тем внятней должна быть изложена. Задача отнюдь не из легких.

Оглянулся. Ветки дрожат, очерчивая контуры, неясные, полупрозрачные. Остановился — ветки дрожат, а контуры, словно угасли. Двинулся с вывороченной назад головой — углем на холсте контуры навели. Придумалось развлечение: кручу головой — контуры неизвестного то пропадают, то возникают. Оглядываюсь, вспоминаю — является плоть, неясная, зыбкая. Она тем же мне отвечает, пытаясь распознать: свой — чужой. Удивительно, он может худо-бедно меня понять, а я не могу, многое позабыл, лишь контуры вспоминаю.

Он, жаждущий, соблазняемый видениями и мечтами, горящий желанием вырваться из одиночества и, страшась, догадывающийся, что это никогда не случится, двигался, лужи переступая, не наступая на камешки. Двигался, осторожно вбирая, не притягиваясь к тому, что извне, и не подчиняясь. Научившись отгонять неприятные, неуместные, невозможные мысли, он воле своей их подчинял, отправляя в изгнание, в тайный угол, в забвение. Лицо непроницаемо, словно когда-то давно на него одели маску отчужденности, и та прижилась, укоренилась. Ему так казалось, и он шел, вспоминая первые брюки, сшитые портным, изо рта которого несло перегаром. Он тщательно оберегал их от грязи, ежесекундно поддергивал, охраняя отточенность вытюженной мастером стрелки.

Вижу: прическа в унисон длинноволосым мелодиям, тогдашняя фронда, из общего облика которой он с трудом проступает. Рождаешься общим, от других мало отличным, но чем дальше-дольше идешь по тропе, тем больше лицо обретает необщее выражение. Хотя его мало кто удостаивается.

Подходить близко не надо. Можно увидеть то, чего не было никогда, искуситься не его искушением, не его мыслями думать. Могу ведь его сочинить, чего никак не желаю, хотя очень хочу. Вот так: чего хочу, не желаю, чего желаю, того не хочу. Сломать эту стену, бесконечный бетонный забор, от заброшенности обросший кустами, словно старик, чьи суставы поросли дремучими волосами.

Сломать? Но как? Сломать? А зачем?

Иду за ним не спеша, куда торопиться? Он за мною спешит, еще не зная, что и ему некуда торопиться. Знаю, куда иду, не зная, зачем. А он не знает ни того, ни другого. Иду, вглядываясь в мелькающее в резных листьях лицо, словно на зубчато обрезанной фотографии.

Иду, о нем думая, его по годам представляя, по ним эпоху угадывая, а о чем думает, понять не могу. Время-возраст-пространство — вижу, слышу, даже иногда запахи ощущаю. Присматриваюсь: похож, почти двойник, даже близнец. Но нет, другой, иной, непохожий. Ведь чьим-то двойником или близнецом быть нельзя. Можно одному-с-другим вместе быть двойниками или же близнецами.

Может, удастся догнать. И — тогда. Что? Тогда просто исчезнет, в тумане речном растворится, в холодной графике черно-белого леса. Ведь каждое действие вызывает другое, о котором, едва начавшемся, думаешь вскользь, деепричастно. Умер близкий — страдаешь, живя, не скоро умрешь.

Иду за ним или навстречу, освобождая место во времени, пока еще занимая место в пространстве, в бесплотных сумерках на тропе между бетонным забором и одичавшим кустарником. Оба заложники, я — прошлого, он — будущего, то и другое безлично, две версии одного анонимного текста, будто греко-римские боги или пары Плутарха. Только будущее незаметно из настоящего вырастает, а прошлое над ним нависает еврейским пражским кладбищем многослойным.

Идем, один вспоминая, другой — предвещая, не удаляясь, не приближаясь, притягиваясь и отталкиваясь, и между нами пространство заполняется набухающим беспамятством словом: отторжение-отвержение. Мы друг друга или время нас, свою эпоху отвергших, безжалостно отторгает? Отторжение-отвержение довлеет, занимает пространство, воздух из него изгоняя. Куражась, кружит стервятник над падалью, не приживается пересаженный орган. Но единит невозможность существовать в пассивном залоге. Может, этого нам для диалога довольно?

Змея заглотнула зеленый свой хвост: конец стал началом, начало — концом. Он сделал мой выбор. Он в угол себя загонял — от слов, от взглядов спасался. Мне взгляды ловить и за словами гоняться. Змея из пасти хвост выпустит: начало от конца отделится. Выползу из себя, сброшу кожу, рождаясь-и-умирая, поползу, изредка на образы, подобия натыкаясь, надеясь восвояси, веси свои, в прежнюю кожу вернуться. Всё взвесив, где дом возвести? Кому возвестить?

Ни одна змея не вползла в прежнюю кожу. Зачем, не пережевывая, собственными словами давился? Зачем охочусь за ним? Зачем искушенный-и-обольщенный славой-ли-словом, созвучиями отгородился, щемящим Шопеном — от шипучки шибающей, теплой и липкой, пахнущей розовым мылом?

На повороте, зацепившись, тень от него оторвалась, моя, метнувшись вперед, с нею слилась, и вместе в полумраке, в дыму они растворились.

Когда дым рассеялся, мы шли с тобой по тропе, я сзади, ты впереди, друг за другом, вперед или по кругу.

Пировать можно только во время чумы

В твоей жизни еще почти ничего не случилось. В моей произошло почти всё. «Почти» — зазор малый, обманчивый. Вроде бы и надежда. Но даже надежды твои на случай не велики. Всё, или, оставляя зазор, почти всё определено. Тропа, доставшаяся тебе, не намного шире моей. Шире иных? Что до них? Они ведь чужие.

Ты многого не помнишь из того, что помню я. И галоши не помнишь, а я вижу ясно красный подбой, куда ботинком с первого раза никак не попасть. Намучившись, приходится, выгнувшись, оттягивать край, чтобы втиснуть ботинок. Но хуже, когда непролазная грязь — не перепрыгнуть, не обойти, зазеваешься — вытаскивай, доползай до сухого, и облепленный ботинок втискивай в бывшее красным. Как ты ненавидишь эти галоши, эту школу, придя в которую их надо снимать. Галоши! А пишем? Пришли мне калоши.

Меня нет в твоем фильме, даже в крошечном эпизоде. А у меня ты — герой, не главный — единственный. Жаль, лицом к лицу нам не столкнуться. Я от тебя очень близко, порой на расстоянии вытянутой руки. Шаг — дотянусь, дотронусь, ты остановишься, повернешься, увидишь, узнаешь, обрадуешься. Но сколько я ни тянусь, одного мгновения, одного вздоха всегда не хватает.

Как бы близко ни подошел, надо мной едва желтеет луна и одна-две самых ярких звезды, над тобой — в утреннем легком тумане солнце и голубизна.

Не так? Ты не понял. Ты думаешь, я иду за тобой, а я: меня преследуешь ты. Представь. Мы с тобой идем по перрону навстречу друг другу на глухом полустанке, который проскакивают поезда. Ты в одном поезде, я в другом. Движемся по перрону навстречу друг другу, а на самом деле — в поездах в разные стороны. Понял?

Ты хочешь строить воздушные замки? Пожалуйста, строй, только на землю не переноси, здесь им не устоять, в избушки косорылые обращаются. Ничего нет страшней и гаже воплощенной утопии. Ничего нет страшней ангела, к гравитации привыкающего: крылья обвисшие, ноги опухшие, глаза из глазниц выдавлены. Или: была нежна и прекрасна, грубей грузчика стала. На небе прекрасно, хочется воспарить, отрешившись. А на земле всегда, как на земле. Пыль, грязь, тропа сорной травой заросла, бетонный забор крошится, лужи не высыхают. Идешь в темноте, очи горе, путь Млечный сияет. Споткнешься, сломаешь ногу, наложат гипс, срастется неправильно, кость сломают, снова наложат, в следующий раз по тропе будешь хромать, под ноги глядя.

Ты идешь мне навстречу или же от меня облепленный чужими мыслями, словами и звуками. Перед тобой мелькают краски чужие, вокруг тебя чуждые запахи. Идешь весь в чужом, словно в коконе, из которого, может быть, не выпорхнуть никогда. Ты знаешь: это чужое, но не знаешь, как соскрести. Может быть, чужое ты сам и есть? Только почему чужим ощущаешь? От кого тебе это досталось? От родителей, предков? Тогда это свое, не чужое. Но чувствуешь: нет, это не так, чужое, совсем чужое, то ли из времени, то ли — места чужого.

Ты не спрашиваешь: зачем случился, почему здесь, с какой стати сейчас. Не спрашиваешь: знаешь чужие ответы. У тебя нет вопросов, только ответы. Ответ на ответе, всяк ответ погоняет. Ты идешь, погоняемый, но ответы всё гаже, и настойчивей в коконе зреют вопросы. Им нужно время — из кокона выбраться, о стекло, озаренное изнутри, биться мотыльково-кроваво.

Ответы извне — чужие. Изнутри вопросы — свои.

Кокон тверд. Мотылек скоротечен.

Мошкара и пламя, и хлопья, и рама. Уже тогда? Впереди? Это — тебе. Что же мне? Благословить, пока жив.

Ты идешь, невнятно артикулируя, «бабочки — лампочки» ананасно рифмуя, идешь в ожидании пира, не зная: пировать можно только во время чумы.

Идешь. Сгущается темнота — ни луны, ни звезд, ни фонарей — ты в ней исчезаешь, пропадаешь, кто знает, вспыхнет ли свет, увижу ли вновь. Знаю лишь, что идешь, скрипит-вьется земля-змея под подошвами, шелестят листья на ветках, которые ты раздвигаешь. Темнота уже наступила, но немота еще впереди. И ощущение дальней, еще не подступающей к горлу тревоги.

Теперь всё хорошо. И отзвуки истлевшего грома.

С каждым шагом вокруг тебя пространство заполняется, становится плотнее и гуще. Тебя это злит, эти лица и эти тела тебе не нужны. Желанные не здесь, в круге ином, куда не прорваться. Он ширится, не сузить, он никому не подвластен. Выход — смириться и помнить. Хотя запомнить всё невозможно: ускользает, что удавалось вспомнить вчера, сегодня уже не дается. Течет, проваливается, беспамятством искушает. Согласишься — возьмет, отдашь — не заплатит. Потому — кроваво, больно из круга.

Всё — самому! Всё! Только мало у кого получается. И у тебя не получится. Это тебе и себе в утешение. У тебя звуки и блеск, у меня отзвуки-отблески: жизнь случилась, осталось осмыслить.

А то представь, гудящая бессловесно толпа — что говорить, когда не о чем говорить — обступает, не вырваться и не слиться. О, искушение слитностью! Славно быть частью! Зазывая всех, не всех в себя запускает. Не сдавит — задушит словами протухшими: только выпорхнув, провоняли. Скверно с аллергией на слова такие родиться. Искушение слиться сильно, аллергия от толпы отторгает. Вот, и мучайся: ни туда, ни обратно.

А случится внезапно. Память вспыхнет, прогремит, лавой затопит. Вспомнив, пойдешь, оставляя гам за спиною. Тропа в безнадежность упрется, и пройдешь в изматывающем душу шагаловском ультрамарине под аркой со словами пророка. Запомнил? Я твой путь буду следить, ошибешься — поправлю. Вначале налево и вниз, затем вниз и направо. Всё сойдется, всё выстроится, обретет логику, смысл: причины следствия породят, а те станут причинами.

Идя, что-нибудь веселое вспоминай. Например, древний римский обычай, согласно которому решивший с жизнью покончить обращался в сенат за разрешением, тщательно просьбу аргументируя. Если сенаторы с доводами соглашались, яд выдавали, заметь, совершенно бесплатно.

Иди, под тобою твердая хлябь, скрипят камешки под подошвами. Ну, вот, и всё, почти всё, несколько шагов вперед, чуть направо, на плите явятся буквы и цифры сомкнутся, обретя уверенность смысла и неоспоримость значения.

А пока для тебя еще смерти нет

Чтобы понять человека, следуя указаниям идиомы, надо поставить себя на его место. Мол, поставишь — поймешь. Только никому еще это не удалось: место занято, место чужое. Может, и мне себя на твое место поставить? Как думаешь, что получится?

У тебя закат долгий, тягучий. А у меня краткий, мгновенный. Человек образованный скажет, что в широте местности дело: чем ближе к экватору, тем быстрее закат. Что? Тут бы в себе разобраться, вспомнить, когда ты от меня отделился. Шел по тропе и вдруг перед собою увидел. Присмотрелся, удивившись, узнал.

Что в окне? Свежий утренний снег, черные пятна деревьев, низкое бесцветное небо, всё окантовано горизонтом — графика пушкинской прозы, точнее и чище не было и не будет. Но растопит, растопчут, грязным потоком прольется бессмысленно, беспощадно. Большими, неподъемными словами — страдание, вдохновение — всё обвалится. Ты их начал стесняться, а если проскакивают, то краснеешь, я же их сторонюсь, прокаженных. Может быть, составить словарь слов, к употреблению не назначенных?

Твоя эпоха была очень стеснительной, этаким юношей, стеснявшимся взрослости, волос на-ногах-руках-верхней-губе, прыщей на щеках, чуралась больных и калечных, загоняя их в резервации (само слово было индейцами занято), которые называла интернатами для (душевнобольных, слабоумных и прочих увечных). Там индейцев гнобили, здесь калечных прятали дальше от глаз, после войны на Соловках, географией отведенных для медленной смерти заглазной, отхожей, жизни, не жить искушающей.

Это эпоха, а в доме из этой эпохи — черный провал ступеньками вниз, из тесноты, пустоты, темноты — дверь в свет, в красное пламя в открытой дверце печи. Топят углем, вода нагревается и теплом струится по дому. Ты забыл, я вспоминаю светлую от входной двери до горящего очага протяженность, посередине на постаменте из двух табуреток жестяная с разводами ванна, которую перед купанием прожигали спиртом, одеколоном. Весело, тенями стены лаская, горело!

А потом не в доме, не желтым, не голубым, но черным к небу вздымалось, почти ровесником твоим, нашей и вашей свободой безнадежно на площади полыхало, зато в ином углу жизнеутверждающе ликовало победой, второе тысячелетие изгнания завершившей, в честь чего в стране повального сумасшествия в типографских знаках обнаружились шестидневные звезды.

Дыша черным дымом, на другую площадь вышли другие, у одной из них я буду печататься, а когда ты появишься, не будет ни гари, ни следа на асфальте, ни памятника, который поставят при мне. От головокружительной голой готики ошалев, ты поднимешься по ступенькам, чтобы опуститься в подвал на средневековые рукописи поглазеть. А вернувшись на воздух, пойдешь к реке и на средневековом, от времени и от дыма потемневшем мосту бросишь монеты в раскрытый футляр, над которым пальцы-струны-гитара, губы-улыбка-гармошка, зыбкий голос, рыдающий о любви и свободе, не ведающий, что свобода — субстанция горькая, а полынь — самое частое растение на тропе.

Всё это я лишь повторяю, вспоминая, что ты забыл. Повторяю тот дым, город-порог, о который споткнувшись, героя своего поселю, и ту улицу, над которой многоэтажное кладбище нависает, и ту площадь, по которой один за другим, круг за кругом, не догнав, догоняя, несутся два орущих трамвая.

Вокруг тебя всё заботливо, юно, прекрасно, несмотря на то, что отнюдь не полифонично, не благоухая, империя бух**а**ет-и-б**у**хает. Аквариум с нежной зеленовато-голубоватой водой. Но в ней выпученные глаза, ни движения, ни реакции — ничего. Рыбьи о таких говорят. На дне, обеззараживая воду, уцелевшие во время войны от торгсина серебряные полтинники с профилем не слишком умного, несчастного человека, погубившего и семью и страну. Пасть под глазами навыкате раскорячена — и темно, слепо, вязко, не выбраться, из бездны себя не исторгнуть. Не вытянуть за уши, за волосы, как ни сильсь, не вытащить: величайший, прекраснейший лгун уже не выбрался навсегда. Самое страшное: поток обступил, над головой волны проходят, окружила бездна, и голову буря обвила, но в беде не воззвать — не будет ответа, из чрева преисподней не умолить — не услышат.

Ты, напрасно надеясь, обходишь аквариум, безуспешно пытаясь услышать многоголосие немоты. Мир невидим, неведом, а за стеной крепостною, вдали пылится дорога с актерскими шарабанами, представление приближается. Мы на нем встретимся лицом к лицу и, не узнав друг друга, разойдемся в разные стороны, пойдем по тропе: ты назад, я вперед, чтобы однажды, заметив, я шаг ускорил. Ты молчишь, изредка сквозь немоту предупреждая:

— Осторожно! Слева опасность! Страшен источник Леты! Зато справа — другой, Мнемосины, дочери Климены и Зевса, в образе пастуха отцом соблазненной, матери муз, источник безопасный и дружелюбный. Какая муза тебя соблазнит? Какой ты соблазнишься?

— Меня? Ты спрашиваешь, ты предупреждаешь меня? Впрочем, ты прав, ведь обо мне ничего ты не знаешь, Мишель, рядом на сцене друг твой Монго, а повествовавший о жизни жил в последнем гимназическом классе на крошечной улице Дикой. По ней шел к перекрестку, оттуда наверх, в знаменитую Первую, желтый корпус, рядом мне пришлось поработать, а вниз по улице длинно невыносимой, разноименной на разных отрезках и в разные времена, шли на заклание. Руку Авраама остановивший тогда не успел или счел бесполезным: молчаливый ягненок рогами в кустах не запутался.

Вот, такой конспект ты оставил. Почерк ужасный, тройка по каллиграфии — авансом и за другие заслуги, тешился мыслью, что у великих почерк ужасный. Мне от руки писать вовсе не надо, конспект разбирая, насыщая его шепотками идущих, криками стерегущих, сторожевым лаем, несмазанным

скрипом, пылью, потом, пыточной неизвестностью, предчувствием неясным, томительным, с шевелящейся на дне полумертвой надеждой, зудом от комариных укусов, перегаром сивушным — гнать самогон не вонючий никто никогда не научится. Под твоей кроватью квартирная хозяйка будет хранить десятилитровые бутыли на празднества и на продажу.

Ты конспектировал. Я записываю.

Умер — родился, снова умер — и снова родился.

А пока для тебя еще смерти нет. Книжка о жизни чужой. Всю жизнь будешь себе представлять, как она чуждо к тебе приближается, и никогда не поймешь. Всю жизнь с мыслью о смерти жить будешь учиться и никогда не научишься.

Вечно длящийся ассонанс

На тропе — знаки, меты судьбы, мутные, как предсказания Нострадамуса. Соблазн их постичь одолеть невозможно. Искус конца и предела? В реке, на границе прозрачной и мутной воды? В море, где светло-зеленые воды темнеют, смыкаясь с исчерна-синими? В небе, где яркая голубизна набухает громовой чернотой? Там твоя запоздавшая тень сомкнется с моей? Это знак, это мета? Или след хозяев сумеречного пространства, не пошедших на рабочий кредит?

Уступают они неохотно, медленно в сторону отступая, под днища машин залезая или из мусорных баков, дожевывая на лету, во все стороны — гроздьями. Лоза над землей выгибается и разномастно — хвостатым салютом. Из них запомнил одну, бегущую в воздухе, в последнем полете лапами судорожно продолжающую бежать, пока, легко вздрогнув, замерла, добежала. Водитель, вероятно, ничего не заметил, а может, мюзикл припомнил. А ты помнишь черно-белую Сильву? Недолго она продержалась: слишком, ты с ней возился.

А на голубой пластмассе буфета, в углу огромный том, для сохранности в газету обернутый? Социалисты-утописты о таком не мечтали, правда, изображенное там, бывало, едали. А мама-папа, дети войны, еду добывали.

О, необыкновенной пузатости и раздутости безразмерной портфель, вмещавший добытое!

О, оставшийся единственный апельсин, назначенный детям, не съеденный и засохший!

О, цитрусовые, знак, мета и символ принадлежности, успешности, праздника!

Мандарины — все знают — елка и Новый год. Лимоны — под коньячок, желтые круги на заливном. Апельсины: свиноподобный начальник, два парохода, Русское подворье в Иерусалиме. А там неведомый никому, над съедобной полезностью восходящий, знак невиданной красоты, чудной формы и славного запаха, первейший благоухающий цитрус — этрог.

Но не сезон — забывается, пропадает, в отличие от запаха чистых больничных тарелок, всю жизнь не исчезающий. Нежный возраст и гланды, и незнакомая поликлиника, и дверь, куда стремятся проникнуть, и перед ней, не на нашем с тобой языке, извечные терки. И на маму летит не безобидное, но не слишком и грубое (по нынешним временам, наверное, никакое; может, слова и вовсе не знают): фифа. Ты не знаешь, что слово значит. Но рядом с ним, объясняя: помада, шифон, кольца, серьги, духи и оборочки. Тебе, однако, за маму обидно, но вы уже в кабинете, и под большими очками бородка просит рот открывать и закрывать разрешает. Ширится образ, вбирая

слова: профессор-Лещинский, привычное «врач» или «доктор» без очков-и-бородки начисто отрицая, в другой регистр переводя: платная поликлиника.

Через несколько дней гланды-профессор-Лещинский возникают опять, обещая мороженое, но уходят, не дав. Ты остаешься лежать, рядом мама, вокруг тебя запах, непонятный и неотвязный. Ты пытаешься определить, что это пахнет, крутишь вокруг головой и натыкаешься на гору чистых тарелок, от которых исходит больнично неукоснительная чистота. Господи, чем же их мыли? Это я и сейчас. Потом — цветы, значит, фифа-гланды-профессор-Лещинский-тарелки — это событие.

Уйдя с гландами восвояси, профессор-Лещинский, звание и немыслимый запах тарелок утратив, станет отзвуком незгинелости, дзядов, темных очков Ярузельского, из железа человека, из мрамора — материалов, чуждых отцу, как мне теперь кажется, не слишком метафорам доверявшим.

Рассказывая, он про себя, и это было заметно, отсекал бесполезное: к чему о пустяках говорить? Жаль, ведь именно пустяки невозможно придумать, их необходимо увидеть-услышать-вдохнуть. А память часто с деталями поступает, как в обыденной жизни с вещами, которые ветшают, выходят из моды. Иначе, ведь, невозможно: ненужные вещи вытеснят человека.

Его детство — бесполая эпоха загара, пионерских салютов, групповых фотографий на фоне знамени. Мифологема лепилась умело, внедряясь каленым железом в национальное бессознательное. Война была вместо юности. Зато у тебя — мука завязывания галстука. Никогда не получалось, ни разу. Тебе же выпал поточный пыточный лагерный режим: влажная уборка, маршировка строем, тянем носок под баян, воспитательница имени императора Павла, линейка под трубы и барабан, футбол-отрада на пыльном поле, грязные уборные и отсутствие душа, раз в неделю баня в поселке. «Заберите, больше я не могу!» Мамина младшая сестра сбежала из лагеря, по шпалам (в полном смысле этого слова) дошла до города. «Заберите!»

Пустяки — на сите золотые крупицы. «Старатель» — тугой ком мухинской ямбической мощи. Жаль, этим словом язык пренебрег, из узкого поля не вывел. Видно, ныне упрямая мощь языку ни к чему, да и раньше, когда из людей гвозди ковали, длиннодыханному слову широкого применения не нашлось. Так оно и осталось в полной достоинства двуперстой нише упорного труда, где работается всё долго и непрерывно: служение жизни бесконечно, крупицы блестящих удач редки. Река медленна и кряжиста, лето кратко, зима бесконечна.

Отец рассказывал, как летом мыл на Урале: мелкий ручей, по щиколотку в воде, намывай-промывай. В его жизни крупиц золотых было немного. Одна из них булькнула в пивной кружке, когда, узнав о рождении сына, двадцатидвухлетний отец обходил все пивные от места рождения твоего до комнатушки, в которой вскоре ты поселился. В отличие от тебя и меня, отец был старателем, хотя отнюдь не двуперстным.

Спустя много лет ты с другом, который от тебя ко мне перешел, приехал в город, недалеко от ручья, нашел по описанию улицу, дом, адрес не изменился, зашли во двор, спросили, начали фотографировать, и высыпало из курятника, приняли за журналистов, которые им помогут. Сколько можно. Сколько писали! Ничего не сдвигается!! Очередь, очередь, помрем, пока очередь подойдет!!!

Вечно длящийся ассонанс. На кромке тающего сна, бледного, как акварель Зимней канавки.

От ветра и холода подрагивает вода. Серая промозглость или промозглая серость. Девушка неопределенного возраста, за которым может скрываться и восемнадцать и тридцать пять. Ты стоишь рядом. Дольше положенного.

Она заканчивает и без слов, сняв кнопки, лист протягивает тебе: Зимняя канавка в зеленовато-мутных, серовато-промозглых тонах — жидкая акварель. О ней, акварели-канавке, четыре, после редакции всего три строфы, случилось размером, в забаву мальчикам поэтом оставленным.

А она, другая совсем, из времени-пространства иного предпочитала умных, пусть не слишком успешных. Один из них, мэтр-поэт прочитает, поправит, ты ему посвятишь, я спустя годы опубликую. Это там и тогда, где на прошлую жизнь до тебя жил-был поэт-без-определений, и была-жила любовь-без-эпитетов, варенье и еще-не-жена.

Спустя немногое время ты трамваем скучно-долго будешь к мэтру-поэту добираться с бутылкой водки в портфеле, он пил много, за что был посмертно похвален антисемитом. Мелькала жена, мэтр-поэт был мутен и сер. И то сказать: не лето и не любовь, и тень великая не витает, вызывая трепет запойный. Ты не выбрасывал акварельку, потом в годы перемещений в пространстве она сама собой делась. И время тут ни при чем, не оно ее погубило, не оно нас с тобой, так друг на друга похожих, не оно разлучило. А может, акварелька в начало, в Зимнюю канавку вернулась?

Как и я, ты, мучаясь ожиданием, пытаешься отвлечься, уверив себя: как только забудешь, тогда и случится. И знаешь, что это не так, случится, только если случится, от тебя ничего не зависит. Но ждать невыносимо, время тянется, ты путаешься у него под ногами. А оно, безначальное, бесконечное, как ни дроби, ни внимай кукушке и ни шинкуй, непрерывно тянется, мчится, течет. Идет время и пропадает, точными словами за эпоху цепляясь, по слову поэта, чьей славе посмертной прижизненное самоубийство весьма помогает.

Убивать себя больно, противно и совсем не красиво. Лучше воевать за свободу, сражаться с туземцами, за честь жены выходить не дуэль, быть убитым за слово, ироничное, направленное против тирана. Способов такого самоубийства не счесть. Слава разум мутит, ее жажда сильнее инстинкта: сказать хочется больше, чем жить. Может, не слава, а слово мутит? Чем больше поэт, тем слово больше его самого. Особенно то, что написано кровью. Не пойдешь же просить карандаш перед смертью. Веревка намылена, а ты: «Карандашика не найдется? Одолжите, иначе петля не захлестнется».

Слово — храм, жрец в нем поэт, переводчик пифийского угарного бормотания. Жрецом, с пифийского переводчиком много лет Плутарх прослужил, интерес к великим мира сего дочиста исчерпав. Что с таким словом сравнится, какая слава, самоубийство какое?

Пуща-почему-то-Водица

Почему самолюбие, кажущееся избыточным, называют болезненным? Избыточная гордость — это гордыня. И у самолюбия есть напарник — самовлюбленность. Болезненная гордость? Вполне вероятно, но встречается редко. Болезненное самолюбие разрушает самого обладателя, она — болезнь завышенных притязаний, дисгармония разбега и взлета, замаха и силы удара. На последних стадиях неотвратимо смертельна. Недолгая память. Хвост обглоданный рыбий. Его, еще не обглоданный, захватила ловкая рыба, а ее — плывущая за ней ухватила. За нею вторая, за которой другая, так и плывут, серебристо в зеленой воде извиваясь, восьмеркой, рыбой-змеей безначальной-и-бесконечной. Ни причин, ни следствий, серебрится, подрагивает, то ли вода цепь рыбью колышет, то ли она водою играет. Белый голубь лист масличный в клюве тихо проносит.

Созвучие, гармония красок, радуга ощущений, музыка запахов. Образы слиты: не понять, что слышишь, что видишь. Идешь по тропе, в транс райский впадая. Ускоришь шаг — слитный образ исчезнет, замедлишь —

вернется, рождение, жизнь и исчезновение в единый нерасчленимый поток единятся.

Идешь, узнавая, кто ты, по тропе, подгоняемый вечным погонщиком — комплексом неполноценности, то ли не замечая, то ли от меня убегая. Тропа узка, справа и слева бетонный забор, лучше сказать, ограждение, может, ограда. Взгляни сквозь решетку бетонную: рай с одной стороны, ад — с другой. Ускорь шаг. Ни рай, ни ад не исчезли, тебя не покинули: дерево зеленеющее, из самого себя произрастающее, листьями шепчущее — с одной стороны, а с другой — дерево обгоревшее, словно само в себя вросшее, черное и безмолвное.

Не торопись, не беги. Всё равно не догоню, идем ведь по-разному. Ты — забывая. Я — вспоминая. Давно виденный фильм смотрю заново, теперь без цензуры. И сколь бы ни хотелось, чтобы вместе мы вспоминали, никак не возможно. Ты еще слишком мало забыл, чтобы помнить то, что нельзя забывать.

Вот, вспомнился дом, который ты позабыл, по сути, твой первый. Не только вспомнил его, но разыскал на улице, которой не существует. Как? Дом есть, заколоченный. А улицы нет, исчезла, остатки дороги и тротуара травой и мороком заросли. На всё извилистое русло давно в бездну утекшей реки один-единственный дом, от чужих глаз обнесенный забором. Была река, затем была улица, а ныне морок с единственным домом: стекла выбиты, окна накрест забиты. Вспомнил, приехал, увидел. Твой дом стал моим: не ты, я его вспомнил. Но ты не злись. Что нам делить?

Может, Красную площадь? Не ту, глумливо державную, половине мира звенящую, грохотом парадных сапог оглушающую. На нашей с тобой маленькой Красной всегда пыль, грохот и толкотня. И сквозь всё — трамвая нервное ожидание.

Звеня, тормозят, подъезжают. Звеня, скрипят, отъезжают.

Наконец ты у окна, в него въезжают улицы, переулки. На простор трамвай медленно, тяжело выползает. Город его с трудом выпускает. Чем далее — тем быстрее, остановки реже, и наконец, вздохнув широко, разбежавшись, дребезжит во всю прыть через лес. В окно тычутся ветки, отец, на миг высунув руку, вносит маме ветвь, цветами украшенную. Не все попытки удачны, но вот и тебе достается. Трамвай дальше, а вы по песку, по тропе к дому, туда, где вас ждут. Тебя ждут везде, меня же почти — малая уступка обману — нигде. Утренний обман к полудню рассеется, останешься только ты.

Тебя там оставят: каникулы. Крошечный дом с непомерно огромной не застекленной верандой, под полом — пустое пространство, склад, свалка, из углов тянет, сказал бы ты, сыростью, я скажу: тленом. Доски прилегают друг к другу не плотно, щели — неровные, искривленные полосы света, в них мечется, словно гонимые паникой гномики, легкая летняя пыль. Возле сучка веселый паук на радостной паутине. К щели прильнуть: сквозь пыльных гномиков на голубом безоблачном фоне — листья, ветки, цветы. Коричнево, бело, зелено, оглушающе разноцветно.

Вместо окон веранды — не дикий, причудливо вьющийся виноград, но настоящая терпкая «изабелла». Ступеньки, калитка, крючок изнутри — сад с ржавой кроватью, цветастым тряпьем под кое-где краснеющей вишней. Книжка рядом с подушкой. Всё это ты позабудешь, чтобы я вспоминал, и листья, вырезывающие голубизну, и обрывки мыслей и слов. И разноцветную тучу — цыган, женщины, дети, громко, на всю округу призывно: «Мы не цыганки, мы сербиянки!» Почему сербиянки? Рифма такая. Просятся на постой, божатся платить. Куда? Все здесь ютятся на считанных метрах, которые грешно квадратными называть.

Буду вместо тебя вспоминать яркую, огромную, не слишком сладкую, однако, малину. Ее, осторожно раздвинув колючие ветки, слегка пальцами сжав, ты будешь тащить со штырька, на который насажена, без ассоциаций, но вожделенно. Буду вспоминать и запах и вкус, но ярче, точней всего движение пальцев, охватывающих желанный в сумеречном запахе маттиол, едва различимый, зазывно краснеющий плод. Только тебя не вспомню никак, потому сейчас иду, пытаясь догнать, сознавая, что это никак не возможно: гнаться за тобой, как за временем, бесполезно.

Под верандой — пространство в три погибели, не разогнуться, населенное прошлым, не довоенным, оно за чертой, проведенной зияющим бегством: смертный свист бомб вокруг эшелона — преследовавшее отца впечатление от войны. Рухлядь, книги, журналы, черно-красная повязка сталинской всё рушащей смерти и корежащее осознание: малый миг ты был современником того, о ком потом, крутя пластмассовый барельефчик настольный, маму дразня: жаль, умер, его бы на Лобном месте повесить. Мама не сердится. Но в детстве она звонко читала стихи о великом вожде, искренне, проникновенно, и забыть это не может.

Кусты малины — в саду по периметру, вдоль забора. Отец — деятельная натура, старатель — сажает, прививает, из ботанического сада привозит. Алая, как накрашенные губы, малина. Смородина (как-то услышу: смородина) — черная с лучиком света, словно икра, будто черные жемчужные ожерелья. Твердый зеленый мохнатый крыжовник. Яблоки, иной год и вишни. Как положено, лопухи и неведомая лебеда. Сад раз в два-три года растет, отец удлиняет забор: освоение целины.

Абзац этот — подражая тебе. Не зря у тебя на стене Хемингуэй (Гертруды Стайн ученик не самый лучший): бородат, молод и трезв, в погоне за рыбой, выуживающей с земли рыбаков, Европу покинувший, в мадридском ресторане оставивший о своих обедах табличку. В соседнем ресторане другая: здесь ноги его не было.

Из крошечного домика при саде, всё время растущем, ты ходишь за хлебом и всякою мелочью в деревянный магазин на ступеньках, где однажды — огромная очередь, возбуждение, пьяная баба, завывая, зовущая страну огромную встать, а дома по радио, днем не смолкавшее: Куба, Кеннеди, Кастро.

Трамвай начинался на площади и, на поворотах визжа, так в кладбищенских мастерских режут камень, кончался где-то вдали за твоей остановкой, первой в дачном предместье со странным, но ласковым именем Пуща-Водица. Ни тебе, ни мне не пришлось проехать по всей этой линии, по всей Пуще-почему-то-Водице до конца от начала.

А я, вспоминая идею мистера Блума проложить на кладбище трамвайную линию: катафалк, траурный кортеж, проехал не от начала, но до конца до знаменитого Венского кладбища. Это было долгое дребезжание по старческой в три четверти Вене, куда с донесением был послан Болконский, не знавший, что Моцарт похоронен в общей могиле, не видевший светлого храма, возле которого остановка извозчика, катающего по знатным могилам.

Князь Андрей не наткнулся на склеп еврейского праведника. Чтобы войти с замком надо совершить несколько действий не сложных, однако, свидетельствующих о принадлежности. Набираю, свидетельствую, не открывается. Иду вдоль стены, ищу выход, размышляя, почему к праведнику не допущен. Нахожу ворота: закрыты, остается дальше плестись, легко отсюда, видно, не выбраться. Побродив, увидев, запомнив, выход сыскав, ем в прикладбищенском ресторане. Рядом за столиком две кружки пива и кола. Бабушка, мама и внук. Вероятно, дедова годовщина.

Гляжу на них, трамвайный путь вспоминаю и задумываю написать эссе под названием «Город», первая глава которого, разумеется, «Площадь», только, Бог весть, напишу ль. А если всё-таки, оно не будет о городе, человеку несоразмерном, огромном, разбухшем, как труп, в летний зной разлагающийся. Но о совершеннейшей Вене, о Шиллере-Гете, друг против друга стоящих, не далеко от которых у ограды — смотрите-запоминайте! — на фоне парка, ставшего биваком, из ненависти беженцы занимаются любовью. Громкими стонами приглашая прохожих полюбоваться.

Полиции нет. Ее здесь не видно. Прохожие ягнята молчат, отворачиваясь.

А вечером, возвращаясь с концерта в костеле — Ave Maria всевозможных эпох — натыкаюсь на уличного скрипача, рядом с которым арапчонок, вырвав руку у матери, кружит вокруг музыканта, танцует, весело в ритм попадая. Скрипач кончает играть — вслед за ним кланяется и танцор.

На улицах Вены я тебя не ищу. Что тебе город немецкий с легким славянским привкусом, едва ощутимым? И ты ей совсем ни к чему.

А домика нет, как и сада. Я не был, мне рассказали.

Белая повязка, черная полоса

Прошлое приходит, как сон, проявляется без звука, без запаха, невидимое, бессловесное, и ты его переводишь в слова, словно жрец, перелагая в стихи угарное бормотание.

Открывая прошедшее даже в себе, его искажаешь, из хаоса настоящего космос прошедшего созидая. Это истина, от которой с удовольствием отрекаюсь, предпочитая быть еретиком, тем более что ныне их не сжигают.

Время — распад, разрушение, вот ты и ломал в детстве прадедовы часы. Время активно: идет, бежит, плетется и тянется. То, чего нет, метафоры в изобилии порождает. Значит, время — поэт, самое себя в слова и созвучия обратившее. Если в нечто ничто обратилось, значит, время есть нечто, уловляемое метафорой. Прислушавшись, уловите: идет, бежит, тянется и плетется. Поэт был не лириком — физиком, ему в залог отдано время, остальным под ногами вертеться не велено.

Время не исчезает, само в себе растворяется, потому посмотри свои фото, приглядись — меня там увидишь. Только внимательно, пристально, так, как воспитательница в детском саду отыскивала на купюрах бутылку или что еще, вещественное, предметное, доступное ее пониманию.

Время уловляют часами, календарями, числом выстрелянных патронов, страницами прочитанных книг. День — страница, как делает каверинский заключенный, или ветхозаветно, где время конвертируется в пространство: участок поля или же расстояние, которые пашут или проходят за столько-то дней.

В тот день оно уловлялось часами, круглыми, механическими, очень приметными, прикрепленными к фонарному столбу на кронштейне. В то время письма ручкой писали, вкладывали в конверты, марку наклеив, увлажнив языком клейкую полосу, заклеивали, несли к синему ящику, в щель которого — Господи, как долго описывать — конверт опускали. А обувь отдавали в починку: косячки, набойки, подметки — вершина сапожного мастерства. Скучные, тихие, пошлые времена. У слова «пошлость» границы смысла размыты, на другие языки оно не переводимо. Это время, когда на ходу рвали подметки, пролезали без мыла, из воды выходили сухими. Они, рвавшие-пролезавшие-выходившие, были героями времени, Печориными, Лермонтова не читавшими. Время было макулатурным, собиравшим и в награду читавшим.

Бытовало: по жизни идти. Почему не ползти? Или оптимистично: лететь, резонно ловя мгновения, мгновения, мгновения, словно бабочек сачком на лету. Ползли или летели, но одни мгновения исчезали бесследно, другие же

в памяти, как ил в реке, оседали. Почему эти вели себя так, а этак другие? Слон за слоном, а заснешь не тогда, когда вытопчут всю пустыню. Заснется — уснешь.

В веселые времена сюжеты начинаются в нескольких точках, чтобы в одной, самой главной вдруг, внезапно скреститься. Не то, что у нас: ты идешь, я за тобой. Ты от меня не уйдешь, я тебя не догоню. От пункта одного до пункта другого никто не доедет, бассейн никогда не нальется. Скрипичные звуки тонко тают в тумане. Ни скрещения рук, ни скрещения ног, не говоря уже о судьбе.

А ты ищешь резкий сюжет, вбирающий в себя короткие энергичные фразы — вырваться из бессюжетной эпохи. Увы, не найдешь: сюжеты именно она поставляет. Ну, а мне резкий сюжет вовсе не нужен: в свободное от обязательств и грамотности время я читаю книги, тобой не прочитанные, и тихо иду за тобой, хотя ты считаешь: преследую. А хоть бы и так!

Преследуя, вхожу за тобой через арку во двор, посередине которого возвышается узкое с мелкими чертами лицо и белая повязка на лбу, нечто древнегреческое, трагическое, хотя смертельный исход на дороге — исключительно современное изобретение.

Ты помнишь имя, фамилию, хотя и двух слов не сказал, маленькая, прошмыгивающая, в театре бы инженю. Классически горделивая поза никак ей не шла, если бы пришлось писать о ней спящей, то очень банально: уткнувшись в подушку, свернувшись калачиком, чуть слышно посапывая. Но вот: белокурая панночка в светлом мраке дневном. Негатив. Нос острый стал птичьим, вот-вот отделится, взовьется и полетит над двором, того гляди, сбежит за границу, в Париж, который увидеть и умереть. Взовьется, словно пар изо рта, невозможный и неуместный, ведь не зима. А если взлетит, что оставшимся во дворе остается? По птичьему полету гадать! Хочу быть авгуром! Где на них учат?

Только гадай-не-гадай, свою судьбу не угадаешь. А чужую? Не больно она интересна. Вот, главное: чтобы не больно. «Я боли боюсь!» — не тебе, мне это услышать, мне, бессильному что-то сделать, чем-то помочь. Даже затвердев в панцире черепашьем, не укрыться, слух замыкая. Тебе не понять. Мне не объяснить.

«Здесь птиц нет», — он сказал, я услышал. Заметив, сказал, из сутолоки путь начиная. Я услышал, в сутолоке путь продолжая. Время нас разделило, в ином своем возрасте и я начну отсутствие птиц замечать и даже радоваться их будящему пению.

Там, во дворе, отделившемся от улицы, и звуки не уличные, но вьющиеся, словно поземка, вокруг белой повязки. Ни рыданий, ни криков. Люди буднично собрались мало ли для чего, и это наводит на мысль, что смерть — вовсе не страшно, по крайней мере, не шумно.

Правда, живые и осознанием этого возбужденные, одеты чуть праздничней. Тебе некоторые знакомы, но мне они ни к чему. Впрочем, правдивей иначе: ты по-разному относишься к ним, а мне милы они все: ты их запомнил, вот и довольно.

На улице машины, гудки. Тротуары не многолюдны, проезжая часть не пустует. Вплотную к ней пытаются расти не приживающиеся, как верлибр в русской поэзии, деревца. И пахнет пенициллином, во всяком случае, так эту вонь называют: рядом завод. Теснота во дворе вдруг сломается: с улицы въедет автобус с черной широкой полосой на борту и в него белую повязку задвинут. Через пять минут всё опустеет, через неделю-другую те во дворе позабудут, а, вот, надо же, ты запомнил и я вспоминаю.

А пока пришедшие ждут. Ждут во дворе, ждут у входа. Ждут терпеливо. Не принято торопиться, принято думать о вечном, а не о том, о чем всегда думают: еде, туалете, любит-не-любит, удастся или обломится. Живы они, и их мысли о жизни.

Поминки, банальные речи (попробуй выдумать что-то иное!), застольные разговоры, сигареты в парадном, несколько взвинчено, слегка истерично. Тебя это коробит. Пойми: необходимо, жизнь продолжится всё равно, зачем демонстрировать, что мир рухнул и больше не возродится?

В Риме шуты покойного пародировали! В Египте он плыл в лодке по Нилу. Скифы насыпали курганы. Рихтер и Юдина у гроба Пастернака играли. Звуки, сбиваясь в созвучия, через открытые окна в сад уносились и, словно дым, в небо над смертью поэзии поднимались. Оттуда время от времени они на землю нисходят белыми хлопьями, и метет, заметая до последних пределов.

У арки, на расстоянии деликатном дымки, демонстрируя возрастную и социальную иерархию, тихо восходят, наталкивая на мысль, что дым — тишайшая из субстанций. «Беломор» сине-бел, демократичен, карта примелькалась, никаких лагерных ассоциаций. На фоне гор в бурке дорого, иерархично горец гарцует на пачке «Казбека». «Герцеговину Флор» не курит никто, хотя кое-где продается: великую легенду не курят. Рабоче-крестьянская «Прима» и презренный «Памир» — низший пласт иерархии. За ними только махорка — давно забытое, никем не куримое прошлое.

В сторонке — знающая наизусть названия американских дымов просвещенная современность. Она возрастает от красно-белых «Столичных» и коричневого «Опала» до изысканных болгарских «БТ» и «Союз-Аполлона». Редчайший американский витает выше самых верхних иерархических этажей, отзванивая праздником, который с тобою всегда, небоскребами, не болгарскими джинсами, невинно убиенным в Далласе, штат Техас, которого хоронить ездил сам Микоян.

Это внизу, но, поднимаясь, несмотря ни на что, дымы смешиваются, к открытым окнам стремясь, из одного в не таком уж далеком будущем робко зазвучит надежда, что мир прогнется под нас. Ни тебе, ни мне эта надежда совсем не понятна: это миру зачем? Ни мне, ни тебе этого вовсе не хочется.

Всё это — твое, только твое. Я не курю, «Marlboro» красней «Столичных», которые уже, наверное, не существуют. Всё вошло в берега, которые стали другими. Параллельные, как Евклид научил, не сходятся, как ни крути.

В том месте воняло всегда, но в этот день почему-то особо. Может, день пасмурный был, низкие облака запахи придавили, не дав разлететься и вознестись.

Выморочные верлибровые деревца — единственный водораздел между проезжей частью, по которой несутся обуянные гордыней, и тротуаром, по которому шкандыбают понуро. Только зимой, если метель, дворники и снегоуборочные машины сугробы поставят, возникнет недолгая иллюзия отделенности. День-два, и — умирание: долгое, постепенное почернение, набухание, оседание. Итог — грязь под ногами, грязь — под колесами.

Если окна квартиры выходили на улицу, то она, на лбу которой сейчас повязка, видела пыльную шумную улицу летом, грязную хлюпающую по мокрому снегу зимой. Но и этот пейзаж сжимался в ночные туманы до малых метров квадратных, а когда случалось отключение электричества, до размытого пятна, выхваченного свечой, и слов холодных и неуютных.

Наверняка хотелось круглый год за окном зеленых гор ассонансные рифмы. И кроме пейзажа дивных цветов в дивном саду: лотосы, логосы. И дивных слов дивной песни: Сад затворенный — сестра, невеста моя! Затворенный источник,

родник запечатанный. Желалось одно, другое услышалось: ничтожное ничто, всё — ничто.

Хоть головой о стену. Или — на улицу, на ту ли, на эту. Всё равно в назначенный час мосты разведут. Всё равно женщина бросит, или, что хуже, ты от нее убежишь. Всё будет так. И солнце уйдет за горизонт, словно настоящее в прошлое. У тебя медленно, у меня быстро: близок экватор.

С тех давних пор в этом месте ты был? Проходил? Проезжал?

Улица, по которой едет автобус — белая повязка, черная полоса — впадает в площадь, бывший евбаз, еврейский базар, торговое, деловое и босяцкое, бандитское место с мертвым идишем, едва присыпанным в ярах-оврагах. Но это уже не твоя память — отцовская. Твоя память: рынок, он скучен и сер, а базар весел и многоцветен. И полных синонимов не бывает.

Когда сотни лавочек и ларьков в одночасье уничтожали — нас тьмы и тьмы, и тьмы — во все стороны хлынули крысы. Пространство расчистили, вместо церкви построили цирк — але-оп на поклоны, чертиком на веревочке, знаменитейшим пятаком звеня и подпрыгивая.

Перед цирком, превратившимся в остров на площади, — небольшая площадка, чтобы зрители немножко толпились. Какое зрелище без толпящейся публики? Всё в голубиных отметинах, занесенных ветрами с площадей святого Марка и Трафальгарской: там под деревьями не ходи, не заклюют, так загадят, словно на них люди сидят.

Дашь грош, купишь пакетик, сыпь на плечо — прилетит, крыльями трепеща, и склюет. Другой над ним вьется, но место занято, кто поспел, тот и смел, кто первым сел, тот и съел. Первому — вся касса или, если угодно, все голоса. Мама законопослушна, во время выборов в буфете, может, удастся разжиться, берет все паспорта и подтверждает проценты. В школе — музыка, обратно — сетки, если рано утром, то с апельсинами.

Говорят, есть поверье: после смерти душа — отдушина мира иного — вселяется в голубя. Если так, то ее, белой повязки на лбу, душа, выпорхнув из малого, тщедушного тела, вселилась в одного из обитающих возле цирка. Лениво взлетает, слегка над площадью кружит, на памятник гадит, возвращаясь искать, черт знает что черт знает где.

А может его взяли в номер? Голуби вокруг дрессировщицы кружат, туда-сюда перелетают. Вероятно, и здесь дело в зернах: кормят — и привыкают, летают — клюют. Может, ее душа среди них? Нет, это совсем уж противно, из людей — в подневольную ученую птицу. Лучше уж в канарейку в домеклетке, которую знаменитый ученый птицевод прикрывает платком, чтоб не кричала, страхом изнутри не взрывала кремовыми шторами от внешних ужасов скрытое. Ведь в цирке, не этом, его еще не построили, в другом, его еще не разрушили, гетмана выбирали!

А черная полоса с белой повязкой движется в потоке машин, дорогу не уступающих, да и как уступить: все полосы заняты, впереди красный надолго. «Поток» — универсальное слово: поток машин, поток воды, поток времени, поток сознания, поток слов. «Поток» — не просто движение, но движение слитное — не выломиться, разве что о препятствие разобьется, на части расколется. Самому не уйти, редкий шанс выпадет — отделись, беги от потока, от цирка, уходи в подполье евбаза, скрывайся в лабиринтах Хитровки.

Хорошо бы вслед за главою о площади — сразу о рынке: от бесконечных сенных и чрева Парижа до самого в мире большого, каирского, у входа в который — бронемашина с пулеметом на продавцов-и-покупателей, чтоб не шалили. Но помнили. Скажем, дождь. Не проливной — что с телами мокрыми делать? — умеренно моросящий, загоняющий прохожих в пабы Дублина или рюмочные евбаза, где твое рождение твоим юным отцом отмечалось.

И капли дождя, и пена на кружке, и капельки водки — всё сохранится, хоть тысячу лет в воде пролежит, словно книги, спасенные от цензуры и от пожара, чтобы на запросах «горелый фонд» пепельно не чернело. Но — черные отметины на белом листе, и пространство-время, сжимаясь, ненужное изживая, гарь изгоняло в невидимое-неслышимое нигде-никогда.

Даже самый красный свет сменится желтым и тотчас зеленым. Поток двинется сквозь бесконечность серого марева, и потечет поток осознания черной-полосы-и-белой-повязки.

Не могу за тобой не идти

Как соскоблить с себя время? Чтобы лицом к лицу встретиться, поговорить. Тебе, конечно, докука. Только вот что. Разбрасывая камни, главное помнить, что когда-нибудь надо будет их собирать, жемчужно-надвьюжно двигаясь по тропе, проложенной в воздухе. По проходу носятся двое мальчишек, внуков бывшего директора школы, из рук свиноподобного педагога всея Руси получившего орден Ленина, и, тыча в разные стороны бело-голубыми флажками, орут: «Мы евреи-молодцы, у нас обрезаны концы». Кто такие евреи, толком не знают, и кончики не обрезаны. Что не мешает щенячьему восторгу и визгу.

Время — абсурд, время — ничто, времени нет, но течет оно, случайно тебя мной подменяя. Зачем так много я помню? Ведь без воспоминаний жить легче, правда, трудней умирать.

Вспоминаю короткий кроткий миг шуршания листьев. До и после грязь на тропе. Словно в неотвязных мыслях, ноги в грязи увязают. Ты идешь, листья хрустят, падают перед глазами. Идешь, морщась от запаха керосина-бензина и звуков ливрейного еврея Кобзона. Я не могу за тобой не идти, не могу тебя не преследовать, иначе сюжет жизни рассыплется на отдельные строфы, стихи, афоризмы, новеллы.

Чем старше, тем гуще вокруг чужие времена и имена. Звук дрели, сверлящей бетонную стену. Звук зудящего комара. Звук трамвая, вырезающий из тела душу на повороте. Что делать? Надеть на белую рубашку черную бабочку и застрелиться, отчаянно, черно-бело. Все на выпускной фотографии в галстуках, ты в бабочке. Единственный на весь класс. На всю школу один. И твоя одинокая бабочка острыми крыльями отталкивает непременные галстуки, подобно тому, как современников — загибающиеся от превосходства усы Сальвадора Дали, которого ни ты, ни твои одноклассники вовсе не знали.

Какое мне дело? Ты ведь первая дата на памятнике, я — лишь вторая, последняя. Прав, конечно, мне тебя не догнать. Идешь, не бежишь, а мне не приблизиться. А если ты остановишься? Во-первых, остановиться не можешь, а если представить, то и я ведь остановлюсь. Такой почти черепаховый парадокс. Ты, однако, настырный, одно «если» догоняет другое. Ты — голос, я — эхо. Ты — каюсь, я — моя вина, mea culpa.

Ты о винах, обидах, а передо мной графика памяти: мама — мягкая всепрощающая штриховка, отец — штрих колючий болезненный. Мамин стремительный, четкий, веселый почерк, и папин — ломаный, неуклюжий, угрюмый. Оба тайна, и порознь, и вместе.

Со смертью мамы бессмертие кончилось. Со смертью папы вечность пропала. Ты думал: в самом крайнем, наиневозможнейшем случае можно всё одним махом покончить, все узлы развязать. После их смерти я так не думаю.

Я: отпускаю, мой сын, всё отпускаю.

Ты: жизнь безнадежна, как скрипучая дверь, повисшая на петле.

Я: ничего вторая петля ведь на месте, можно и починить.

Ты: досталась скверная версия жизни.

Я: откуда ты знаешь, какая иная могла бы случиться, покрути головой и подумай.

Замолчал? Вопросы иссякли? Пропал интерес? Инерция лживой банальности угнетает? Или винтовка в последнем акте не выстрелила? У отца была мелкокалиберная, много лет лежала в шкафу, потом унес, сдал, верно, куда-то. Зачем винтовка в шкафу? Надоели вопросы? Правильно, не надо их попусту задавать. Вопрос — фигура неумолчания, не пневматическая мелкокалиберная, с ней предписана сторожкая, почти острожная осторожность.

— Где ты?! Ты где?!

— Здесь я, я здесь. Сегодня самая длинная ночь. И новый год на носу.

День зимнего солнцестояния. Самый короткий день, самая длинная ночь. Завтра чуть-чуть больше света, чуть меньше ночи. Чуть тверже надежда, чуть короче страдания. Вот-вот Новый год, елка, и запах хвои посмертный.

А праздничный стол требует усилий и самоотверженности. Но они прилагались, и чудо свершалось: творение делало шаг назад, и мир возвращался в хаос первоначальный. Всё, кроме сладкого и горячего, сразу громоздилось на стол, наполнявшийся быстро. Тарелки, вазочки передвигались, место высвобождая. Бывало, стронутому при возвращении места не находилось. На журнальный — фрукты. А хлеб, словно для голодной Марины, — на письменный. Обеденный раздвинут, кухонный — в стык. А там меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым водка в светлой бутылке, и чернеет бутылка вина. Зеленые — с минеральной и всяческими сладко иными. Посередине карп золотистый огромный, обращенный головою к жаркому из оленины, хвостом блюда раков касаясь. Тарелки, тарелочки, блюдца, судки и судочки, селедочницы, мисочки; в них:

румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны;

колбаса-буженина-ветчина, винегрет, салат, как спустя годы выяснится, далеко-не-совсем-Оливье;

с луком и кружочками огурцом призывно фиолетово лоснящаяся селедка, не соленый, вымоченный шершавый форшмак тоже с кружочками огурца, огурчики-помидорчики-и-маринованные-грибочки-редко-маслины-черные-или-зеленые;

золотисто-черные шпроты с лимончиком, рыба в красноватом томате и/или же заливная с желтыми лимонными пятнами;

заливной язык с вмерзшим слегка потускневшим укропом, золотистое холодное — не студень, леденящий тело-и-душу, но безмерно долгое вкусное, украшенное кружками яйца;

печеночный паштет, который есть можно губами;

а также бараний желудок, начиненный гречневой кашей, мозгом и ножками;

кабаны с раскрытой пастью, утопающие в пряных приправах;

зайцы, словно прыгающие между цветами.

А затем, когда все сверх всякой меры насытились, подавались роскошные голубцы, варившиеся в огромной кастрюле, уступавшей по размеру лишь той, в которой часами, как в домне, томилось и плавилось с лавровым листом и чесноком будущее холодное.

И разом являлись коричнево-золотистые пирожки с начинкой картофельной или с мясом и рисом.

И завершал пиршество торт, многослойный, с орехами, шоколадом, с подходящей празднику надписью. Его приносил накануне отец, и место ему расчищалось в холодильнике долго, тщательно, осторожно, хорошо, если зима, тогда на балкон выносили.

Но вершиной, единственным верным мерилом, истинным, неоспоримым, была возлежащая в фиолетовых свекольных пластах фаршированная с безумными глазами навыкате рыба, удивленно и недоверчиво взирающая на пиршественное многоцветное великолепие.

Пары, запахи смешивались, образуя невообразимое ощущение праздника, глаза поражало буйное застольное разноцветье, а язык-и-небо — восхитительное разновкусье. Всё это противостояло безнадежной серости будней. Всё готовила мама за два-три дня до события, приходя с работы и закрывая дверь в кухню, где варилось, жарилось, парилось, тушилось, булькая, шипя и первозданным паром Творения возносясь в открытую форточку. Запахи, дурманя, наполняли квартиру, из любого угла вытесняя на кухню — урвать, зацепить, украсть и попробовать.

Не было вкуснее. Не будет.

Вокруг стола на диване с подложенными подушками, на стульях, табуретках, плотно и тесно — комната мала, стол велик — все помещаются, все рассаживаются. Наливается и накладывается, выпивается и жуется. Славно, дружно, обильно.

С чем сравнишь? Ныне не бывает такого. Может, было у Толстого, у Гарина-Михайловского, у Булгакова. Нынче вкушай Рабле до отвала, а знаменитую Книгу о вкусной и здоровой пище — пособие по кулинарному онанизму — ни у какого букиниста уже не добудешь.

«Неужели всё это правда?» — Думаю после глотка шардоне, ожидая оранжевый тыквенный суп с зеленой отметиной базилика, а за ним крошечный нежный кусочек почти соловьиного римского языка с веточкой розмарина и вишневой лужицей элегантно в сторонке. Десерта пока не заказывал, наверное, как всегда, наперсточек кофе.

Вспоминая запахи, ощущая тяжелый вкус незабываемых блюд, вижу застывшие фотографии, пытаюсь расшевелить, вызвать мимику, слышу тосты из ненужных, исчерпанных слов, пытаюсь увидеть тебя, поражаясь: не вижу.

Соображаю: увидеть тебя не могу, ведь твоими глазами всё это вижу. Развеялись запахи, отзвучали слова, тарелки помыли, едоков похоронили. Живых за стол — пусть пируют! Пиррово утешение, ведь идем-то по кругу: я за тобой, ты — следом за мною, а движущееся время — просто иллюзия, хоть дели на годы его, хоть на дни и секунды.

Кстати, ты в каком сейчас времени, брюк широких или же узких, а может, снова широких? Обуви тупоносой или же узконосой, а может, опять тупоносой? Платья и юбки ниже колен, выше, посередине? Эпоха кринолинов. Времена женских брюк. Мужских длинных волос. Женских коротких.

Куда лучше раннего Александра, еще не Благословенного и тем более позднего Брежнева. Хотя Александровская, бывшая Первая, звучит замечательно: Паустовский, Булгаков. А вот адмирал, в девичестве крейсер Брежнев, задымил пол-Европы, едучи насмерть мирить несчастных сирийцев.

Что? Почему «ты»? А как? Безлично? На «вы»? Извини, выбора нет, не я языку, язык мне диктует, когда, следя взглядом движение твоих сверстников, вспоминаю. Похож-не-похож, тебе безразлично, а я с удивлением и тревогой всё больше в себе отца узнаю. Тебе говорят, что на юного Маркса похож. Во мне сходства со старым никто не находит. Теперь вообще редко кто его знает.

Ты для меня — это ты. Я — в прошлом ты, ты — в будущем я, друг с другом мы не равны, как восток с западом никогда не сойдемся. Но сколько бы друг-за-другом-или-же-друг-от-друга не-ходили-не-бегали, всё равно в одной могиле нас похоронят. Застенчивого и бесстыдного, рифм глагольных боящегося и ничего не страшащегося, тебя, у которого цепочка «если» может быть почти бесконечной, и меня, у которого она коротка.

У нас с тобой разное время, не эпоха, это понятно, но ощущение времени. Становясь мной, ты будешь много думать об этом, а потом и напишешь. Я об этом думаю постоянно, видимо, пока не скажу: «Света, больше света!» Сколько же времени вместе мы провели? А вода из кувшина не успела пролиться.

Тропой жизни к смерти идут

Тропа войны, Фенимор Купер, яркая, неожиданная, бахтинский карнавал среди кочетовых и марковых. А тропа мира? Или же — тропа смерти? За поворотом поднимается через тернии к звездам, затем стремительно падает в преисподнюю. У тебя проблема с заглавиями, у меня ее нет. Немногое, чему научился. Идем по тропе, два капитана, не дорожа народною любовью. Обречено не нареченное. А если наречено? Не обречено?

День — ночь, день — ночь. Бесшумно, бесцветно и незаметно листаются дни в пустоте и бессилии. И только неожиданный гром напоминает: люди живут, следовательно, умирают. Тропой жизни к смерти идут.

Для смертельно больного будущим становится следующий месяц, день, даже час. Время скукожилось. Туман пожирает пространство. Предел видим, почти ощутим, протяни руку — достанешь. Вначале ищут слова, к случаю подходящие, меру лживости взвешивая тщательно и осторожно, потом слова обессмысливаются, становясь бесполезными, как праща в руке Голиафа, их произносят всё реже, заменяя жестами, привычными, редкими. Впрочем, они тоже излишни. О чем думает тропой смерти идущий? Его мысли беспорядочны, хаотичны: даже малого не успеть. Будущее меняет на прошлое. Вот-вот менять будет нечего. Последнее слово всегда за молчанием.

Окружающие думают брезгливо и гаденько, себя упрекая: не они умирают, они-то здоровы. Иван Ильич всё больше отдаляется от живущих, еда самая вкусная, дорогая, а ему ничего больше не надо.

Не надо ему ничего. Больше не надо. Ему — ничего.

Теряет имя, становясь местоимением.

В этом времени, отравленном ожиданием, живут, задыхаясь, как рыбы в аквариуме, в котором нет кислорода: выплывают, рты раскрывают, а затем ложатся на дно, откуда их вылавливают сачком, выбрасывая в унитаз.

Генерал, служивший в Германии, подарил для сына игрушку. Лодочка, в ней гребец. Вначале артачится, но — будем делать посмотреть — поддавшись настойчивости, плывет в аквариуме — у отца всегда они были — гребец веслами машет, рыбок пугает, пока лодка с гребцом окончательно не испортилась и, как жизнь, куда-то исчезла. А немецкий водяной пистолет на второй подзарядке разбили: во дворе царил ты недолго.

Зато футбол даже детство твое перерос, пыльной памятью много лет под шкафом провалявшись. Когда появился и ты играл с Эдой (не младшая и не старшая, но — единственный) на марки, в окно — первый этаж — соседские заглядывали, завидуя-отчаянно-ненавидя. Эда, большой, неуклюжий, единственный твой партнер, жил рядом, играли вы часто, вскоре его марки перекочевали к тебе. Но один раз неведомо как выиграл он, забрав, отнекиваясь — ему ты с футболом были важнее — десять марок, какие хотел. Упоенный победой, неожиданной, невозможной, Эда отказывался, но ты настоял: уговор

есть уговор, и с мазохистским спокойствием наблюдал, как в заветном альбоме образуются дыры, которые и теперь ничем заполнить никак невозможно, ведь в нем были марки из альбома отцовского, то немногое, что убежало в эвакуацию. Аквариумы и альбомы, как люди, не бесконечны.

А больному с каждым днем холодней. Отопление на полную мощь. Все одежды надеты. Пледы накинуты. Холодно. Еще холодней. Но всё кончается, в том числе холод.

Я кормлю маму, стараясь до краев наполнить йогуртом чайную ложку, будто она, мама моя, благодаря этому не умрет. На третьей-четвертой перестает, ей больше не надо, а я и этого, кормить, не умею. Мне нечего возразить. Пытаюсь вспомнить, что надо уметь, не получается, и про себя размышляю, что память — посредник между прошлым и настоящим, точней сказать, сочинитель прошлого для настоящего.

Смотрю на маму, лежит тихо, губы сомкнуты, глаза полузакрыты, дыхание легкое, почти незаметное. Ей не нужны изящные модные платья, которые из пустяков, лоскутов, купленных за гроши, шьет ей бабушка, работающая в театральных мастерских напротив оперного, куда она ведет тебя на балет: всё понятно, только не ясно, почему всё время молчат. Каникулы, деть тебя некуда, и мама приводит тебя на работу, а потом к бабушке, где швейные машины шумят, волны материи на пол ложатся, кружева, блестки и — все приходят на тебя посмотреть, рассказывая, какой у бабушки красивый и воспитанный внук.

Легкая, быстрая, стремительная, мама лежит легко, неподвижно. Ты знаешь ее молодой, а я вижу уставшей от мудрости, от опасений, болезни. Всю жизнь ее мучило, что многого ни ты, ни я не умеем, а то, что умеем, никому совершенно не нужно. Кто из нас прав? Я, научившийся делать свое малое дело так, как мало кто когда-то умел, или она, умевшая делать очень многое хорошо и жившая очень трудно и очень достойно.

«Сколько мучиться можно?» — бабушка из последних сил тебе больно шепчет. Ты единственный сын, долго единственный внук. Всё вращалось вокруг тебя. И эти слова — только тебе.

«Миша, помни», — это прабабушка, тихо, спокойно, словно память о смерти передавая.

В это время лучше всего заниматься чем-то обыденным. Камни таскать, по-моему, лучше всего. Только бы на роковой очереди не стоять.

Самая непостижимая тайна, как может жить человек, зная, что он умрет.

Насколько могу я судить, мама и папа близкой, скорой смерти совсем не боялись, ужаса перед небытием не испытывали. Папа говорил, что боли боится. Мама молчала. Буду ли я бояться, а если да, то чего — боли, безумия или забвения? Не знаю, предположить не могу. Буду ли говорить? С кем? А если будет с кем, то о чем?

Зато хорошо знаю, где меня и рядом с кем похоронят, какой будет памятник и что на турецком мраморе голубоватом напишут. Когда умерла мама, я два места купил. Папе купил. И себе.

Мне важно об этом тебе рассказать.

Об этом — тебе.

Остановись, мгновение, ты ужасно!

Когда воет ветер, словно время в гигантском необозримом пространстве, когда дождь банально барабанит в стекло, лучше всего придумать очаг, пылающий тривиально, обычный глинтвейн, не обжигающий, не слишком сладкий, избитый шелест книжных страниц, романтических, исторических, главное, что-

бы безветренных. Заткнуть щели, замазать, чтобы безвестностью не дуло мучительно, не выдувало тепло нагретой сном безмятежности.

Можно ухватиться за спасательный круг воспоминаний. И, надев его, плавать в бесконечной обширности языка, размышляя о бесплодности творчества, что дело не в том, чтобы научиться ноты брать правильно, но — гениально неверно, о тропе бесконечности, идя по которой, тебя я ищу, а ты — совершенно на меня не похожего. Перед тобой тропа расширяется, передо мною сужается. Ты еще единственный на земле. А я один на земле, радующийся тому, что я есть, не знающий, что такое не быть.

В бесконечном времени и беспредельном пространстве, где есть вещи, которые ты не помнишь, но помню я, там, за бетонным забором и высокими деревьями виднеется здание школы. Огороженное собственным забором, оно вызывает у тебя стойкое отвращение, особенно после Паустовского, удивительно не запретного, рассказавшего о своей гимназической жизни, о гимназических сходках, гимназической чести. Через пару шагов, когда скроется школа, глядеть под ноги надо внимательно: тропу пересекает траншея — узкая, грязная преисподняя, прорытая очень давно. Стенки осыпались, внизу масса мусора, вода стоячая, позеленевшая. Похоже, милостиво положив пару досок случайным прохожим, о траншее забыли. Наверняка не один ночной путник в ней оказался, сваленный алкоголем, а может быть, ветром.

Ты не думал, почему «ветер воет»? Ведь не правда, ветер гудит. Мерно, без остановки, повышая тон и понижая. А для тех, кому уже воет, каждая трещина в почве кажется преисподней. Холм, выдавленный огромным кротом, вздувается, земля, раскрыв пасть, несчастного поглощает.

Остановись, мгновение, ты ужасно!

В разрыв времени, на который заплату некому наложить, врываются покойники с лицами ныне живущих. За ними живущие с лицами мертвых. Тут не только ветер завоет. Мир дрожит, горы рушатся, в бездне исчезают страны и города.

Воет или гудит? Всё-таки воет! Из тайных комнат выскакивают убийцы с кинжалами, кровопийцы, артерию жаждущие прокусить клыком заточенным остро и слегка кривоватым. Страх, ужас, жуть неприкаянная! Мне призраки ни к чему. Тень убитого короля приходить может сколько угодно. Важно, кто ее, манящую за собой, хочет увидеть. Манит чем и куда? Об этом визионеры словами мутными и бесцветными избранным наедине сообщают, их судьбу предвещая.

И верящий одиноким псом, не слишком заласканным, затерявшимся в безводной, оранжево-желтой, невозможной для жизни судьбе, учуяв светлый запах воды, выставив чернеющий безнадежностью нос, вдруг встрепенется и побежит, задыхаясь. Полумертвый, задние лапы подтягивая, он поползет к кромке воды, ощущая влажность последних усилий, раня брюхо о бугристые наросты соли, и, высунув язык, будет до рвоты хлебать соленую воду Мертвого моря.

Раздувшись, он околеет, поднимется ветер, и его волной унесет.

Собачья жизнь. И холод собачий.

И — чушь собачья.

Одним словом, пся крев.

Впрочем, к этому еще раз вернемся. В следующий раз — непременно в веригах.

Жажда жестока, а желание жолто

Бетон рифмуется не только с беконом, но и с бутоном. Только кому нужны стихи с подобными рифмами? С рифмами вообще? Тем более что стихи

никому не нужны. Скоро совсем исчезнут, словно бидоны, рифмующиеся с бутонами. Эмалированный, люто тобой ненавидимый: с ним за молоком посылали. Магазин маленький, очередь длинная. Лето, жара, теснота. Чем пахнет жара? Пылью, сухостью, горечью, предощущением гари. Огромная продавщица, еле помещающаяся за прилавком среди магазинных бидонов: огромных, молочных, и поменьше, тех, для сметаны.

На бетоне — заборная классика, чтение безликих прохожих, в холодное время дрожащих, в жаркое — неимоверно потеющих. Черным — зазорные буквы любви, выстраданным движением — тщательно выписанное представление о соединении душ, отмеченное слабым знанием анатомии.

А может бетонный забор — бутафория, и он фанерный? Миг — занавес упадет, не голубем — зегзицею прилетит, зигзаг молнией вычертит. Прочь рубли, аршины, славянский базар, расстегаи! Множество аршин всесоюзного окаянного почитания Сивка-бурка несет. А ты не умножай коней, царь грозный Иван, а не то заржут на весь мир, когда неприкаянно будут тонуть в океане. Но успокоится океанская смертная рябь: смирных и резвых, скачущих и пасущихся, деревянных, каменных, стеклянных, фарфоровых, металлических — всех вынесет живыми на полки, на потолок, на зыбкую хлябь предсмертного бытия. Спасет, под копыта землю дарует. Тогда и возникнут вопросы.

Куда птица-тройка исчезла? Где похоронен княжеский конь? Розовый конь, где ты сокрылся?

Не вопросы, а междометия знобкие.

Годы спокойно стояли, время от времени пыль с них сметали. А в час, когда умер хозяин, они встрепенулись, прядая ушами, в табуны не сбиваясь, за ним понеслись, перепрыгивая дома, кони взмывали, надеясь найти и с ним покой обрести. Не ржали, в молчании боль затаив, по земле и по облакам копыта не грохотали.

Ты это знаешь, я только помню, иногда неясные движения лошадей в раскаленном воздухе или в тумане белесом утреннем различаю. Но это давно, вдалеке, а чуть ближе по песчаной площадке размером в футбольное поле, словно лысина волосами, окаймленной жухлой травой, идет юноша, окунув голову в интернет, за ним в поводу, понурив голову, лошадь каурая, за ними собачка, масти-породы издали не разборчивой.

Еще дальше те, кого вспоминаю, чье время уже абсолютно. Хорошо бы рифмой это бытие утвердить, только «люто», «салюты» безвольно, как любовь в день немыслимо жаркий. Да и жадную, желтую пустоту стиха нечем заполнить, она ойкает, ухает и зевает, бочкой железной пустой гулко в ушах отдаваясь.

От тропы слева и справа огни, то ли болотные светляки, то ли падшие звезды. Вначале перемещаются вяло, но затем всё быстрей, всё осмысленней. Пчелами вьются, комарами звенят, носятся мухами, всякой нечистью мелко крылатой. Бесполезно отмахиваться, бессмысленно защищаться. Манят, словно сирены, непонятно куда зазывают. Не свет в темноте — обманное свечение непонятное. Летят, рисуя четко, уверенно на черной бумаге тушью светящейся надежду славы, добра, жажду с иной плотью, другим духом слияния.

Светляки или звезды тайные мысли передают, движением неясные образы воплощая. Чужой не поймет. Ты идешь — единство места, времени и движения — образы в мир, безразличный к ним, проецируя. Я твои образы вижу, твои мысли читаю, ты мои нет, ведь не ты за мною, а я едино-с-тобою-сущий за тобою иду, видя нарастание света, густое спокойствие океана, покой деревьев безветренный.

И — вдруг сломилось: вспыхнуло, горами выгнулись волны, загудело протяжно, могуче. Маски благополучия сброшены, заплясали из детских видений калеки, безрукие, безногие и безносые. За ними фаллосы-и-носы понеслись грозно-гнусно-глумливенько. Очочки круглы, рты приоткрыты, устричные раковины зазывающие выпукло вывернуты. Выдернул — проглотил, полетел, забился, в сумасшедшем танце пьяном забылся.

Сжигать мосты страшно и весело! На горящий город с холма взирать — эстетика захлебывающегося воздержания.

Явить мощь, извергнув ее, исчерпав, бежать в темноте, пугливо огнями, мелкой рябью покрыться, опадая листьями, всколыхнуться. Под густые, замешанные на нечистой, не проточной воде шепотки. После этого станет тихо-темно-и-безветренно. Ненадолго. Тявкнет первая, вторая на клич отзовется, поднимется ор, кто-то спустит своры собачьи, и, вывалив красные языки, с которых стекает слюна, понесутся, с ног сбивая, в землю затаптывая, горло прокусывая. Огнем мелькнут, смерчем взовьются, за собой оставляя кровавые лужи, куски человечьего мяса, очки, старомодные, круглые, на прохожих из прошлого, бессмысленно и обреченно глазеющие.

С разбегу — домашние и приблудные, уши торчком, псы, куснувшие человечины, обратившиеся в гиен и шакалов, задние передних из жизни выталкивают — стая слепо сыплется в бездонную бездну. Лапами один за другого цепляясь, выцветая в полете, бесцветными клыками вгрызаются в стену, которой нет, вливаются в сгущающуюся пустоту. Впереди, указывая дорогу, их тени летят, пародируя ужас предсмертный собачий.

След потеряв, летят они молча, словно задохнувшись собственным страхом неминуемой смерти, непременного забытья, когда оставшимся жить в любом пустяке видится смысл и значение, символ и знак исчезающей жизни. Всё, что осталось из собачьей жизни недолгой — полет, утешение тем, кто всю свою жизнь птицам завидовал. Они над бездной кружат, молчащих мучеников криками в небытие провожая, каркая, щебеча и курлыча, на краткие мгновения замолкая — услышать долгое, протяжное эхо молчания мертвых собак.

За ними с парада идут танки, тягачи с пушками и ракетами — многоосные чудища, манкурты с автоматами наперевес в буденовках, по легенде сшитых для парада Победы в Берлине и Константинополе. За ними суворовцы с барабанами и неодолимым желанием совокупления с оружием, с родиной, с командирами. Молча, последний дюйм английского друга советской страны одолевая, в бездну уходят под пьяный гул народа-всегда-победителя, покой которого берегут на земле, в небесах и на море. Не отстает и народ, шумно верность делу свою демонстрирующий, маша флажками, развевая стяги и вздымая знамена, под которыми празднично громко, победно единой бригадой следует в бездну под мудрым руководством им несомых портретов.

А вокруг милосердно, как запах горячего хлеба, идут белые снеги, грехи отпуская, и вдали неутешной мечтой пробивается музыка. Тебе Моцарт-Вивальди, а мне Шёнберг-Шостакович-и-Шнитке.

Не забывай: исполнение мечты есть ее смерть. Может, стоит помедлить? Подумай, пока в небе, распугивая ворон, трещит вертолет, под которым бездна-без-конца-без-начала: бездна дел, бездна премудрости открывается, зияет, манит. Как славно сказано в переводе «Улисса»: бездна разверзает беззвучный зев.

К бездне тропа не ведет, ею тропа обрывается, желанье-дерзанье тропы страхом подбито.

Ты идешь быстро, словно от жуткого суффикса — идолище, побоище, игрище — от жестокой желанной жажды спасаясь. Ты бежишь, словно спасаясь

от воспитанника Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Нет, чтобы медленно, не спеша, продвигаться. Цветок сам, благоухая, пчеле, за медом летящей, навстречу раскроется.

Цветку пчелиное жало желанно.

Или же: жажда жестока, а желание жолто.

Бледной тенью, завидуя, Лилит от нее отлетела

У тебя изводящие бесконечные черновики, у меня их не будет, некогда править: скоро времени больше не будет. Ты в детстве в погреб упал, благо, отец подхватил, мне боязнью высоты всю жизнь страдать, от пролога к эпилогу сквозь непременный туман продвигаясь. Ты другим быть не умеешь, с этим мне ничего не поделать.

Было надтреснуто, тревожно, гестаповато. В грустной моде лишние люди, наблюдающие мгновения маленького человека. Время шуршало мышью, поедающей сыр в мышеловке. Время себя доедало и вместе с собой всех не попадающих в колею, продавленную в распутной грязи, в бесконечной распутице не забываемым святым мужиком, покорившим царицу и ее полковника-мужа-и-самодержца.

Ты тянешься к небу. Я в землю врастаю. У тебя всё чересчур, у меня стушевалось. Тушь рыжеет по краям, выцветая. Февраль, чернила, метельное буйство, осень — желтеющий вдоль тропы Левитан.

Поскольку ни один идущий не знает, где тропа начинается и где завершится, предположить о ее форме можно всё, что угодно: извилистая, сама с собою пересекающаяся, замкнутая сама на себя, начало с концом совпадает. Человек идет по тропе, над нею не возносясь, как ее форму узнает? А если чудо случится и на миг вознесется, вернувшись, всё равно не запомнит.

Ведь память есть нечто отдельное от меня. Не я памятью, память мной управляет. Тот, кого вспоминаю, зовет, и не ответить на призыв не могу. Память справа, беспамятство слева, втроем идем по тропе. Стараюсь забыть — швыряю налево, лелею — прошу справа принять. В таких вещах ты не слишком еще щепетилен. Вот, тоже словечко, из Лондона: щепетить — наряжаться! У языка своя, не всегда понятная память.

Всё о памяти, да о памяти, а ее без забвения не бывает, как зла без добра. Что бы делал я без забвения, как бы тебя сочинял? А сочинив, вырубил из небытия, чтобы, ожив, покинул меня, унося общую тайну. Как с ней поступишь? Вышвырнешь за ненадобностью? Предашь забвению? Не знаешь? Значит, и мне не узнать, и тебя вместе с нею выслеживать, ворошить, теребить, под кваканье за волосы себя тащить из беспамятства, подстегивая ассоциациями, тень на плетень аллюзиями наводить. Хорошо, коль удастся себя успокоить, рассматривая на плетне глиняные сосуды, водруженные для просушки, про себя размышляя: разбей — сколько бы остраконов рассыпалось? Сколько слов на одном? Достало бы для рассказа о тайне, о жизни и о судьбе?

Тропа — двойная сплошная, близкая даль и дальняя память — назад не свернуть. За горизонтом блестящий звон шпор, светлых мечей обнажение, искристое шелестение четок. Вперед, не задерживаясь, только вперед! Прошлое подгоняет, себя из себя изгоняя, серебристые летящие контуры в воздух счастливый бросая, вспорхнувшую бабочку-балерину, вознесенную мощью тонкого танцовщика: лотос над гадкой болотной водой и двойной, совершенно сплошною.

Чуть помедленнее, но — зависит не от тебя — рвутся быстрее, неостановиться-передохнуть: негде, у тропы нет обочины.

Я иду, очищая тебя от случайных людей, от приклеенных взглядов, от въевшихся запахов, я иду равномерно, ты — порывисто, то быстро, то медленно. И неважно: я — за тобой, или за мной идешь ты. Порядок слов в родном языке совершенно свободный.

Идешь, управляем движением, назад не оборачиваясь, не всматриваясь вперед, и странствующий страх стремится тебя обогнать. Зато сам, нагибаясь, слова подбираешь. Против истины погрешу, сказав, что, идя по тропе, только тебя вспоминаю. Иду, людей в понятия превращая, а несуразнейшие отвлеченности — напротив, в людей.

Ты гребешь, выламывая суставы, течение безнадежно сильней — уносит в бесконечность, в которой растворяешься без остатка, до последней пролитой капли. На белом, скатерти или рубахе, она расплывется мутным винным пятном с краями неровными, не отстирать.

Движемся мы во времени: оно в нас и мы в нем протекая. Живые — вокруг тебя, вокруг меня — мертвые, сквозь них мне к тебе пробираться. Ведь мы — едино чужие и чуждо единые. Как у пророка: розно единые существа, идущие в разные стороны вместе: каждый идет в направлении лица своего, куда дух идет — туда и идут, не оборачиваясь, идя.

Не оборачиваясь — в мутное пыльное время, шапка по Сеньке, по эпохе эпитеты, жара по зиме: к батарее не прикоснуться. Белы сугробы огромны. Ветра оглушительно холодны. Солнечно, мёрзло. Шарф от дыхания намокает. Вдохнул-выдохнул на ветру — вмиг ледяной коркой покрылся. Тоскливо в ожидании лета, долгого, почти бесконечного — вплоть до зимы, нескончаемо дотла продувающей. Зима неотвязно, как мир с войной, связана с летом. Цепь следствий-причин не размыкаема, ключа не было и не будет. И я не разомкну: сама, размокнув, рассыплется, и нарисуется в луже мелкий пунктир, робкая рябь отъединенных событий, размытых образов, отрывочных мыслей.

Цепь — это жизнь, пунктир — это память? Одна из черточек — книги, вначале без переплета, со скрепкой. Читаю я мало, читанное тобой перечитываю, вспоминая то, что ты позабыл. Несчастную Жучку, которую храбро Тема спасал. Затем в твердом уже переплете узнаю о горничной Тане, в ванне Тему купавшей, забеременевшей от Артемия Николаевича, восемнадцатилетнего гимназиста, его матерью без ведома паныча из дому удаленной. Благодатный сюжет: не знаменитые руки матери, их — наизусть, а фрейдистские руки служанки, которым до тебя не дотянуться, и ты не спрашиваешь: почему?

А потому, что вы с ней сидели в третьем ряду, у окна, парта вторая от точки отсчета, учительского стола на возвышении — класс обозревать. Ты у окна, она у прохода. Сидит — взгляд на вас, поверх голов — когда поднимается. Парта черная, мы — коричневые: цвет формы, для ношения обязательной. Лица и кисти рук выпростаны в серую, враждебную атмосферу — класса, страны и эпохи. За окном мутно, бесцветно, ты туда смотришь, делая вид, что соседка тебя не волнует. Как получается, ты не знаешь. Кто тебе скажет?

Никто ни о чем не говорит. Ты с ней тем более. После урока не о чем, на уроке — одни междометия, частотность которых растет во время контрольных, главное — быстро всё написать, положив ручку, тетрадь отодвинуть — закончил и проверяю. У нее нежно, округло написана дата, заглавие, остались задачи или же сочинение, и то и другое ей недоступное. Чтобы шепот не был услышан, придвигаешься ближе, рука не нужна — проверяешь.

Ты распадаешься: рот шепотом что-то диктует, глаза за враждебным миром следят, дыхание чаще, время плавится и плывет. Правая рука — это ты,

подбирающийся ближе и ближе, вкрадчиво ткани касаясь. Короткое слово, кротко крадущаяся рука. Диктуется, смотрится двойником, другом-оруженосцем в коричневых латах, от которых отделилась рука, огромно тебя поглотившая и от тебя отделившаяся.

Этого ты не знаешь. Но знаю я: никогда такого бесконечного больше не будет и никогда не забудется.

Золотящиеся на шее, светящиеся на солнце пушинки, в них родинка притаилась. Вся — тонкая, гибкая, ломкая азиатчинка, взгляд немых глаз вниз постоянно, на тебя редко, резко, мгновенно.

Рука, тропу торящая робко, легка, мизинцем коснувшись, охватывает колено. И выше, смелей, до помрачения, набухания, сбоя дыхания. Округло, долго полной раскрытой ладонью. Сильней, и одержимо, пронзительно, музыкой многоцветной взрывается: вулкан на экране выкипает лавой красной подземной, по отрогам горы растекается, белкой-мыслью по древу, беспредельность охватывая.

Держать паузу? Пауза держит тебя!

В ответ — взгляд мгновенный, остро — в тебя. Блеснув, искра исчезла, пропала, потухла раскованная раскосость, непостижная азиатчинка.

И — спустя жизнь: снизу и вверх, удивленно, рифм неисповедимостью: звонить-не-звонить?

Крутится-вертится: нет, не звонить.

Крутится-вертится: нет, позвонить.

Самовластно выгнувшийся натянутый лук, отрицающий всё, что не он, в зияющий звон, в иное измерение уходящий. Левая рука — у Микеланджело сотворенный протягивает ее к сотворившему — не ведая, что творит правая, лежит на черной поверхности. Галатее, о которой не ведаешь, слова ни к чему, да и подходящих ты не находишь, не зная: их нет. О тайне твоей никто никогда, кроме меня, не узнает. Для нее это не тайна. Может, невзначай и припомнит, как бледной тенью, завидуя, Лилит от нее отлетела.

Звонок. Отвернуться, отпрянуть, оттянув пиджак, крышку парты откинув, не пошатнувшись, подняться навстречу усикам на стене между бакенбардами и бородой: Меж тем рука всё далее ползет, Вот круглая коленочка... Ты еще не читал. А усики — над мундиром, под ним обтягивающие панталоны.

Перемена. Узкое лицо, глаза узкие. Какая теперь и жива ль? О чем говорить, если тогда было не о чем? С кем только ты не говорил-болтал-разговаривал, а я помню ее. То ли за партой соседней сижу и, чуть привстав, вижу руку, то ли на учительском возвышении над забавами юных посмеиваюсь.

Может так звучит память

С недавних пор в доме поселился странный, тревожащий, из комнаты в комнату кочующий звук. Тихо, забываешь и вдруг натыкаешься: взбесившийся метроном, сердце, вспомнившее о долге к жизни мертвого возвращать. Что за звук и откуда? Вода в трубах гудит, стекла от низко летящего самолета звенят, дрелью звук вывинчивают из бетона, стучат молотком. Что за звук, зачем меня донимает? Может так звучит память, небытие отводящая? Верил же Бредбери, что новый написанный текст его отдаляет от смерти.

Коридор огромный, много дверей — некогда прабабушкиных пансионеров, ныне соседей. На подоконник в комнате, уцелевшей от уплотнений, ставится патефон, и молодежь дома, старого, основательного, под треск новой, уже заезженной пластинки во дворе покоряет пространство и время. В конце коридора оконце, здесь сумерки, пожирающие ребенка, отводящего от стены велосипед, ловящего ногою педаль. Отталкивается и, набирая скорость,

вперед — больше света, стремительней, ослепительней, неудержимей. Распахнуть окно и взлететь, взмыть, солнечной тропой в небо нестись к падающему аэростату, закрыть собою дыру, починить, перелезть с велосипедом в гондолу к живым стратонавтам. Оркестр, цветы, в Кремле встречает товарищ Сталин и дарит три марки: двадцатикопеечный Федосеенко, десятикопеечный Васенко и пятикопеечный Усыскин, вчера его одного купил, на других не хватило, сегодня наклеить в альбом, а второго Усыскина на обмен.

А в твоем сне ниоткуда паровоз возникает и никуда, когда проснешься, он сгинет. Спишь — мчится назойливо и тягуче, нескончаемо темной мучительной мыслью: умирая, человек не засыпает, а исчезает, и ничего ему даже не снится, земля сама по себе непонятно зачем вертится, словно волчок.

Не гремит, не шипит, красным не пышет, никакого знака, отметины. Ни дороги, ни шпал, лишь надвигается, вот-вот проглотит. Несется паровоз бессмысленно долго. Почему до сих пор ты его видишь? Почему не поглотил? Почему ты еще думаешь, почему еще жив? Почему вдруг солнечный свет вместо желтых скользящих огней? Почему и куда исчез паровоз? Почему ты жив и проснулся? Чтобы приснилось мне? Я иду, широким шагом всех обгоняя, не шагом — легкими прыжками, над бессонницей зависая.

Заболоченная ночь. Прошлое и будущее поправимо, непоправимо лишь настоящее. Ты мне нужен, без тебя меня нет. Как бы ты от меня не бежал, я за тобой, тебе не отдалиться, мне не приблизиться.

Ты должен прийти, ты должен приехать,
подъезжает автобус, ты в нем, люди выходят, ты в нем,
уезжает, значит, ты в следующем, скоро подъедет,
почему-то не едет, ты в нем, выходят, ты в следующем,
поднимешься, позвонишь, едешь, автобуса нет, скоро подъедет, ты в нем,
подъезжает, ты в нем, выходишь, поднимаешься,
шаги на лестнице, звонишь, подъезжаешь.

Когда-нибудь явится точка, возвещая конец бессмыслицы, наступленье порядка. Не точка — пусть знак. Сон — пробуждение, темно — это ночь, день — это светло. Дождь, снег, город и град. Слышит — не слышит. Дышит — не дышит. Дыхание смерти? Глупость, нелепица. Кто сказал? Кто повторил это созвучие, тополиным пухом безвольно летящее, гармонию оскверняя?

Помечтал — получил, пожелал — и добился. Что дальше? Не получать, не добиваться, отказываться? Сила желания не бесконечна. Не получил, не добился — мечта скукожится, желание скиснет. Потому — успех пережить, осуществленное желание превозмочь. Неудачи подстегивают, если не убивают, удачи опустошают. Получается: желать неудач, мечтать о провалах? Мал парадокс, да дорог, ибо скользок и лжив. Научиться обходить парадоксы-ловушки, переступать, перепрыгивать. И пустот не избежать, потому, замкнув слух, глаза затворив, сквозь пустоту проходить, себя в ней не растворяя.

В этом ты и тогда мне и сейчас помощь бесценная, дерзкая мечта и желание терпкое. Ведь память — пунктирный, пульсирующий свет в темной безбрежности.

Темнота грустна и логична. Свет радостен и случаен. Логичной жизнь становится после смерти. А пока — пунктир в пустоте. И — легкость в мыслях желаннейшая.

Легко мыслить. Мыслить. Легко. Мыслить легко.

Попробуем. В отличие от тебя, для меня всё — настоящее. Ни будущего, ни прошлого нет. Какая разница, когда человек похоронен, вчера или тысячу лет

назад? Могилу нельзя ворошить. Со всем сочувствием к их любопытству археологи — осквернители.

Путешественник по эпохам? Изгнанник из времени? Ты меня еще упрекаешь, тем более так банально, будто не ты меня наделил брезгливым изгойством! Твое время тянется и несется, летит и медленно падает каплями с листьев после дождя. Мое? Туманным прошлым из оврага восходит, настоящее от меня отрезая. В зеркале меня с тошной тоской ты разве не видел? А мне тебя ни в каком зеркале не увидеть. Сколько не всматривайся.

Случается, правда, в толпе, рогожинский призрак, но, сбившись в целое, рожи его мгновенно скукожат. А ты тащишь взгляд на себя, ты притягиваешь. Вглядываешься, просишь остановиться, чтобы мыслью со мной поделиться: одному не тащить. Видно, тесная мысль угнездилась, не выгнать: как птицу, высиживающую птенцов.

Ты для меня всегда крупным безжалостным планом, я для тебя — милосердным, расплывчатым, общим, словно во сне, который лишнее от судьбы отсекает, отправляя не нужное на помойку — наследникам меньше забот: у них времени мало, и много надо успеть. Всё равно много чего осталось, вот, на твои вопросы ответить. Поторопись, ничто под луной ведь не вечно. Можем поговорить как друзья, можем как недруги, на всё есть причины: одной нитью, так сказать, путеводной повязаны. Конечно, ты можешь подумать: со мной говорить — что вылавливать из моря луну, только и это бывает полезным.

В конце концов, всё ведь исчезнет, вернется плоть в прах, а дух, к Богу вернувшись, в язык обратится, слова будут не лживы, как те, что умирающий остающимся жить произносит. Миг — у него слов больше не будет, и живущим, чтобы с ним говорить, они не будут нужны: не сущие боле в памяти живы.

Продолжение следует.

Светлана Леонтьева. Очами божьими мы все глядим

Поэт изображает и себя, и мир — и, высказывая свое, тайное, самое затаенное, он заодно живописует и все сущее — всю огромность мира подлунного, со всеми его красотами и безобразием, безумием и мудростью, приметами быстротекущего времени и яркими знаками вечности.

Такова поэзия Светланы Леонтьевой, то стихийно-пламенная, обжигающе-огненная, то затаенно-лиричная; она обращается к драгоценностям памяти — рода, семьи, истории, — цепким взглядом подмечает уникальные детали бытия, слушает свое сердце и дает ему волю — плакать и петь. Основная нота поэтики Светланы — любовь к миру, воспевание необъятного мира, данного нам, явившимся на свет, в подарок, наперекор всякому горю, и здесь и таится ее образный праздник, — тут сплетены воедино пляска и частушка, пейзаж и лубок, дерзость и бережность, клич и философия. И эта стихия захватывает вас, вы идете по проложенной поэтом тропе сквозь времена, толпы людей, и живых и ушедших, и вам открывается другая Россия — быть может, не только та, которую мы потеряли, но которую мы нашли — и которую мы еще найдем.

Елена Крюкова

***

Как раскидисто дерево это! Листва густа!
Не охватишь, не силься, взглядом его не окинешь.
Ой, не здесь ли схоронена Ева, сомкнув уста,
а как были они разверсты светлой любви во имя!
Влажно, маняще, тепло. Думы все прочь, дела!
Змий-искуситель в тени крошечных виноградин.
Если безумен грех и неоглядна мгла,
Близость — это родство, это огромней, чем рядом!
Губы Адама — они рана открытая! А
их поцелуи горят! Вот и сожгли всю душу.
Вместо одежды любовь, вместо еды и питья.
Вместо белого дня, вместо моря и суши!
Даром что ли везде, о, перекатная голь,
в долгих библейских снах, вымотавших населенье,
рай — это прошлый день, это не наша боль,
изгнанным быть — почёт, общее треволненье.
Рёбер Адамовых — их хватит на нас, на всех
девушек, что занялись, женщин и вдов вселенной.
Выбери место: Крит, Волга, Евфрат, Лох-Несс,
выбери Петербург тот, что в снегах по колено!
И за соломинку — хвать. Изгнаны мы с тобой
тысячелетием всем, шёлкопрядением в замять,
если для сильных — земля, горы и синий прибой,
если звезда Гончих Псов нам освещает память.
Там во дворе мужики режутся сплошь в домино,
у Кабаних глаза — что впору идти топиться!
Город не вымер ещё! И Казанова давно
в армии отслужил. Рядом роддом и больница.

Изгнанным — целый миф и в парке аттракцион –
это гудит Колесо — слава царице Фортуне!
Я им родня во всём, я — тоже железобетон.
Райская птица — грач грает, забытый втуне…

***

…О, как возвращаемся мы к старым мамам
побитые жизнью, испитые драмой!
Да, к маме не стыдно с ребёнком в подоле
без денег, без веры сквозь белое поле.
По грязной дороге,
где ямы, ухабы,
где возле болот водянистые жабы.
Расселись, дурёхи, и смотрят в затылок.
Я помню, зачем и куда уходила!
Всё помню — шлепки, и слова, и ушибы,
и детские помню смешные обиды!
И яблоки с яблони сочные, словно
весь сахар вобрали
багрово, фасольно.
Надкусишь, и хруст — будь здоров! — раздаётся,
а в комнате свет скручен, что волоконца.

Я связана с домом не нитью —
канатом,
там ветер норд-вестовый, вещий, лохматый.
Вся фальшь позади — речи, взоры, банкеты.
А руки мои —
прямо в небо воздеты!
Из душного мира в простор возвращаюсь,
калитка,
сельмаг,
возле сада сараи…
Как яблоко — яблоне прямо в колени,
как будто последний я радостный пленник.
Прощайте, Арбаты, Египты и Мальты,
пустынной горячкой больные асфальты.
Чего я хочу и всегда я хотела,
чтоб пело
моё соловьиное тело!
Чтоб селезень дикий в алмазных накрапах
стоял не убитый на розовых лапах!
Грачиной тропинкой, цепляясь за корни,
я шла бы и шла всё быстрей, всё проворней.
Закончен исход! Нет моста за спиною,
лишь ягоды ранка и та — под ногою…

Притча. Оркестровое

Играй, оркестр! Поп-музыку и кантри,
да хоть «Спокойной ночи, малыши!» нам…
Картина «Одалиска» на серванте,
и дирижер усталый и плешивый.

Весь вдоль струны — вдоль мышцы он сердечной.
А нам чего? Мы не были в том месте,
где горы, где разломано крылечко,
где птицы вместо глаз клевали песни.

Оркестр остался там — землёй завален…
А музыка одна — без них вернулась!
Ей невдомёк, оркестру что плевали
в худые спины люди этих улиц.

Без слов, без слёз, без струн, без нежных клавиш
гуляла музыка по Старому Арбату,
искала, где здесь Бах, Брамс Иоганнес,
искала уст, тугих рукопожатий.

Искала трубадуров и танцоров,
жалейку, петушка, пищалку, гусли,
убитого бескрайностью простора,
серебряного, в кнопочках моллюска.

Вот так с войны приходят раз в столетье.
Кто раньше был растоптанным, ненужным,
на фраки променял своё отрепье,
и музыка теперь его оружье.

И было в этой радости такое,
что на века, что навсегда, навечно.
«За родину мы умирали стоя!» —
кричала музыка по-человечьи.

***

Это чара вина — ты испей её, князь Святослав!
Ибо завтра в поход — Византия уже у порога,
расставляет силки. А коль выпьешь, утрись о рукав,
коль осталось до общей победы всего-то немного!
Коль остался поход, кто ж не знает прошедших времён?
Русь благую спасать. Вот с востока напали хазары.
Драгоценная братина наших славянских племён,
не сменяешь её ни на дудки, свирели, кифары.
Музыкальный рожок до сих пор запевает в лугах.
И выходят к тебе, князь, то звери, то птицы, то девы,
ты поверь пастухам, ибо Велес несёт на рогах
охмелённую весть, что враги твои дюжие гневны.
Ты казны не ищи — ибо козни вокруг да тщета.
На Руси же меха, мёд и воск в погребах деревянных.
Середина земли не отъята, в полон не взята,
что с Болгарии спрос на подмостках её окаянных.
На границе твоей, что вплотную к Царьграду взошла,
византийская дань — много золота, ткани и шёлка,
и не зря нынче конь закусил, не к беде ль, удила,
ворохнулась душа через горло, гортани где щёлка.
Что же тело? Ему не страшна ни могила, ни ржа,
возле устья Днепра не пройти на ладьях сквозь пороги,
но одно утешенье, что русский нам дух не сдержать,
душу не отлежать, поскорей унести б только ноги!

Печенеги лихи! Череп князя на чашу пошёл,
оковали его, золотыми гвоздями обшили,
вот и черпает время вино берестовым ковшом,
вот и кони по берегу мечутся в пене и в мыле.
И черёмуха вся в белых, сочных, глубоких слезах,
чуть дыша, соловей распевается — в розанах крылья.
И цветёт моя речь — во емейлах да во адресах
о тебе, Святослав, обрастая то болью, то былью.

***

Что проку осуждать нам прошлый век?
Что проку восклицать: «О, что там было?»
Там зрело яблоко — восторг ли, оберег…
Там зрело яблоко багрово, мёрзло, стыло!
Распад СССР, развал и сленг.
Жизнь без зарплаты. Беспросвет унылый,
звезда-скиталица являлась на ночлег.
Но я всё это словно позабыла.
Лишь помню яблоки на ветке у реки,
тропу замшелую и камень в виде сфинкса.
Но прошлое, как хочешь, нареки,
ему не скажешь: отойди, подвинься!
Безвременье, безнебье, беспрогляд,
бездушие, безвестие, безверье:
оно текло, струилось без преград
в терновый дух, в рябинный сон дочерний.
Купи машину, дом, построй гараж,
читай рекламу, обводи субтитры.
Как ни крути, он был. И он был наш –
прошедший мир, прогрызший биоритмы.
В бесстрашии его мы проросли,
как дерева, что в колыбельке зёрен.
Попробуй отдери, будь так проворен,
с тяжёлых пальцев ты хоть пядь земли!
Там зрело яблоко — всего один аспект,
то самое, из райской дивной кущи,
луна была во всём, везде цветущей,
и на одну семью один комплект
одежд и шапок, обуви, мячей.
Я помню моду варежек и курток.
Из нас — таких — не сделать проституток,
воров в законе, трусов и бичей.
Из нас уж если делать — только нас!
Из криков наших, страсти, крови, пота.
Погиб — восстань. Упал — вставай и — в пляс.
Есть время — до и после есть — Потопа.
Фата-Моргана и Фатали-хан,
кольцо Эльбруса, память Арарата,
есть Апокалипсис, Конь Блед, и есть уран –
вот это навсегда и без возврата.
Целуй! Целуй и плачь, тень циферблата!
Я назову и адрес и пароль,
емейл вишневый Яблочного Спаса:

надкусишь яблоко — и в сердце вскрикнет боль
полынного, медового окраса!

Песнь о колеснице

Мы — птицы все! И я, и ты, и ты…
У нас повадки нежно-луговые.
Родная даль! У края, у черты
остановись! Все мы ещё живые!

Котомки, рюкзаки тугие — с плеч,
целуя деток в пряные затылки,
ещё нас можно как-то уберечь
у поворота, точки, у развилки.

Хотя бы этот луг, поля, леса,
хотя бы что-то, память, время, лица!
Не сберeглись: Парнас, Эллада вся,
как в мифе о горящей колеснице!

О, сколько войн! Куда ни глянь — война!
Одна закончилась, за ней спешит другая.
И мчится колесница издавна,
и воздух жжёт, и небеса кромсает!

В груди сжимается, давясь слезами и
горячей кровью, мысли, как зарницы…
Родная даль, мы все, мы все твои!
Умерь ты похоть этой колесницы!

Её алчбу, желанья, хвастовство,
её огонь, сжигающий, что свято.
Пришла из мифа — пусть уйдёт в него
беззвучно, шестикрыло, безвозвратно!

И нет её! И книжицу прикрой
на самом интересном, рьяном месте!
…Кипит Евфрат, Алтей, а за горой
наполнен мир духовнейшею вестью!

Очами божьими мы словно все глядим,
тогда мы — птицы, в миг, коль сердце бьётся,
во всех приметах чудится сквозь дым,
что Фаэтон исчез. Осталось — солнце!

Ирина Власова. Турция

Зовут меня Ирина Власова. Родилась в Сибири, живу в Бельгии. По образованию промышленный дизайнер. Член Союза художников.
Писать начала так.
В четвертом классе пришла новая учительница литературы, Муза Константиновна. Она что-то во мне разглядела и сказала:
— Ты должна писать. У тебя дар.
Мне было десять лет, и я собиралась стать то моряком, то актрисой. Слова учительницы мне польстили, и я честно попыталась что-то написать. Оказалось, что сказать мне нечего.
Прошло двадцать с лишним лет. Многое случилось. Иногда, в несуетные моменты, всплывал и требовал внимания непогашенный должок. Когда накопилось достаточно невысказанного, я написала первый рассказ. С тех пор редко, но пишу. Не могу подвести учительницу — она меня любила.

Жизнь может удивительно перетекать в литературу. Непредсказуемо.

А еще изумительнее, когда литература вдруг, на наших глазах, становится жизнью.

Что есть впечатление? Из них и соткана наша память.

Мы настолько "делаемся" нашим искусством, насколько мы его любим — и одновременно любим жизнь.

Если человек художник — а Ирина Власова художник — он всегда подметит в жизни самые острые моменты, самые уникальные ситуации.

Но и в обыденности, в обычности художник увидит необычность и драгоценность.

Откройте для себя новое имя — Ирина Власова.

Из примет жизни Ирина складывает мозаику жизни, и наблюдать, рассматривать ее, бродить по ней, переживать вместе с ее героями, проживать их жизни — чистое, беспримесное счастье.

Елена Крюкова

Накануне своего тридцатилетия педагог начальных классов Елена Александровна впала в депрессию. Днем спасала рабочая рутина, вечерами — неиссякаемый поток маминого сознания. Елена Александровна уставала так, что думать о своем уже не могла и едва доползала до постели. Во сне было все то же: рабочая рутина и мамина болтовня, но под утро вламывалось ледяное число «тридцать» и начинало угловато ворочаться где-то под ложечкой. Елена Александровна холодела и пыталась отпереться:

— Нет-нет! Мне не может быть тридцать лет! Посмотрите, вот же я, гуляю во дворе в новых туфельках, — она показывала на свои ноги в комариных укусах и голубых сандалиях из «Детского мира», на пыльную улицу в одуванчиках, на малину в бабушкином палисаднике.

Ледяная тридцатка таяла и растекалась по телу мертвой водой. Елена Александровна садилась в постели: «Господи! Неужели это я! Господи! Неужели это жизнь!»

— Чего вскочила? — отзывалась из своего угла чутко спящая мама, шарила в темноте по тумбочке. — Пятый час! Спи давай.

Утром надо было на работу и надо было хорошо выглядеть. Елена Александровна переворачивала подушку и пыталась заснуть. Сон не шел. В голову лезли мысли, от которых хотелось то ли свернуться под одеялом в тугой слепо-глухо-немой клубок, то ли, наоборот, развернуться и разгромить их с матерью крошечную квартирку с вечно занавешенными окнами (первый этаж).

Однажды за завтраком мама сказала:

— Леночка, так больше не может продолжаться. Твоя работа тебя доконает. Ты ужасно выглядишь и ужасно себя ведешь. Стала нервная, кричишь. Тебе нужен отдых.

— Да? Отдых? — Елена Александровна шарахнула по столу чашкой, горячий чай выплеснулся на руку. — Блядь! Мама! У меня — конец учебного года! А потом ремонт в нашем поганом классе! А потом — в нашей поганой квартире!

— Леночка! Это еще что такое? С каких пор ты стала ругаться матом?

— Мамочка! Мне скоро четвертый десяток пойдет! Могу я, наконец, делать то, что мне хочется!!?

— Леночка, ну что ты… Я, знаешь, что подумала… Давай-ка отложим ремонт, а на эти деньги тебя в Турцию отправим.

— В Турцию? — от неожиданности Елена Александровна перестала рыдать.

— В Турцию. У Ольги Витальевны Мариночка в прошлом году ездила, в таком восторге вернулась! Такие фотографии привезла! Нынче опять поедет. Говорит, что теперь только в Турции будет отдыхать.

— Мама, у меня даже купальника нет! Я с четвертого класса моря не видела. Господи… Я бы поехала… Я хочу… А как же ремонт? Десять лет ведь уже собираемся…

— Жили же как-то без ремонта и еще проживем.

Купили путевку. Елена Александровна взяла у коллеги стопку журналов «Бурда» и вечерами шила наряды. У матери еще с молодости имелись запасы ацетатного шелка и набивного хлопка — голубого, фисташкового, желтого в мелкий цветочек, и был отрез блестящего трикотажа в алых розах — отец когда-то привез из Венгрии. Из трикотажа мать лет тридцать собиралась заказать себе блузку, да так и не собралась.

— На вот, сшей себе нарядную кофточку. Бери-бери. Мне уже не по возрасту, а тебе — в самый раз. И желтый шелк бери. Мне так и не пригодился. Смотри, как тебе хорошо. Отличный сарафан выйдет.

За шитьем Елена Александровна помолодела и ожила. И число «тридцать» уже не так ее пугало.

Лето выдалось холодное и сырое. Примерять обновки было зябко — приходилось вылезать из байкового халата и теплых рейтуз.

— Леночка, какая же ты красивая, какая у тебя фигура, как это все тебе идет! — восхищалась мама.

В аэропорт Елена Александровна поехала в пальто и сапогах. Мама проводила ее до автобуса, на остановке вдруг заплакала:

— Ленка, ты уж там отдохни, как следует! Наплюй на всех и оторвись на полную катушку!

Рейс два раза откладывали. Наконец, объявили посадку. Нахохленная толпа потянулась к выходу. Дождь и ветер на поле были такие, что Елена Александровна почти ослепла и оглохла. У трапа мокрая и злая стюардесса под вывернутым зонтом проверяла посадочные талоны. В самолете Елена Александровна согрелась и уснула. Когда проснулась, все вокруг уже переоделись в летнее, нарядное. Елена Александровна затолкала пальто и свитер в полиэтиленовый пакет и осталась в джинсах, блузке и сапогах. Туфли и босоножки были в багаже.

Прилетели поздним вечером.

— Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Анталия. Температура воздуха — двадцать девять градусов тепла.

Ее никто не встречал. Елена Александровна растерялась. Вышла из здания аэропорта, огляделась, вернулась обратно. Вокруг веселые люди легко катили разноцветные чемоданы. У Елены Александровны была огромная спортивная сумка, оттягивающая плечо, и два больших пакета — с едой и одеждой. В сапогах было жарко и неловко. Подступала паника.

— Привет! Я вижу, вы с нашего рейса. Вас тоже не дождались? Вам куда? — перед ней стояла высокая девушка в черной футболке.

— Мне в Аланию, в отель «Марина Бич Роял».

— О! Так и мне туда же. Стойте тут, никуда не уходите. Я сейчас еще наших поищу, кого не встретили. Может, еще кто-то есть, кому в Аланию. Возьмем такси на всех, дешевле обойдется.

— Такси дорого, наверное. Наверное, автобусом можно добраться.

— Можно и автобусом. Только завтра. Да вы не переживайте, стрясете потом деньги за трансфер с вашего турагентства, да и все.

Завтрак Елена Александровна проспала. Разбудила ее горничная.

— Ох, сорри!

— Ничего, ничего, олл гуд, олл гуд!

Горничная брякнула ведром, выскользнула из номера и покатила свою тележку дальше по коридору.

В комнате было душно, сладко пахло освежителем воздуха. Узкое окошко под потолком не открывалось. Елена Александровна потыкала в кнопки кондиционера, он включился. Распаковала сумку, развесила наряды по плечикам в стенном шкафу. Надела купальник и покрутилась перед большим зеркалом — отражение ей понравилось. «Вчера еще немного похудела. Резинка уже почти не врезается. Килограмма три осталось сбросить, и будет, как в универе».

Елена Александровна съела размякший бутерброд с сыром и отправилась искать море.

В фойе замешкалась, раздумывая, надо ли сдавать ключ от номера. Решила не сдавать, шмыгнула мимо портье, сосредоточенно глядя в пол.

У входа в отель щедро цвели желтые розы, вдоль стены змеились гибкие кусты с густо-розовыми цветами, будто сделанными из креповой бумаги, вдоль дорожки росли олеандры и гибискусы.

«Господи, как красиво! Господи, неужели все это наяву! Неужели это я, Лена Ермолаева, иду сейчас по этой улице к морю!»

Елена Александровна вспомнила про маму, и ей стало стыдно. «А мама там, в квартире без ремонта. Вот бы и ее сюда!»

Пляж делился на две части: цивилизованную, с лежаками, душем и баром, и дикую. Елена Александровна не знала, надо ли платить за лежак, поэтому расстелила свое полотенце в дикой части пляжа.

К ней тут же подсел ошпаренно-красный субтильный мужичок в голубых плавках с якорьком и клочьях облезающей шкуры.

— Первый день? Беленькая такая! Из «Глории» или из «Апельсина»? Не хочешь разговаривать? Гордая, типа?

Елена Александровна встала и пошла к морю. Мужичок потащился следом.

— Пойдем вечером на дискотеку? Я плачу! Потанцуем, то, се… Че молчишь? Глухонемая?

— Извините, я сюда не за этим приехала.

— А че? Типа, не такая?

— Не такая.

— Типа, свои не годятся, турка надо?

— Отвалил от нее, быстро! Отвалил, я сказала, а то полицию позову, — возникла откуда-то из-за спины вчерашняя высокая девушка.

Мужичок невнятно вякнул и слинял.

— А вы почему тут? Вон же наш пляж — с синими зонтиками. Идите туда. Тут не убирают, окурки кругом.

— А скажите, платно там? — спросила Елена Александровна, страшно смущаясь.

— Браслет покажете, если спросят, и все, — девушка как будто бы и не заметила ее смущения.

***

Танька Чебакова бросила университет на третьем курсе, объявив всем, что с иностранными языками, как с будущей профессией, завязывает и отныне будет писать картины и играть на флейте в группе «Кафки Пушкина». Все знали, что она уходит из-за неудачного романа с красивым проректором, который не только не развелся с женой, но и позволил той публично таскать Таньку за волосы по всему просторному университетскому фойе.

Удачливая Танька впервые в жизни потерпела поражение, да еще такое позорное. Прежде все ее любили и все ей прощали. Четыре дня просидела Танька в своей комнате, никого к себе не пуская и не отвечая на звонки. На пятый разбудила домашних в шестом часу утра — двигала мебель.

Встревоженная мать поскреблась в дверь:

— Танечка, с тобой все в порядке? Можно, я войду?

Танька, румяная и спокойная, как удав, толкала вдоль стены пустой платяной шкаф. Содержимое шкафа валялось на полу.

— Танечка, ну что ж ты на пол-то все сбросила! Давай, я хоть на кровать положу… Дорогие вещи, брендовые.

— Мамуль, мне это больше не нужно. Хочешь, забирай себе или отдай кому-нибудь.

— Танечка, тогда я пока уберу к нам в комнату, а ты, как передумаешь, возьмешь обратно.

— Убирай, куда хочешь. Не уберешь, я на помойку отнесу. Я сейчас все лишнее выкину, очищу комнату.

— Погоди, не выкидывай. Тут вот все сложи, я приду, заберу потом.

— Мамуль, кофе мне сделай, пожалуйста. Со сливками. И пожрать чего-нибудь — очень жрать хочется.

Танька, до сих пор склонностью к порядку не отличавшаяся, выдраила свою комнату до зеркального блеска. Сорвала обои под шелк и кружевные

занавески, покрыла стены белой водоэмульсионкой, повесила скучные офисные жалюзи.

Коротко постриглась и перекрасилась в шатенку.

Приходили друзья брата-восьмиклассника, таращились на Таньку, тянули разочарованно:

— Ну, ни фига себе… Что она с собой сделала. Такая крутая чика была…

Спустя месяц Танька ушла жить к барабанщику Лёпе — в гнилую общагу, в комнату с треснувшей стеной и плесенью на потолке.

Домой вернулась через полгода — бритая наголо, худая, востроносая. Три дня непрерывно ела — как солдат, пришедший из армии. Нарисовала на потолке звездное небо. Подрастила волосы, выкрасила в синий. Научилась делать стойку на голове.

У друзей познакомилась с художником Лившицем, переехала к нему в мастерскую. За три месяца написала двадцать картин. Открыла выставку в галерее «Зеленая лиса». Выставка провалилась, приятели Лившица обидно ржали над работами. «Хорошо же», — подумала Танька и стала брать уроки академического рисунка. Денег не хватало, у родителей просить не хотела и начала подрабатывать натурщицей. Лившиц не одобрил. Терпел три месяца, а потом побил и выгнал. Танька ушла в соседнюю мастерскую — к Тимофееву. Через неделю впервые в жизни напилась и сломала хлипкому Лившицу челюсть. Немного оправившись, Лившиц, еще больше похудевший на жидкой пище и похожий на голодного грифа, вызвал Таньку в коридор. Не разжимая стянутых резинками зубов, сделал ей предложение. От неожиданности Танька его приняла.

С Лившицем они прожили два года. За это время Танька научилась разбираться в современной литературе и мастерить театральную бутафорию. Устроилась оформителем в полулюбительский театр, почти сразу начала выходить на сцену — в театре играли все — от осветителя до главного режиссера. Режиссер Танькину игру оценил и дал заметную роль. Лившиц заревновал, хотел было снова побить Таньку, но столкнулся с угрозой получить в нос трубой от пылесоса и отступил. Танька собрала манатки и ушла жить в гримерку.

Продержалась до зимы. Зимой в театре отключили за неуплату свет и отопление, и коллектив самораспустился до лучших времен. Таньке пришлось вернуться к родителям. Те обрадовались. Купили Таньке шубу, дали денег на хорошего стоматолога. Настойчиво уговаривали восстановиться в университете. Танька отъелась и отоспалась, избавилась от впалых землистых щек и куриных лап в шершавой коже. Впервые за три года выщипала брови и сделала маникюр. Заскучала и неожиданно для всех выскочила замуж за отцовского друга дядю Лелика — бывшего ученого, а ныне известного в городе предпринимателя.

С Леликом Танька была почти счастлива. Он много времени проводил в командировках, и, чтобы молодая жена не скучала, несколько раз в год отправлял ее на заграничные курорты в компании своей старшей дочери. Дочь так активно отдыхала, что Танька видела ее только в дни прилета и отлета. Танька в одиночку обшаривала тропические острова и наматывала километры вдоль океанских пляжей. Домой возвращалась загорелая и умиротворенная.

Занялась йогой, выучилась танцевать фламенко, засела за итальянский и довольно быстро на нем заговорила, снова начала писать картины. И прозевала бурное развитие Леликова романа с парикмахершей. Очень удивилась, когда в один прекрасный день Лелик отвез ее с вещами обратно к родителям. Переживать не стала. Сразу после развода все воспоминания о Лелике

схлопнулись для нее в одно — как он, стоя у зеркала и растянув рот в длинное «о», подстригает волосы в носу.

Устроилась в бюро переводов и нашла удаленную халтуру — на студии, озвучивающей иностранные сериалы. Сняла комнату у пожилой учительницы. Учительница оказалась веселой и компанейской, Танькиных друзей угощала пирожками с капустой. Жизнь пошла спокойная и неожиданно интересная. Танька радовалась каждому новому дню.

В свободное время Танька писала красные поля с зелеными козами и оранжевые реки с синими рыбами и лиловыми водолазами. Долго боялась выставляться, потом решилась — показала две работы на коллективной выставке. Одну из работ купили. Танька возликовала и отоварилась в худсалоне голландскими красками и итальянскими холстами.

У родителей появлялась редко, особенно с тех пор, как мать попросила ее не приходить на день рождения отца.

— Танечка, там будет Лелик со своей куклой пергидролевой. Ты пойми, папа не может его не пригласить. Ты, Танечка, приходи лучше в субботу к обеду — папа будет дома, мы посидим по-семейному…

В двадцать восемь лет Танька впервые влюбилась. Он был немец, приехал налаживать какое-то оборудование. Ее наняли переводить. Танькин немецкий был хуже английского, но она взялась. В течение года немец приезжал четырежды. Танька тут же перебиралась к нему в казенную квартиру, и все у них было отлично. Он в буквальном смысле носил Таньку на руках и каждый день объяснялся ей в любви. Она подтянула немецкий и задумалась о переезде в Германию. Потом немец куда-то пропал, три недели не отвечал на письма, и вместо него на запуск новой линии прислали другого человека. Поселили в той же казенной квартире. Новый немец передал Таньке привет и коробку конфет с эмблемой супермаркета и сказал, что господин Леманн не смог приехать, потому что отправился с семьей на каникулы в Таиланд.

— Но зато я в вашем полном распоряжении. Приглашаю вас сегодня к себе в апартаменты, закажем вашу любимую пиццу, я оплачу.

— Наплюй, дорогая, — утешала Таньку квартирная хозяйка. — Ну, хочешь, мы нажалуемся, куда следует, что твой фриц оскорблял государственные символы и проводил фотосъемку Военного городка. И его сюда больше никогда не пустят, а может, и с работы выгонят.

— А давайте сообщим, что он пытался завербовать старушек на лавочке и требовал у соседей млеко и яйки, — сквозь слезы смеялась Танька.

В общем, к своему тридцатилетию Танька подошла без диплома, семьи, собственного угла и с неопределенными планами на жизнь. Впрочем, она по этому поводу не слишком печалилась. День рождения решила отметить подальше от родителей — чтобы не устраивали ради нее тягостную для всех вечеринку.

После развода с Леликом Танька завела традицию — проводить первые недели октября в Турции. Хотелось увидеть море и продлить лето. На Индию ей не хватало, в Египте было скучно, а вот Турция была в самый раз — недорого, тепло и интересно. В этом году Танька забронировала отель на начало августа — чтобы перекантоваться подальше от дома неделю до и неделю после дня рождения.

Накануне отпуска подкинули ей авральную работу. Танька просидела над ней почти месяц, не отходя от компьютера по 16 часов в сутки, закончила

перед самым вылетом и теперь намеревалась отоспаться и проветрить мозги. Хотелось пассивного отдыха без неожиданностей и авантюр.

До места назначения добиралась с приключениями, но к мелким путевым неурядицам Танька была привычная и пережила их без всякого стресса.

Заселившись в номер, повесила на дверь табличку «Не беспокоить» и рухнула в постель.

Собиралась проспать до обеда, но проснулась неожиданно рано. В ресторане под балконом дрались коты, и кто-то монотонно выговаривал им по-турецки. Танька прислушалась и засмеялась. «Дядя Сёма!» Так русские туристы называли пожилого повара. Танька останавливалась в отеле не в первый раз и персонал знала хорошо.

Вместо завтрака отправилась на пляж — любила утреннее солнце и утреннее море. Ночью штормило, волны добегали до самого парапета, и все было усеяно ракушками, еще не затоптанными отдыхающими. Танька бросила на лежак белое гостиничное полотенце и учебник испанского и занялась собирательством.

Нашла несколько крупных белых витых раковин, бурый вонючий рапан, обкатанное морем белесовато-синее стекло с рельефной буквой «N» и сломанную серебряную серьгу.

Хорошо прогрелась на солнце и пошла купаться. Холодное море обожгло горячую кожу. Танька тихо взвизгнула, засмеялась и, поджавшись, вошла по пояс. Задержала дыхание, мягко легла на воду и поплыла. Море обволокло и подхватило, вода оказалась не такой уж и холодной. Отплыв подальше, Танька перевернулась на спину. Подумала: «Вот бы каждый день так… Как бы это украсило жизнь!»

Когда вернулась на пляж, там уже появились первые отдыхающие. Плюхнулась на лежак. Рядом тут же пристроился суетливый дрищ с блестящей багровой лысиной.

— Как водичка?

— Хорошая.

— Намазать тебя кремом от загара? А то быстро сгоришь, беленькая такая.

— Спасибо, не надо.

— А то давай. Я тебе еще и массажик сделаю. Любишь массажик?

— Исчезни.

— Что, не нравлюсь?

— Нравишься. На гуся похож. А трусы точь-в-точь, как у моего дедушки на довоенных фотографиях. В антикварном покупал или по наследству достались? А шкура чего облазит? Массажик себе делал? А чего борзый такой? Жена на неделю с поводка спустила?

Дрищ молча подхватился и большими шагами умчался прочь.

Танька открыла учебник испанского. Заниматься совершенно не хотелось. Она заставила себя прочитать пару страниц, потом нацепила темные очки и стала разглядывать загорающих. Ее внимание привлекла сутуловатая женщина в желтом сарафане с кривым подолом и шляпе с волнистыми полями. Эта женщина, зигзагами передвигающаяся по пляжу, была ей знакома. «Вчерашняя тетка из аэропорта, — вспомнила Танька, — забавная, крадется куда-то».

Солнце припекало все сильнее. Танька решила, что пора где-нибудь перекусить, а потом вернуться в отель и поспать часика три. Напоследок она еще раз искупалась. Выходила из моря, одергивая купальник, ероша пятерней мокрые волосы, когда опять увидела вчерашнюю знакомую. Та стояла

по колено в воде — растерянная, в густо-розовых пятнах — и пыталась отбиться от давешнего назойливого дрища. Танька вступилась, прогнала дрища и пошла к пляжному душу. Спасенная подхватила свои манатки и засеменила следом.

***

— Ну, и вот, он мне начал говорить: «Ты для меня слишком сложная, будь проще, мне нужна земная женщина».

Они шли в супермаркет за водой и растворимым кофе. У Елены Александровны были с собой кипятильник с переходником и мешочек с пакетиками чая «Беседа», но ей вдруг захотелось угостить Таню кофе.

— Кто-кто начал говорить? Извини, когда мы улицу переходили, я не все расслышала.

— Да мой бывший, кто еще-то. Все пытался меня переделать. А я взяла и ушла!

— Бывший муж?

Замужем Елена Александровна никогда не была. И роман у нее был всего один — на четвертом курсе — недолгий и в обратной перспективе очень несчастливый. Любовник ее, аспирант Витя, оказался мелочным и непорядочным человеком. Слово «любовник» Елена Александровна произнести не смогла и ответила:

— Угу. Муж.

И подумала: «А что? Во-первых, и правда муж, только гражданский. А во-вторых, все равно ведь Таня не узнает, как на самом деле было».

А на самом деле все было до неприличия глупо и пошло.

Вначале Елена Александровна Витю, вроде, и не любила. Просто, он был единственный, кто обратил на нее внимание. У однокурсниц давно завелись ухажеры или даже мужья, а с ними — новые, совершенно не знакомые Лене, интересы и хлопоты. А ей даже на дискотеку не с кем стало ходить. Закадычная подружка Катя влюбилась, готовилась к свадьбе, и девичья дружба отошла для нее на третий план. Лена и ревновала, и завидовала, и тосковала. Всюду она теперь появлялась одна или с мамой.

С Витей Лена познакомилась в университетской столовой — он опрокинул свекольный салат на ее новую юбку. Потеря для Лены была огромная и в текущем квартале невосполнимая. На юбку она копила четыре месяца и в тот день надела ее в первый раз, по случаю наступающего нового года — светло-бежевую юбку «Кельвин Кляйн» за две тысячи рублей. Лена смотрела на свекольное пятно на подоле, и обильные слезы катились из ее глаз. Жаль было необычного самоощущения, которое принесла дорогая модная вещь, жаль было всех связанных с обновкой надежд.

Растерянный Витя долго извинялся и обещал вывести пятно. Лена мотала головой:

— Это свекла! Она не отстирывается!

— Девушка, вы не расстраивайтесь, я же химик, я уж как-нибудь справлюсь!

Вечером того же дня Витя явился к ним за юбкой.

Пятно Витя превратил из бордового в темно-коричневое с рыжими разводами и дырой посередине. Мама сделала на месте пятна аппликацию в виде здоровенной розы из кожзаменителя, но юбку все равно пришлось перевести из выходных в домашние.

А Витя стал захаживать на чай.

— А что, — говорила мама, — он даже ничего. Ростом только не вышел, но на лицо симпатичный. Вот никогда не нравились мне мужчины с курносыми носами, а этот ничего, не страшный. И не какой-то там слесарь, а аспирант, интеллигентный человек.

«Вот именно, — думала Лена, — приличный человек, а не механик, как у Катьки».

Ей нравилось, что Витя ждет после занятий в фойе учебного корпуса, нравилось, что он подает тяжелое пальто и аккуратно помогает непривычным Лениным рукам попасть в рукава. Витино присутствие в ее жизни равняло Лену с остальными. «Наконец-то и ты у меня пристроена», — говорила мама. Когда Лена с Витей под ручку выходили из университета, курящие на крыльце однокурсники с интересом смотрели им вслед. «Вот то-то же, — усмехалась про себя Лена, — оглядывайтесь теперь…»

У них быстро завелись общие привычки, традиции и ритуалы. Витя обладал хорошими организаторскими способностями и ценил во всем порядок и регулярность. Он отучил Лену грызть ногти и положительно повлиял на ее успеваемость. Показал маме, как готовить в духовке шашлык из куриных крыльев, и это стало воскресным семейным обычаем. Облагородил убогий интерьер квартиры — отремонтировал и покрасил ветхие кухонные шкафы и постелил в прихожей синий, бьющийся током ковролин.

А потом откуда-то всплыла Витина бывшая, и он, поколебавшись неделю, метнулся к ней.

Лена сначала так обиделась, что ничего о Вите слышать не хотела, при упоминании его имени начинала ругаться последними словами и просила общих знакомых передать ему эти слова при первой же возможности.

Она почти не сомневалась, что Витя вернется. Поверить не могла, что может быть иначе. У них все было слишком хорошо, чтобы закончиться вот так — непредвиденно и стремительно.

Но Витя пропал и не подавал о себе никаких вестей. Неделю, другую, третью…

С его уходом рухнули все Ленины планы на будущее. В настоящем ничего не хотелось и ни о чем не думалось, сосредоточиться получалось на единственной мысли — как бы вернуть все, как было до Витиного ухода. Или, на худой конец, как оно было до его появления.

Она не выдержала и пошла в Витину общагу. Там сообщили, что Витя съехал еще в прошлую субботу и живет теперь со своей невестой на съемной квартире, адрес которой держит в строжайшем секрете.

Лена, у которой от горя обострилась интуиция и проснулся недюжинный талант ищейки, почти сразу же вычислила Витин новый адрес и телефон. Звонила по ночам и молчала. Когда стало совсем невыносимо, подкараулила Витю у подъезда. Он увидел, позеленел, схватил под локоть и потащил прочь.

Забормотал:

— Лена! Это была ошибка, прости. Я люблю другую и всегда любил. Я думал, что она ушла совсем, хотел начать новую жизнь — с тобой, Лена. А она вернулась. Ты не стой тут, иди домой. Деньги я отдам, не волнуйся. У меня сейчас нет, но я отдам. Хочешь, я расписку напишу?

Лена смотрела на Витины уши — они у него были бледные и какие-то мягкие.

— Витя, а если она тебя опять бросит? Витя, ведь если она от тебя раз ушла, то и другой уйдет. И что, ты опять ее простишь и примешь? Витя, ты потом всю жизнь жалеть будешь. Ты же сам говорил… Ты говорил, что я…

Вот она тебя бросит, и ты сам ко мне придешь. Вот увидишь, придешь. И, ты знай, я тебя приму.

— Пойдем, пойдем. Вот твой трамвай…

— Витя! Я тебя люблю! Я без тебя не могу!

Люди в трамвае смотрели на нее с равнодушным любопытством.

Дома мама разгадывала кроссворд.

— Какие деньги, мама? Он говорит про деньги! Ты дала ему деньги?

Мама испугалась, растерялась и стала оправдываться:

— Да, он занимал у меня. У меня было отложено, я скопила немного, думала, вам на свадьбу. Два раза занимал. Первый раз отдал почти все, потом занял еще и сказал, что отдаст, когда получит деньги за курсовые. Я же считала, что вы… Я же его членом семьи считала! Леночка! Ты думаешь, он не отдаст?

— Почему ты мне не сказала?

— Я думала, ты знаешь.

Неделю Лена бродила вокруг нового Витиного дома. Своим привычкам Витя не изменял — каждый вечер в половине седьмого выводил подружку погулять — они прохаживались по скверу возле ДК, потом шли вдоль длинного заводского забора в супермаркет.

— Мама, она такая страшная! У нее нос, как у Михаила Пуговкина!

— Леночка, ты же видела, к кому ушел наш папа. Мужчины иногда сами не понимают, что творят. Женщины легкого поведения привязывают их к себе своим… легким поведением. Они позволяют им все!

В субботу Витя должен был повести невесту в кино на сеанс 19.30 — как прежде водил Лену. Так оно и вышло — без десяти семь парочка вышла из подъезда и направилась к трамвайной остановке. Лена покинула укрытие и бросилась наперерез.

— Ну, привет! Привет, Витенька! И вам привет, девушка.

Остолбенелый Витя только моргал.

— Витенька, ты свою подружку на какие денежки в кино водишь? Ты на чьи денежки квартиру снимаешь? А? — Лена вошла в раж и завизжала, срывая голос: — Девушка, а вы знаете, с кем живете? Это — альфонс! Он у нас полгода жрал и почти что жил! А потом взял наши денежки и слинял! А эти деньги мама на нашу свадьбу откладывала!

Витя изо всех сил толкнул Лену в плечо. Та удержала равновесие, уцепившись за дерево.

— Девушка, а вы знаете, что еще четвертого числа прошлого месяца он спал со мной? Он со мной с февраля жил! Как муж с женой! Мы с ним каждую субботу в 19.30 в кино ходили! Он вам по воскресеньям куриные крылья не жарит? У него с вами секс не по пятницам, случайно? А у него с вами секс тоже пять минут длится?

Витина невеста сняла туфлю и начала бить Лену по щекам. Туфля была грязная, в мокром колючем песке. Витя попытался взять невесту под руку и оттащить, и она переключилась на него — молча, часто и громко сопя, била туфлей. Лена села в грязь и зарыдала. Слезы щипали исцарапанное лицо.

С тех пор двадцать девятого числа каждого месяца Витя демонстративно подходил к ней в университете, протягивал пятьсот рублей и требовал расписку в получении. Невеста от него сначала ушла, но тут же и вернулась, потому что оказалась беременной. Вскоре они зарегистрировали брак.

— Ну вот, я и говорю, мужчины всегда ищут для жизни женщин попроще. Это, можно сказать, инстинкт. Но любят они совсем других. Они любят тех,

кого понять не могут. С такими жить трудно, но и без них тоже жизнь — не жизнь.

Таня неопределенно хмыкнула. Елена Александровна такой реакцией не удовлетворилась и принялась развивать свою мысль дальше.

— Вот мой отец… Он хороший, но довольно-таки примитивный. Ему с мамой трудно было, и он ушел к Людке. Людка была глупая и жадная, и он ушел к Раисе Фаниловне. Раиса Фаниловна ничего так, в принципе, но дура-дурой. И вот он с ней живет теперь. Но как выпьет, так маме звонит. Говорит, что ее одну любил. И так всегда — непростых женщин потом всю жизнь вспоминают и всех остальных с ними сравнивают. И не в пользу остальных! Как там у Цветаевой? «Как живется вам с другою… Э-э… С простою, без божеств… С пошлиной бессмертной пошлости как справляетесь, бедняк?»

— Да ладно, Лен. Пожелай уж своему бывшему счастья. Пусть живет.

— Пусть живет, — согласилась Елена Александровна. — Пусть теперь живет, как знает.

— Только что развелись?

Елена Александровна рассталась с Витей девять лет назад и не видела его лет восемь. Ей почему-то неловко было признаться, что она так давно и так беспросветно одинока.

— Не только что, но сравнительно недавно. Он теперь, наверное, узнал, что я в Турцию поехала, и бесится, — неожиданно для себя самой сказала Елена Александровна и подумала: «А и правда, вот бы меня Витька сейчас увидел! Может, и локти бы себе кусал. Говорят, его лахудру после родов разбомбило!»

— Ты же сама ушла. Значит, решила жить без него. Вот и живи, как будто его вовсе нет. Какая тебе разница, что он там думает.

— В общем-то никакой. Это он, наверное, думает, что я без него исстрадалась вся, и теперь всю жизнь одна буду.

— Вот и наплюй на него. Возьми сейчас и оторвись, как следует. Ты симпатичная, мужиков кругом много. На твоем бывшем свет клином не сошелся.

Купили кофе, минералку и две небольших канистры простой воды. Кофе оказался неожиданно дорогим — Елена Александровна прикинула, сколько это в рублях, и напряглась. Вода тоже стоила прилично. Если бы Елена Александровна пришла в супермаркет одна, она глянула бы на ценники и тихонько убралась прочь. Но с ней была Таня, которую она уже пригласила на кофе. Елена Александровна мобилизовала все свое мужество и хотела заплатить, но Таня ее опередила. Елена Александровна попыталась всучить Тане хотя бы половину суммы, но та только засмеялась:

— Да брось ты… Мы же твои пирожки идем есть. Все честно: с тебя — еда, с меня — питье.

К отелю Елена Александровна подходила в прекрасном настроении. Во-первых, она нашла себе отличную компанию — Таня с каждой минутой нравилась ей все больше. Во-вторых, на них оглядывались встречные мужчины.

Елена Александровна, разумеется, допускала, что дорого одетая Таня, высокая и спортивная, привлекает больше внимания, чем она. «Стрижка у нее, видно, что в дорогом салоне сделана. Конечно, лучше смотрится, чем моя, за двести пятьдесят рублей. И туфли у нее… Или это не туфли, сандалии такие… Очень классные, видно, что фирменные. Не то, что мои, «Юничел». Но если на меня все фирменное надеть, я не хуже буду. А, может, и лучше. Таня, конечно, помоложе… Года двадцать два — двадцать три ей … Но ведь и я на свои не выгляжу… И фигура у меня гораздо женственнее. Таня все-таки

больше на мальчика похожа, чем на женщину. В спортзал, наверное, ходит. Вон какая сухая да жилистая. А мужчины более округлые формы любят. Главное, чтобы все аккуратно было».

У входа в отель Таня скомандовала:

— Прячь воду. Полотенце сверху накинь. Нельзя в отель с водой из супермаркета.

— Это еще почему?

— Потому что они хотят, чтобы воду и напитки у них покупали.

— А-а… Так у них, поди, дороже!

— Намного дороже. За обедом и ужином все напитки платные. Если будут предлагать, не бери. Захочешь пить, в номере контрабандной водички попьешь.

— У меня, кстати, путевка без обеда и ужина, — сказала Елена Александровна. И добавила заранее заготовленное: — Я подумала, зачем мне обед и ужин по расписанию? Я, может, после завтрака уйду куда-нибудь на целый день. Что ж мне теперь, как привязанной возле отеля сидеть?

— Логично… — согласилась Таня и вдруг рассмеялась: — Лена! Ну что ты как партизан в тылу врага! Расслабься, иди спокойно. А то они там, на ресепшн, поймут, что ты воду тащишь. Они тут опытные.

Прошли по коридору первого этажа и спустились в полуподвал. Номер Елены Александровны был напротив тренажерного зала.

Таня удивленно огляделась.

— Слушай, в прошлом году в этой комнате массажный стол стоял. Это же не жилое помещение. Здесь без электричества даже днем темно, и все кафелем обложено, как в туалете. Почему они тебя сюда вселили? У тебя что в путевке сказано? Дай-ка, я посмотрю. Так… Собирай манатки и пойдем к администратору. Собирай-собирай. Ты сюда больше не вернешься.

Комнатой Елена Александровна была, в общем, довольна, но послушалась и стала укладывать вещи в сумки.

***

Больше всего Танька любила раннее утро и вечерние сумерки.

В детстве специально ставила будильник на шесть утра. Прокрадывалась на кухню, заваривала чай и наслаждалась тишиной. Смотрела, как над пустыми улицами рассеивается туман, как восходящее солнце подсвечивает бледные брюшки облаков. Или — зимой — как загораются первые окна, и сонные хозяйки бродят по оранжевым кухням, готовя завтрак.

Вечерами, когда угасающий свет превращал листья на деревьях из зеленых в серо-синие, когда сумерки растворяли мелкие детали, вычищая пейзаж до обобщенно-идеального состояния, Танька выходила гулять. Гуляла она всегда одна, чтобы никто не мельтешил и не мешал ее тихой радости. Привычке своей не изменяла, где бы ни находилась.

Сейчас она неторопливо спускалась с холма вдоль крепостной стены. Под ногами перекатывались мелкие камушки. В проломах виднелись сады и черепичные крыши, далеко внизу светилось море. Солнце быстро садилось, и в каждом следующем проломе море выглядело иначе, чем в предыдущем.

«Как же здорово, как же красиво, какое тут все щедрое, — думала Танька. — А ведь для кого-то это просто приевшийся ландшафт, кто-то тут живет и этой красоты в упор не видит. А, может, я у себя под носом тоже чего-то не

замечаю? Может, в двух тополях у супермаркета «Пятерочка» и убогих граффити на фабричном заборе тоже что-то есть? Какая-нибудь суровая, неброская прелесть? Может, строительство одинаковых кварталов с однотипными панельными многоэтажками — это мощный способ снижения энтропии?»

Танька вслух засмеялась свои мыслям, удивив гуляющих за ручку немецких старичков, и вприпрыжку поскакала вниз, к набережной, чтобы перекусить — ужин она пропустила.

Тарелка морепродуктов была размером с колесо, и Танька трудилась над ней минут двадцать. Долго пила кофе, глядя, как швартуются последние прогулочные яхты. Встала из-за столика разомлевшая и отяжелевшая. «Надо бы чуток прогуляться после ужина, растрясти морепродукты. А то, если так буду жрать, домой не в чем будет ехать».

Она вышла на набережную, отмахнулась от парочки набриолиненных морских волков и двинулась вдоль пристани.

На скамейке под пальмой сидела новая знакомая Лена в короткой юбке и блескучей блузке немыслимого фасона. На лице ее, в свете фонаря, ясно читалась надежда, перемешанная с отчаянием. Таньку она пока не заметила. Та поколебалась мгновение и обошла Лену с тыла. «Бедная баба, после развода еще не перебесилась».

Танька свернула с набережной в темный, пахнущий розами, переулок. С бетонного столбика ограды спрыгнула белая кошка и потрусила следом.

— Ну что, гулена, любишь по ночам шляться? Вот и я люблю… Как быстро тут темнеет. Р-раз, и солнце буквально свалилось в море. И темнота особая, южная. Ежевичная какая-то. Как такой цвет называется? Из головы вылетело… Как будет «слива» по-французски? При… Прю… Прюнелевый цвет! Нравится тебе слово «прюнелевый»? Должно понравиться. Очень даже кошачье слово. Пр-рюнелевый! Пр-пр-пррюнелевый!

Кошка что-то ответила по-своему. Проводила Таньку до конца переулка, а на освещенную улицу вслед за ней не пошла.

В отеле Танька плюхнулась на кровать, включила телевизор — шел какой-то британский детектив — и через пять минут уснула.

***

Елена Александровна третий день искала Таню. За завтраком той не было, на пляже она тоже не появлялась. «Может, на экскурсию поехала?» Елена Александровна несколько раз поднималась на шестой этаж, стучалась в Танин номер, прислушивалась под дверью. В номере было тихо.

За два последних дня с Еленой Александровной произошло столько событий, что необходимо было с кем-то поделиться. Случившееся, значительное и полное важных деталей, пока не совсем укладывалось в голове. Мысли были сумбурны, возбуждение не давало сосредоточиться, да что там — даже есть и спать не давало. Хотелось выплеснуть свой восторг и прочие, пока не до конца осознаваемые, эмоции. К тому же требовалось все систематизировать и оценить. Нужен был взгляд со стороны.

Мама, телепатически связанная с Еленой Александровной, почувствовала ее волнение и активизировалась — плюнула на экономию и забросала смсками. Елена Александровна отвечала короткими описаниями турецких красот и перечислением съеденного за завтраком и ужином. Маму это насторожило еще больше, и она позвонила.

— Леночка! Отвечай быстро, как ты там. Связь дорогая, не тяни.

— Мам, все хорошо! Каждый день хожу на море — после завтрака и перед ужином. Загорела. Похудела еще немного, леопардовые капри уже свободно застегиваются, не надо сверху туникой прикрывать, можно с футболкой носить или с гипюровой блузкой.

— Ты там, смотри, осторожнее. Говорят, они одиноких молодых девушек специально высматривают, чтобы в бордель продать.

— Мамочка, да я же не одна, я с подругой. Тут познакомились. Она в Турции не в первый раз, все знает. Очень хорошая девушка, приличная, не какая-то там…

— А… Ну, ладно, отдыхай. Каждый день мне отписывайся, как и что, а то я волнуюсь.

— Хорошо, мам! Пока! Целую!

Наконец, Таня объявилась. Елена Александровна встретила ее в холле отеля, когда торопилась на завтрак — уснула под утро и едва не проспала все на свете. Таня, уже заметно загоревшая, с зачесанными назад мокрыми волосами, что-то рассказывала администратору. Оба смеялись до слез.

Елена Александровна подошла и встала позади Тани. Английский она понимала плохо, и ей показалось, что речь идет то ли о мыле, то ли о супе.

Таня развернулась и едва не врезалась в Елену Александровну.

— О, Лен! Привет! Как дела?

— Привет, Татьяна. Дела ничего так, идут! Ты на пляж? Позавтракала уже?

— Я уже с пляжа. Сейчас приведу себя в порядок и на завтрак пойду.

— Тогда я тебя тут подожду, вместе пойдем!

— Лен, я, может, долго возиться буду. Ты лучше не жди, а то уже и так поздно. Пока я голову вымою, пока высушу…

— Тебе и так хорошо. Вон, смотри, народ из бассейна вылезает и сразу на завтрак идет, мокрые все, и ничего. Пойдем в столовую прямо сейчас?

— Лен, я все-таки схожу в душ и переоденусь. Хочу сразу после завтрака в город сбегать, пока не очень жарко. И в банк надо до обеда успеть.

— Таня, я тогда тебя в столовой дождусь. И место тебе займу заодно.

— Ну, ладно, спасибо.

В ресторане отеля Елена Александровна всегда немного робела. Люди сидели за столиками парами, семьями или целыми компаниями. Казалось, все давно перезнакомились и теперь радостно приветствовали друг друга, оживленно беседовали, смеялись. Перекликались через весь зал, перешучивались с веселым поваром, жарящим яичницу прямо на раздаче. Елена Александровна была одна и боялась, что выглядит очевидно неустроенной и не слишком счастливой. Она прятала под стул ноги с неумелым педикюром, натертые новыми неудобными босоножками до кровавых пузырей, и клала на стол правую руку так, чтобы видно было золотое кольцо на безымянном пальце. Кольцо, подаренное бабушкой на шестнадцатилетие, было повернуто камнем внутрь.

Сейчас Елена Александровна доедала салат из помидоров и думала две мысли: как пошить такие же брюки, как у сухопарой немки с соседнего столика, и как незаметно взять с собой в номер несколько кусков сыра и булочку (еще в турагентстве ее предупредили, что еду со шведского стола выносить из ресторана нельзя).

Немкины брюки, сшитые из какой-то жатой материи и просторные, как шаровары, выглядели с одной стороны необычно и слегка вызывающе, а с другой — не казались слишком нарядными. «У себя в городе такое, пожалуй,

не надену — не рискну. А вот в отпуск поехать — к морю, за границу — самое то. И за русскую никто принимать не будет. Такой небрежный европейский стиль». Елена Александровна прикинула, как эти штаны будут смотреться на ее фигуре. «Сборки на талии мне нельзя, не пойдут мне сборки. Но если я заложу складки и зашью их сантиметров на семь, а сзади сделаю вытачки… Улетные брюки будут. Где бы еще такую ткань найти…»

Елена Александровна завернула сыр в салфетку и, поглядывая на повара, придвинула сверток к краю стола. Переставила тарелку, потянулась за чашкой и локтем столкнула сыр себе на колени. «Вроде, никто не видел». Теперь надо было переместить салфетку с сыром с колен в объемистый карман сарафана. Елена Александровна накрыла сверток складкой расклешенного подола, прихватила рукой и начала подтягивать к карману. Тут повар что-то гаркнул, она вздрогнула и уронила сыр на пол.

Подошедшая Таня мгновенно оценила ситуацию и, присаживаясь, подняла сверток. Быстро сунула в карман Елены Александровны и засмеялась.

— Лена, что еще будем брать? Булку? Яйца? Масло? Джем берем или нет?

Пунцовая Елена Александровна попыталась что-то сказать, но Таня, коротким и изящным движением фокусника, уже отправила продукты к себе в сумку.

— Выйдем из ресторана, отдам.

— Таня, а если кто-то видел?

— Никто не видел, мы в самом углу сидим. Да и кому тут до нас дело есть.

— А если сумку проверят?

— С ума сошла? Кто будет проверять? Маленькая сумка, и видно, что почти пустая. Ладно бы у нас набитая кошелка была. Но мы же не тоннами выносим. Кто же нас за бутерброд накажет.

На Таниной тарелке лежало несколько оливок и ломтик сыра.

— На диете? Ну и сила воли у тебя! Там же столько всего вкусного!

— Я на пляже литр сока выпила, после него есть не хочется.

— И как ты оливки ешь? Они же такие противные!

— Да? А я люблю. Несколько оливок на завтрак — очень полезно для кожи.

— Кстати, у меня есть отличный рецепт маски из овсяных хлопьев, все морщины разглаживает. Дать тебе?

— Дай, конечно. Только не сейчас, ладно? Мне уже пора.

— Таня, ты же в город? Можно мне с тобой? Подожди, я за сумкой сгоняю.

Елена Александровна рванула в номер. Лифт ждать не стала, взбежала по лестнице. Схватила сумку, взглянула на себя в зеркало. «Таня вся в спортивном, а я как-то по-пляжному смотрюсь…» Она уставилась в открытый шкаф. «В джинсах жарко, капри мятые… Были бы у меня сейчас штаны, как у той немки… Так, а где можно погладить капри?»

В дверь постучали. На пороге стояла Таня, протягивала расползающийся сверток с едой из ресторана.

— Таня, заходи. Я сейчас, я быстро!

Елена Александровна заметалась по комнате. Выдернула из тумбочки полиэтиленовый пакет, упаковала продукты и спрятала в дорожную сумку на молнии. К бегункам молнии подвесила кодовый замок.

— Это чтобы горничная не нашла. Вода у меня тоже тут.

— Ну, — сказала Таня, — пойдем?

— Да-да. Сейчас…

Елена Александровна с сожалением взглянула на мятые капри и закрыла шкаф. Еще раз посмотрелась в зеркало. В жару она сильно потела, и косметика уже потекла. Елена Александровна промокнула лицо салфеткой, попудрилась, подправила размазавшуюся тушь, послюнила кисточку и дорисовала стершуюся стрелку. Пошарила в тумбочке в поисках солнцезащитных очков — там их не было. Поискала у зеркала, заглянула в ванную. Наконец нашла — в сумке. Причесалась, надела шляпу.

— Так… Вроде все взяла. Телефон, кошелек… Ключи! А где ключ от номера? Только что тут был!

— Вот, — Таня выудила ключ из кучи рассыпанной по подзеркальнику косметики.

Вышли из отеля. Елене Александровне не терпелось поделиться с Таней последними новостями, но она никак не могла решить, с какой стороны подойти к теме. Начала из такого далека, что едва не заблудилась и не увела разговор совсем в другом направлении.

— Таня, вот ты не первый раз в Турции, все тут уже знаешь… Как ты думаешь, как можно вежливо отшить турецкого мужчину, чтобы его не оскорбить?

— Ну… Скажи, что у тебя муж ревнивый.

— Вот, понимаешь, видимо у меня типаж такой, на который турки западают. Я по улице не могу спокойно пройти!

— Сейчас же мы спокойно идем.

— Но сейчас же я с тобой! А, когда я одна хожу, тут такое начинается!

— Ну… Ты — яркая блондинка, симпатичная, одета броско…

— Не такая уж я и симпатичная. Так себе. Но вот блондинка — да, видимо они тут от блондинок с ума сходят…

Она выдержала паузу, дожидаясь ответа, но Таня промолчала, и Елена Александровна продолжила:

— Вот мама у меня в молодости очень красивая была. А я в отца пошла, у меня черты лица невыразительные. Нет, я не говорю, что совсем уродина, но…

Таня снова ничего не сказала.

— В универе меня красивой считали, вот уж не знаю, почему. Пол универа поклонников было. Сейчас-то я намного хуже выгляжу. Работа в школе — это, все-таки, ежедневный стресс, учителя быстро старятся. Сейчас-то у меня уже и морщины на лбу, и целлюлит. Вот ты меня в купальнике видела, очень заметно? Не очень?

— Что заметно?

— Целлюлит.

— Я не заметила.

— А-а. А мне кажется, заметно…

— Лена, да нормально ты выглядишь. Сутулиться перестанешь, вообще принцесса будешь.

— Да?

— Вот, провалиться мне на этом месте.

Елена Александровна с облегчением рассмеялась.

— Вот и Омар мне говорит, что я принцесса и очень красивая. А я все думаю, правда он так думает или просто мне приятное сделать хочет.

— Омар?

— Ага. Имя такое. В переводе означает «жизнь».

— Это не тот Омар, который в нашем отеле массажистом работает?

— Ну… Да, это он.

— Ясно… Я надеюсь, ты понимаешь, что с ним ни в коем случае не надо связываться? Он альфонс.

— Конечно понимаю! Я с ним просто болтаю иногда. Он по-русски немного говорит. Мне кажется, он на меня запал.

— Это хорошо, что ты понимаешь. Тут еще Мустафа есть, аниматор…

— Знаю, да… Курд.

— Тоже не связывайся. Если будет подкатывать, гони в шею.

— А я и гоню. Но он постоянно подкатывает.

— Скажи, что хозяину отеля пожалуешься.

Елена Александровна, наконец, решилась:

— Таня, ты знаешь… У меня к тебе просьба. Мне твоя помощь нужна. Нет, если ты не сможешь, я не обижусь, все нормально…

— Ты сначала объясни, чего ты от меня хочешь.

— Танечка, я даже не знаю, как сказать. Мне неудобно.

— Да ладно, раз уж начала…

— Танечка, тут один человек… Мне кажется, он в меня влюбился. Нет-нет, он не турок. Он… Немец.

— Да ты что! Поздравляю!

— Погоди поздравлять, все сложно.

— В смысле, женат?

— Он тут с ребенком, но без жены. Мне кажется, ребенок у него приемный — совсем на него не похож. Может, от жены остался. Мне кажется, он вдовец. Ты знаешь, у него такие глаза… В них столько грусти, столько затаенной боли…

— Лена, давай без лирики. Какая помощь тебе нужна?

Елена Александровна на секунду замешкалась, а потом осторожно начала:

— Дело в том, что я по-английски очень плохо понимаю. И не говорю совсем, хотя в школе английский учила. А немецкий совсем не знаю. Мне языки плохо даются…

— Так… Тебе переводчик нужен?

— Ну-у… Да. Но совсем ненадолго. Только записку по-немецки написать. Или по-английски. Танечка, несколько слов всего.

— А-а… Ну давай вечерком напишем. Что писать-то?

— Что… Что у него очень красивые глаза, и что одна русская девушка все время о нем думает. Или… Как ты думаешь, что можно написать?

— Лен, это ты сама должна сформулировать. Подумай, что ты ему хочешь сказать, зачем ты хочешь это сказать.

Танина интонация Елену Александровну смутила. Она засомневалась, так ли хороша ее идея, как это виделось накануне ночью, когда она долго крутилась в постели, путаясь в простынях, и никак не могла заснуть. Потом вспомнила пронзительно-синие глаза немца, его загорелое лицо и татуировку со львом на предплечье и аж задохнулась.

«Нет, надо все-таки попробовать, а то упущу время и никогда себя за это не прощу. Обязательно надо попробовать. Есть у меня предчувствие, что все будет классно. Мой это человек. Нет, не случайно я сюда приехала».

В банк они опоздали. Дверь закрыли прямо перед их носом. Ждать полтора часа до конца перерыва Таня не стала, хотя Елена Александровна предлагала провести это время на скамейке среди розовых кустов или на набережной среди отдыхающих.

— Ладно. На ресепшн придется менять.

— А я вот все деньги еще дома поменяла. Там, все-таки, надежнее. Местным я не доверяю, говорят, они тут запросто могут обсчитать.

— Вот поэтому я и хотела в банке поменять. У меня лиры кончились. Одни доллары.

— Тут доллары везде принимают. Что интересно, сдачу иногда лирами сдают.

— В театрах и музеях доллары не берут. Только лиры. А я хочу в Аспендос съездить, на «Аиду». Давно мечтала посмотреть, как турки Верди интерпретируют.

Они зашли в супермаркет, а потом вернулись в отель. Там Таня быстро попрощалась до вечера и ушла к себе в номер — у нее разболелась голова, и она хотела вздремнуть.

Елена Александровна, довольная началом дня, переоделась и отправилась на пляж.

«Что же написать… — размышляла она, водя пальцем по песку. — Что может написать незнакомка незнакомцу? О себе пока много сообщать не надо, это будет нескромно, да и интрига пропадет. Хотя искренность и спонтанность мужчинам тоже нравятся, да. Но тут не тот случай, не тот… Одинокая загадочная иностранка, русская… Они мало про русских знают, русские для них экзотика… Значит, таинственная экзотическая девушка — всегда сама по себе, всюду одна. Печальная, задумчивая, увлеченная чтением (у Елены Александровны была с собой книга Коэльо). Непохожая на всех этих визгливых девок в стрингах, которые только и делают, что путаются с турками… Вот написал бы какой-нибудь художник мой портрет — у моря, в шифоновой тунике, с книгой и с развевающимися на ветру волосами… Надо будет Таню попросить, пусть меня так сфотографирует… Ой, сыр-то в кармане забыла! Провоняет все или, не дай Бог, заплесневеет!»

***

«Господи, ну и геморрой, — думала Танька. — Как теперь из всего этого выпутываться. Так хотелось просто отдохнуть. Просто купаться и гулять. В одиночку! Без глупой болтовни, без суеты! Как бы ее ненавязчиво послать, эту блаженную. Блин. В том-то и дело, что блаженную так просто не пошлешь…»

Несколько дней Лена пересказывала и пересказывала Таньке подробности своего стремительно разгорающегося романа.

— Я вечером гуляла и вдруг — чувствую — взгляд! Такой… Пронизывающий! Оборачиваюсь, а он смотрит в упор. Сидит за столиком один и на меня смотрит. И глаза у него такие синие-синие, бездонные, — Лена зарумянилась, как роза. — Я прошлась до конца улицы, потом иду назад, а он так и смотрит. Я на лавочку села, сижу и чувствую прямо, как он мне глазами спину буровит! Потом его дочка прискакала, чего-то там пощебетала и опять ускакала. Я опять прошлась — смотрит. И так, знаешь, мужественно смотрит. Я пошла за угол, посчитала, сколько у меня мелочи в кармане — кошелек-то не взяла. А там как раз сдача из сувенирного магазина была — я днем маме и нашей директрисе подвески от сглаза покупала. Ну и вот, я пошла в это самое кафе — он сидит, смотрит, а я на него не гляжу, сажусь за крайний столик и стакан чаю заказываю. Пью чай и Коэльо читаю, а на него не оглядываюсь, но чувствую, что смотрит так, что уже дырку в спине проделал. Потом он рассчитался и ушел, а, когда мимо меня проходил, та-ак мне в лицо взглянул! И еще обернулся раза два. На другой день я на пляже после завтрака недолго побыла — плечи сильно обгорели. Пошла в город — я тут стараюсь как можно больше ходить, мне надо еще килограмма два сбросить. Ну вот, иду, значит, а он мне навстречу идет со своей дочкой. Видно, что

очень любящий и заботливый отец. Это в мужчинах едва ли не главное. Я, конечно, сделала вид, что его не узнала. Иду… А он опять та-ак на меня смотрит! Тань, я вот думаю, может, поздороваться надо было? Чтобы сразу дать понять, что я его тоже заметила и узнала? Ну, в общем, ладно, не поздоровалась. Прошла дальше. Целый день потом думала: «Он на меня так смотрит, потому что он на всех симпатичных девушек так смотрит, или он меня особо выделяет среди всех?» Вечером пошла в то кафе, а его нет. Я все равно заказала чай, сижу, читаю Коэльо… Идет! Сел прямо напротив меня! Вот прямо метрах в двух! И опять смотрит. Таня… Ты себе не представляешь, что это было! Это было как у Штирлица и его жены — мы друг другу все глазами рассказали! Прямо настоящий телепатический сеанс! На следующий день он меня уже там ждал! И опять был телепатический сеанс! Мне кажется, я теперь все про него знаю! Он очень одинокий, Таня! Он так нуждается в заботе!

— Лена, вернись на землю! У него, может, жена дома. А он тебе телепатически врет, что неженат.

— Таня, у меня в классе был один отец, так вот, он на меня на родительских собраниях так же смотрел! Не сказать, что на внешность симпатичный, мне не нравился. Но очень хороший человек. Стенд в классе очень красиво бумагой обтянул, несколько раз наглядные пособия помогал делать. А однажды принес кулебяку с капустой из кулинарии, сказал, что мне, наверное, некогда пообедать. Потом ему его жена запретила на собрания ходить. Сама стала ходить, пререкалась со мной вечно.

— Ну так он же был женат, этот принц с кулебякой!

— Так они потом очень быстро развелись. У них давно проблемы были в отношениях.

Танька от Леночки пряталась. Рано утром уходила на дальний пляж, пропускала завтрак. Днем, закрывшись на замок и не отвечая на стук в дверь, отсыпалась в номере. Взяла напрокат велосипед и вечерами уезжала в соседние поселки. Возвращалась поздно. Но Леночке все равно удавалось ее подкараулить. Пришлось выслушать долгую и путаную историю Леночкиной жизни: детали не стыковались, подробности менялись на ходу, рассказчица часто забывала, с чего начала. «Какая странная смесь Грина с Тцарой и «Пусть говорят», — думала Танька, кивками показывая, что слушает. — Еще немного, и ее унесет в чистый дадаизм. А я-то! Стала одним из персонажей этого балагана. Какие-то рекомендации раздаю, зачем-то записку на немецком написала». В записке Леночка хотела излить душу, но Танька ей отсоветовала, и текст получился коротким: «Привет. Я Лена. Хочу с вами познакомиться». Леночка схватила записку и умчалась. Несколько дней носила ее в кармане, но так и не решилась передать.

Накануне вечером Танька посетила оперное представление. Домой добиралась вместе с группой шумных немцев, приехала далеко за полночь, утомилась.

Проснулась с головной болью. Сходила на море, а потом целый день провалялась в номере.

После ужина явилась Лена. Танька неосторожно ее впустила, и сразу же об этом пожалела. Лена посыпала новостями о событиях, произошедших в какой-то полуфантастической реальности. Потащила на набережную. Танька сначала упиралась, но потом поняла, что новая знакомая так просто не отстанет. Решила, что для здоровья полезнее будет прогуляться, чем сидеть в номере и в который раз выслушивать историю совершенно ослепившей и оглушившей Леночку любви.

Дефилировать по ярко освещенным улицам среди отдыхающих Таньке не хотелось, и она увела Леночку на темный пляж. Там было почти пусто, только большая турецкая семья сидела кружком вокруг горящей лампы. Громко и сладко пели цикады. Подсвеченные крепостные стены спускались по темным склонам, как надетое на гору золотое ожерелье.

«Интересно, какой бы я была, если бы родилась в таком месте? Если бы провела детство у моря? — размышляла Танька, первым воспоминанием которой была большая лужа с плавающими кленовыми «вертолетиками» и ржавые гаражи, заросшие бурьяном. — Без сомнения я была бы сейчас другим человеком. Если в условии задачи поменять одну составляющую, результат тоже изменится. Всего-то поменять место действия. Махнуть наш панельный микрорайон на этот вот пейзаж. Сколько же он дает радости! Радость — великая сила, мощная энергия. Вот, скажем, Николай Мирликийский или Василий Великий — кем бы они стали, если бы родились где-нибудь в Воркуте? Понятно, что никакой Воркуты тогда не было, но все-таки… Славить Господа, гуляя в цветущем саду и глядя в такое вот бархатное небо, это совершенно естественно. Пой себе, как птица. Совсем другое, если ты живешь в каком-нибудь Нефтеюганске или Уренгое и вкалываешь на буровой под непрерывным ветром с дождем или снегом. Станешь ты петь, как Иоанн Златоуст? Или, если вокруг восемь месяцев зима, все время тускло или темно, все время насморк и воспаленные миндалины, и ты растешь бледный и слабый, как картофельный росток… Как эта дурочка Леночка… Землероечка. Подбородок вялый, скошенный, зубки редкие, волосенки жидкие… Иммунитет отсутствует. От моря и солнца крышу напрочь снесло».

Леночка что-то рассказывала, косолапя по песку на своих подворачивающихся каблуках.

Вышли на пристань, прогулялись почти до Красной Башни и остановились у каких-то кустов.

— Тань, постой тут, я сейчас посмотрю, там он или нет.

Леночка напряглась, выпятила грудь и зашагала вверх по боковой улице. Выглядела она так, как будто задержала дыхание и нырнула.

«О, Боже, во что я ввязалась! — Танька хлопнула себя по лбу. — С восьми лет со мной такого не случалось».

Вернулась Лена.

— Таня, он там! Иди сейчас по этой стороне улицы вон до того кафе. Видишь, там щит с меню стоит? Он прямо у щита сидит, лицом к улице. Только ты сильно не пялься и не оглядывайся, а то он поймет, в чем дело. Он меня уже заметил. Догадается, что это я смотрины устроила. Просто пройди мимо, а потом скажешь, как он тебе.

— Так, Лена… Если ты действительно хочешь знать мое мнение, то мы сейчас пойдем в это кафе, спокойно сядем и закажем по чашечке кофе и по мороженому. Я угощаю. Посидим, я твоего принца разгляжу, как следует… Мне уже самой интересно, что это за фрукт.

— Таня, он же все поймет!

— Что он поймет? Что мы пришли мороженое жрать? Ты в этом кафе каждый вечер чай пьешь, значит, тебе там нравится. Значит, ты туда можешь и подругу привести. Что в этом такого?

— Тань, а давай так. Я сейчас туда пойду и закажу себе чай. А ты минут через пять пойдешь мимо и сделаешь вид, что случайно меня заметила. И подсядешь за мой столик.

— Лена, ты мне предлагаешь на пять минут залечь в этих кустах? Я тут и так уже достаточно сижу. Хочешь играть в партизаны — играй одна. Или мы сейчас, как взрослые люди, идем в кафе и заказываем мороженое, или я ухожу.

Леночкин немец оказался крупным мужчиной с большими руками и ногами и мелкими чертами лица. Развалившись в пластиковом кресле, он пил пиво, заедая его солеными орешками.

«Да как вообще можно было на такого обратить внимание! — удивилась Танька. — Обыкновенный пивной бюргер. Рожа красная, брови желтые, глазки как пуговки — чувства или мысли в них — ноль».

— Ну? — прошептала Леночка.

— Не шепчи, он нас все равно не поймет.

— А вдруг поймет! Вдруг он из бывшей ГДР и в школе русский учил!

— Даже если он в школе учил русский, он нас не поймет. А вот если ты будешь шептать, он решит, что мы про него разговариваем. Говори нормально.

— Давай, я тебя буду как будто бы про мороженое спрашивать, а ты мне про НЕГО будешь отвечать. Как тебе мороженое?

— Мне кажется, в нем очень много пива.

— Таня! Я серьезно!

— Лена, я его по твоим рассказам совсем другим представляла. Я сейчас в небольшом шоке. Ну, может быть, это очень хорошее мороженое, но… Лена, честное слово, не знаю я, что сказать. Трудно вот так с ходу судить.

Леночка заметно расстроилась. Нарисованные коричневым карандашом бровки опустились, нижняя губа еще сильнее выпятилась.

— Лен, ну я же честно тебе сказала. Не буду же я тебя обманывать. Да и что тут такого. На вкус, на цвет… Это мороженое просто не в моем вкусе. Я люблю ванильное с шоколадной крошкой, а это — картофельное со шкварками. Ну хорошо, клубничное со взбитыми сливками. Короче, тебе же лучше — не надо меня опасаться. А то подружки еще какие коварные бывают!

Леночка недоверчиво на нее поглядела.

Пришла крошечная вьетнамка в белых шортиках, скинула босоножки и забралась с ногами в пластиковое кресло рядом с Леночкиным немцем. Быстро заговорила, засмеялась, обнажая несоразмерно крупные зубы.

Танька прислушалась. «Это не немецкий. Это нидерландский! А мужичок-то несвободен… Это его мартышечка! Вон как он ей ножку поглаживает. Все у них тип-топ. Вот тебе и телепатия!»

— Это дочка его, — зашептала Лена. — Видно, что, либо приемная, либо жена у него была азиатка.

Вьетнамка заказала пиво. Танька схватилась за голову.

Утром ее разбудило ощущение ноющей тревоги. «Господи, эта идиотка Леночка! Что там с ней после вчерашнего? Прорыдала, наверное, всю ночь!»

Танька спустилась на второй этаж. Леночка только что проснулась и бродила по комнате, собирая разбросанную одежду. Вид у нее был всклокоченный, но расслабленный, и круглые глазки смотрели ясно.

— Ну мы вчера с тобой и дали жару!

— Не то слово, — подтвердила Танька, совершенно потрясенная Леночкиной безмятежностью.

— Я ведь вообще-то совсем не пью! Женщине, мне кажется, пить неприлично.

— А я в караоке не пою, по мне пение в караоке гораздо неприличнее пьянства.

— Да ладно, классно ведь было. Круто мы оторвались! Будет потом, что внукам рассказать.

«Да уж… — подумала Танька. — Если поход в караоке для нее значительное событие… Да уж…»

— Слушай, а что мы с тобой с англичанами пели?

— Мы много чего с ними пели. «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Хей, Джуд», что-то из мюзикла «Кошки».

— Ну ни фига себе! Я же по-английски ни бе, ни ме!

— Ничего, после трех бокалов красного и бе, и ме было.

— Тань, а тот полненький англичанин, он правда на меня запал, или мне показалось?

— Еще как запал! Но он, Леночка, не твоего романа герой. Он для тебя слишком неказист. И староват уже.

— Да? А мне он ничего так показался. Они в соседнем отеле живут, я их иногда на пляже вижу. Мне кажется, он ко мне сегодня подойдет. Сходим с ним куда-нибудь, приглядимся друг к другу.

«Так, — подумала Танька, — кажется, намечается сиквел. «Ленина любовь — 2». Или, может, это у нее истерическое, на фоне стресса? Может, она так по своим разбитым мечтам страдает, что в качестве обезболивающего решила во все тяжкие пуститься?»

— Лена, а в тот пивбар больше не пойдешь? Завязываешь с тем голландцем? — осторожно спросила Танька.

— Да я что-то подумала, зачем мне женатый. Ну его. Понятное дело, что при такой жене он на других женщин засматривается. Влюбился в меня, как мальчишка. Жалко его конечно, но у меня принцип — с женатыми ни-ни.

Танька ушла к себе совершенно сбитая с толку. «Что это было? И правда, чужая душа — потемки. А может, она сумасшедшая? Вроде, не похожа. Зажатая только, боится всего».

***

За три дня до отъезда Елена Александровна загрустила. Записала в блокноте все, произошедшее с ней в Турции, уделяя внимание мелким деталям, стараясь ничего не упустить. Внимательно смотрела вокруг, разглядывала и запоминала подробности пейзажа, пыталась впитать как можно больше, как будто запасала впрок солнце, море, воздух.

«На год вперед. Хорошо, если на год. Но при моих возможностях… Как бы на три не получилось». Стала считать все последнее — последняя пятница в Турции, последний поход в супермаркет, последний закат, последний рассвет, последний завтрак, последнее купание в море, последние минуты в номере отеля…

До отправки в аэропорт было целых шесть часов. Собранная сумка стояла в комнате у русских соседей — Елена Александровна уже сдала ключ от своего номера. Оставалось кое-что купить.

Еще в первый день в Алании приглядела Елена Александровна серьги с бирюзой за 50 долларов. С собой у нее было всего 105 — на еду и на подарки маме и коллегам. Серьги, необыкновенно красивые, очень шли Елене Александровне — когда она их примерила, продавец едва в обморок не упал. Каждый вечер, проходя мимо знакомой витрины, Елена Александровна останавливалась посмотреть, купили ли серьги. Она надеялась, что кто-нибудь их купит, и тогда можно будет про них забыть и успокоиться. Но

серьги были на месте. Продавец улыбался Елене Александровне, приглашал в свою лавку, предлагал яблочного чаю, обещал хорошую скидку. Когда серьги приснились ей во сне, она решила: «Ладно. Буду экономить на питании. Если останутся деньги, перед отъездом куплю».

И сейчас она шла в ту самую лавку. Волновалась.

Серег на витрине не было. Елена Александровна расстроилась и собралась было уходить, но продавец поманил ее внутрь своего магазинчика:

— Заходи, заходи. Бери серьги с фирюза. Окно новый дизайн сделал. Серьги тут теперь.

Они лежали в деревянном ящичке под стеклом — серебряные павлиньи перья с крупными бирюзовыми глазками.

— За сколько отдадите?

— Пятьдесят доллар.

— Вы говорили, скидку сделаете.

— Что говоришь?

— Дискаунт.

— Пятьдесят — это с дискаунт.

— В прошлый раз вы говорили, что с пятидесяти скинете.

— Да? Я сказал? Окей, окей. Сорок пять доллар.

Леночка сделала вид, что задумалась.

— Посмотри, — продавец положил серьги на весы, — сколько грамм?

— Восемнадцать.

— Посмотри, — продавец взял калькулятор и умножил восемнадцать на три. — Сколько?

— Пятьдесят четыре.

— Покупай за сорок четыре. Хорошая цена.

Леночка, очень довольная сделкой, полезла за кошельком.

— Посмотри! Кольцо с фирюза. Сет. Эти серьги и кольцо — сет. Бери кольцо. Тридцать доллар.

Леночка взглянула на прилавок. Продавец вытащил из-под стекла деревянный ящичек, выложенный изнутри рыхлым гранатовым бархатом. На бархате слева лежало несколько колец и подвесок, а справа — четыре массивных серебряных браслета, и один из них был точно такой, как Танино кольцо. Вернее, он состоял из нескольких круглых зеленых камней в гладкой квадратной оправе, и такой же круглый зеленый камень в квадратной оправе был на пальце у Тани. Она никогда его не снимала.

— Сколько стоит? — спросила Леночка.

— Шестьдесят пять.

— У меня столько нет.

— Посмотри. Серьги плюс кольцо с фирюза, плюс браслет — сто двадцать доллар.

— Я не хочу серьги и кольцо, я хочу только браслет. Дискаунт?

— Браслет? Нет серьги? Шестьдесят пять доллар.

— Это для меня дорого.

— Бери вот этот браслет. С тигровый глаз. Сорок доллар отдам.

— Послушайте, мне очень надо браслет с зелеными камнями. Для лучшей подруги. У меня есть пятьдесят три доллара. И еще сколько-то лир. Сейчас…

Елена Александровна вывернула на прилавок содержимое кошелька. Руки ее мелко дрожали, сердце прыгало. «Не надо было те дурацкие очки покупать. Как раз бы хватило. Куда мне эти очки, чай не на югах живу…»

— Пятьдесят три доллара, так… Еще доллар! Пятьдесят четыре… Вот лиры… Сейчас, подождите, я иногда в карман сумки сдачу сую и забываю…

— Окей. Окей. Бери браслет. Пятьдесят доллар.
— Что? Сколько?
— Пятьдесят.
Елена Александровна едва не бросилась продавцу на шею.

***

Танька возвращалась с пляжа — закатав брюки, погуляла напоследок по щиколотку в воде. В холле отеля ее поджидала Леночка, и вид у нее был самый загадочный.
«Неужели новая любовь?»
— Тань, это тебе, — сияющая Леночка протянула красную коробочку с сердечком.
Танька ахнула. Заметь она этот браслет в какой-нибудь ювелирной лавке, непременно купила бы его сама.
— Вот это вещь! Мой любимый камень! И дизайн, как у моего кольца! И застежка, как я люблю! Вот это ты угадала! Лен, спасибо! Но это слишком дорогой подарок…
Леночка, напряженно следившая за Танькиной реакцией, едва не заплакала от счастья.
— Таня, мне для друзей ничего не жалко. Бери! Я как увидела, сразу поняла, что твоя вещь!
— Лена, сто процентов — моя. Спасибо! А давай, я тебе тоже что-нибудь куплю. В подарок! Ты меня прости, я раньше не догадалась — я иногда очень тупой бываю. Что бы ты хотела иметь? Автобус еще не скоро придет, время есть, добежим до магазинов.
— Танечка, ничего не надо. Ты и так на меня достаточно времени и денег потратила. Правда. Не надо ничего. Мне будет приятно, если этот браслет будет у тебя. Будешь иногда меня вспоминать…
— Ленка, да разве я тебя когда-нибудь забуду? Разве тебя можно забыть? У меня таких каникул, как с тобой, в жизни не было!

Домой прилетели утром. Еще сидя в самолете, Танька вызвала такси. Быстро проскочила паспортный контроль, схватила чемодан и выбежала из здания аэропорта.
Пейзаж вокруг был совсем уже осенний, воздух пах гарью и мокрой землей. Трава на газонах от инея казалась засахаренной. Машина ждала Таньку почти у самого выхода из терминала. Хмурый шофер сунул чемодан в багажник. Поехали.
Сразу же за аэропортом начинались дачи. «Надо же, прямо пэтчворк! Совершенно лоскутный пейзаж! А небо какое! Особенное небо. Такое только в конце августа и в начале сентября бывает. Земля уже холодная, а небо еще теплое, и облака золотые. Может, зря я осень не люблю? Эх, сейчас домой приеду, попьем с Анной Петровной чайку с лукумом! А завтра красок куплю! И шерсти надо бы прикупить, пора новый шарф вязать. Веселенький какой-нибудь».

***

Сумка Елены Александровны приехала последней. Багажная карусель была уже почти пустой, только чей-то синий пластиковый чемодан проплывал и проплывал мимо. Елена Александровна нервно оглядывалась — никого из персонала в зале не было. Она уже собралась идти на поиски, но тут отверстие в стене выплюнуло на ленту ее сумку. Сумка была упакована в полиэтиленовый пакет, там же лежали вывалившиеся из лопнувшего нутра вещи.

Елена Александровна ахнула и кинулась проверять — ничего, вроде бы, не пропало.

— Вы пойдите, напишите претензию на порчу багажа, — посоветовала подошедшая хозяйка синего чемодана.

— Да вроде все на месте, ничего не украли.

— Так ведь сумку-то испортили! Вся же молния вырвана! — хозяйка чемодана близоруко сощурилась. — А! Так она у вас вся зашитая-перешитая. Чего же вы с такой ездите? Понятно же было, что порвется.

— Чемодан в последнюю минуту сломался… — соврала Елена Александровна, — некогда уже было новый покупать.

— А-а… Ну что ж, бывает. Хорошо, что не пропало ничего.

Елена Александровна подняла пакет с сумкой — тащить его было неудобно — и, изогнувшись, пошла к выходу.

«Ой, а Таня-то уже уехала… Вроде, махала мне в зале выдачи багажа. И не попрощались толком. Надо будет вечером позвонить, пригласить в гости. Маме скажу, подруга придет. Лучшая подруга. Наполеон испечем».

Елена Александровна кое-как дотащилась до остановки маршрутного такси. Держать тяжелый пакет было трудно, и она поставила — почти уронила — его на асфальт. В маршрутке пожалела об этом — пришлось везти мокрый и грязный багаж на коленях.

Дома было холодно. Мама в жилете, сделанном из старой Лениной куртки, сидела на кухне у зажженной газовой конфорки и читала журнал «Дружба народов» за 1988 год.

— Леночка, садись кушать. Я макароны сварила. Специально твой любимый кетчуп купила — «Моя семья», шашлычный.

— Спасибо, мам. Я что-то не хочу пока. Я в самолете поела. Я посплю немного, потом поем.

— Ты хоть расскажи, как отдохнула.

— Я расскажу. Я тебе подарки привезла. Сейчас посплю немного и все расскажу, и покажу…

Елена Александровна закрылась в ванной и пустила воду.

«В Турции сейчас все уже позавтракали и на море идут».

Она залезла в ванну и тихонько заскулила.

Проплакала украдкой до самого вечера. Вечером позвонила Тане. В трубке послышался уличный шум. Таня поинтересовалась, как Лена добралась до дому, но историю про порвавшуюся сумку не дослушала, извинилась, попрощалась и пообещала перезвонить. Елена Александровна подождала три дня и снова попробовала связаться с Таней. Та сослалась на занятость и велела позвонить попозже. Елена Александровна так и сделала, но абонент оказался недоступен.

Начало учебного года было, как всегда, бестолковым и хлопотным. Елена Александровна немного отвлеклась от своей печали. Коллегам рассказывала:

— В Турцию ездила. С подругой. Отлично отдохнули. Купались, загорали. Уже побледнел маленько загар-то. Еще темнее был… Нет, никого себе не нашла. И не искала. Я отдыхать езжу не за приключениями, а, чтобы действительно отдыхать — в море плавать, на велике кататься, в театр ходить. Турки, кстати, «Аиду» поставили. Интересная интерпретация.

18.08 — 7.09.2017

Георгий Нипан. Среди дождя. Несколько историй про Алису и Гену (Продолжение. Начало в №9(39), 2017)

Нипан Георгий Донатович, Москва, Россия, действующий научный работник, д.х.н., автор (или соавтор) 280 научных публикаций. Литературные опусы:

Знамя, Волга 21 век, Волга, День и Ночь, Веси, Новый берег, Зарубежные задворки, Химия и Жизнь, Искатель/Ad-venturer, Флорида, Фанданго, Мир животных, Наша Гавань

Эти удивительные композиции — быть может, продолжение старинейшей европейской (но, однако, и восточной...) литературной традиции, когда слушатели собирались в круг, а избранный рассказывал интересные и поучительные истории; это традиции "Декамерона", рыцарей короля Артура, да вообще любых традиций устных рассказов, письменно запечатленных — вплоть до сказок Шехерезады из "Тысячи и одной ночи". Погружение в чужие судьбы — всегда увлекательнейшее путешествие. Самый заманчивый роман — авантюрный. Самые великие истории — это истории, пережитые нами, увиденные нами во сне или придуманные нами.

Но ведь нет ничего придуманного.

Есть только увиденное. И возлюбленное.

Елена Крюкова

— Капли дождя долетают. Пожалуй, надо чем-нибудь прикрыться, — произнесла Алиса.

— Это подойдет? — спросил Константин, снимая с гвоздя прозрачный пластиковый дождевик.

Алиса кивнула, но как только здоровенный Костя расправил дождевик, чтобы накинуть маме на плечи, вылетело облако мошкары, мирно прятавшейся под пластиком. Стриж, пережидавший под крышей Алисиной дачи непогоду и уже сильно проголодавшийся, не выдержал искушения, сорвался, раскрыв клюв, врезался в распахнутый дождевик и рухнул на стол.

— Акела промахнулся! — съязвил Владик и попытался сцапать стрижа, но не на того напал. Стриж тут же клюнул в протянутую ладонь Владика, однако проморгал быстрое движение Льва и оказался в зажатом кулаке.

— Ну, что, дитя воздуха, спалился на летающем мусоре? — спросил у пленника Лев.

Стриж утвердительно пискнул.

— Черный стриж, — сообщил Владик, рассматривая узника, и продолжил, чтобы блеснуть эрудицией. — Один из семидесяти видов стрижей. Отличаются от ласточек более узкими крыльями и большей скоростью полета. Например, иглохвостый стриж разгоняется до ста семидесяти километров в час, а ласточка только до семидесяти.

— Точные научные данные, — подтвердил Лев. — Есть ли в этом доме стремянка? Надо вернуть воздушного аса под крышу. Сам он вряд ли взлетит со стола, да, и лететь некуда. Кругом дождь.

Появление НИПОВ

Только Лев влез на стремянку, чтобы вернуть стрижа в его жилище, как скрипнула калитка. — Стремянку не дадите, люди добрые? — спросил хриплый голос. — Спрятал на елке рюкзак, чтобы бездомные собаки не раскурочили, а по мокрому стволу залезть не могу, соскальзываю. Холодно, согреться надо, у меня там бутылка водки припасена.

Пелена дождя не скрыла большой красный нос, который торчал из-под капюшона рыбацкого плаща.

Алиса замешкалась с ответом.

— Нет! Вы ведь стремянку не вернете, — отрезал Виктор. — Я красноносых по работе хорошо знаю.

— Верну! — отчеканил обладатель красного носа и вышел на свет.

Кроме головы с красным носом, под плащом начинались высокие сапоги, однако, если левый рукав плаща не содержал ничего необычного кроме руки, то правый рукав заканчивался взведенным ружьем для подводной охоты.

— На лягушек охотитесь или на летучих рыб? — насмешливо спросил Виктор.

— Охраняю дома от здешней нечисти: водяного и кикиморы болотной. Случается, что от лешего и оборотней. Во время дождя нечисть близко к жилью подбирается, в двери и окна стучится.

— Слышал я, что только серебряная пуля годится и осиновый кол, — уже не так насмешливо заметил Виктор.

— Где я столько серебряных пуль возьму? Мокрая нечисть, как всякое зло, бессмертна, да и порох от нее сыреет. Наконечник этой стрелы серебряный и на нем выбит крест, — пояснил необычный часовой, поднимая вверх подводное ружье.

— Забирайте стремянку! — скомандовала Алиса. — Утром оставите возле калитки.

Лев протянул часовому стремянку, тот взвалил ее не левое плечо и исчез.

— Что это было? — очнулась Зина.

— Это был НИП — НеИгровой Персонаж, — объяснил маме всезнающий Владик.

Опять скрипнула калитка, и появился следующий НИП, вся одежда которого состояла из факела, зонта и черных трусов. Он шел молча, не озираясь по сторонам, сжимая в левой руке зонт, который защищал от дождя не столько его тощее голое тело, сколько факел, который НИП торжественно нес в правой руке.

— Мужчина, — окликнула его очнувшаяся Зина, — там впереди забор, за ним другой забор, а за ним еще забор… и так до самого леса. Извините, Вы, куда и зачем идете?

— Ищу человека! — коротко бросил странник.

— Мама, не отвлекай Диогена. Он, вероятно, торопится в местную пивную «Бочка», которая открыта круглосуточно. Очень может быть, что вчера в споре с Сократом, кто больше выпьет пива, он проиграл штаны и рубашку, а сегодня спешит их отыграть.

— Похоже, что останется без трусов и зонта, — грустно произнесла Алиса.

— Не беда, — сказал я, долго хранивший молчание. — У него останется факел, а штаны и рубаху можно отобрать у пугала. На многих участках хорошо одетые экземпляры стоят.

— Гена, видно, что у тебя большой опыт грабежа пугал, — засмеялась над моими словами Алиса.

— Нет, — парировал я, — просто у меня большой жизненный опыт. Тебе, например, приходилось примеривать узкие джинсы на морозе, стоя на тонкой картонке? Вот то-то, что нет!

Дефиле НИПов на этом не закончилось. Минут через пять раздался тревожный вой, и три пожарные машины остановились возле Алисиной дачи. Приехавшие огнеборцы принялись быстро и деловито разворачивать пожарные рукава.

— Где очаг возгорания? Пожарный вертолет заметил быстро распространяющийся огонь. Вы подлежите срочной эвакуации! — прокричал нам человек с красной нарукавной повязкой, на которой белела надпись РТП — руководитель тушения пожара.

— Куда лить? — заорал подбежавший пожарный с брандспойтом в руках.

— Даже не знаю, — сказала Алиса. — Только не на картофельные и свекольные грядки. В крайнем случае, полейте капусту и огурцы, но, пожалуйста, без пены. В теплице поливать не надо.

— Женщина, ну что за шутки на пожаре? — возмутился РТП.

— Вы знаете, я бы что-нибудь подожгла, чтобы вы погасили, но все насквозь промокло. Ничем не могу Вам помочь. Хотите горячего чаю? — предложила Алиса.

— А Вы хотите, чтобы мы вылили восемь тонн воды за восемь минут на Ваш дачный участок? — выдал свою шутку юмора РТП.

— Нет, не хотим, — отвергла предложение Алиса. — Нас уже затапливал пожарный вертолет, и неделю на нашем участке ловили карпов.

— Женщина, я бы посмеялся над Вашими шутками, но некогда, — устало махнул рукой РТП и громко крикнул. — Отбой пожарной тревоги! Возвращаемся в часть.

— Ну, кажется, НИПы закончились, а вот дождь нет. Продолжаем рассказывать истории, — подытожила Алиса. — На очереди Костя.

— С детства поддерживал все начинания Витьки и, сейчас, я оттолкнусь от его истории, а также воспользуюсь темой Гены в восточном преломлении, но мой рассказ будет от первого лица, — объявил Костя, отодвигая в сторону очередной переводимый манускрипт.

Падальные мухи (рассказ Константина)

— Вас не сильно удивит, что одного из моих прадедов по отцовской линии звали Акиро. Если говорить высоким стилем, благодаря этому прадеду на моем лице запечатлен мягкий поцелуй далекой Азии. Начну с того, что во время войны, прогремевшей более века назад, прадед вместе с другими солдатами экспедиционного корпуса высадился на неприятельский Остров, заселенный ссыльными каторжниками, которые презирали любое внешнее управление и признавали только свои законы. Они не были пат-

риотами противоборствующей страны, и им не было дела до войны, в которой участвовало их государство. Каторжники ополчились на интервентов, как на конкурирующую банду инородцев, посягнувших на их территорию. Вооруженные охотничьими ружьями, плотницкими топорами или просто деревянными кольями каторжники внезапно нападали на небольшие группы солдат и жестоко уничтожали всех до единого. Тем удивительнее, что после такой стычки мой прадед остался жив. Тяжелораненый он заполз в заросли малины, где через несколько часов на него наткнулась собиравшая ягоды Ульяна — дочь каторжан, его будущая жена и моя будущая прабабка. По рассказам моего деда, ее сына, она обладала невероятной физической силой, и островные парни опасались к ней свататься. Ульяна взвалила раненого солдата на плечо и поволокла домой.

— Что нашла? — закричал ее отец, не разглядев издали тяжелую ношу.

— Мужа, — откликнулась Ульяна.

Она выходила Акиро — крепкого, как оказалось, крестьянского парня, не брезговавшего каждодневной тяжелой работой, и через два месяца Ульяна и Акиро обвенчались. Священник, сам бывший каторжник, не сильно придерживаясь церковных канонов, совместил венчание с крещением Акиро и, не мудрствуя лукаво, дал ему крестное имя Архип. К тому времени между воюющими сторонами был подписан мирный договор, и к интервентам отошла южная часть Острова. Наступило шаткое перемирие. Спустя год после свадьбы Ульяны и Архипа родился мой дед Арсений. Ему шел четырнадцатый год, когда на материке вспыхнуло восстание и оживились интервенты. Теперь они претендовали на весь Остров.

Ранним утром в окруженное со всех сторон поселение вошел отряд лейтенанта Кимуры. Солдаты выгнали людей из хибар на улицу и обнаружили среди прочих Акиро, внешность которого говорила сама за себя. Кимура устроил ему прилюдный допрос с пристрастием. Акиро, отводя угрозу жестокого уничтожения от каторжан, с которыми он прожил вместе долгие годы, сообщил, что пятнадцать лет назад при отступлении он случайно отстал, заблудился, забрел в холодное болотистое место, промок и сильно заболел. Едва живого его нашли местные охотники и принесли в поселение, где ему дали кров и вылечили. Лейтенант выслушал легенду и принял Соломоново решение оставить поселянам жизнь, в благодарность за спасение императорского солдата, а самого солдата расстрелять за дезертирство. Арсений, которого Акиро с детства учил своему языку, все понял и рванулся к отцу, но мать его удержала, обхватив руками. Она поняла приговор без перевода. Акиро встал спиной к стене дома, в котором он прожил с любимой женщиной пятнадцать лет и в котором у него родился сын, а напротив него выстроились пятеро солдат с винтовками. Ульяна со словами «Прости сынок» поцеловала Арсения, передала его в руки своему отцу, моему прапрадеду, и вышла из толпы поселян, чтобы быть рядом со своим мужем, потому что раз и навсегда поклялась ему «любить, заботиться и подчиняться в горе и радости, в богатстве и бедности, в здравии и болезни, пока смерть не разлучит нас». Она усилила церковную клятву, заменив наречие «пока» на союз «и». Акиро и Ульяна обнялись, а потом развернулись лицом к построившимся для расстрела солдатам, обхватив друг друга за плечи.

— Сын, никогда не теряй лицо! — крикнул Акиро. — Прощайте, люди добрые!

Солдаты прицелились, каторжники принялись креститься, прапрадед крепко прижал Арсения к себе и закрыл ему рот ладонью, лейтенант Кимура взмахнул рукой и грянул залп.

Арсений, предав земле убитых родителей, ночью ушел из поселения, обитателей которого возненавидел, и стал тенью лейтенанта Кимуры. Мой тринадцатилетний дед незаметно сопровождал Кимуру во время всей карательной экспедиции по Острову и вынашивал план мести. Две столь разные крови, смешавшись в моем деде, довели до предела его неистовую и всепоглощающую ненависть. Простое физическое уничтожение Кимуры не могло принести удовлетворение. Лейтенант Кимура должен был потерять лицо, испытать отвращение к самому себе и подохнуть как бездомная собака.

Сама жизнь подсказала Арсению, как осуществить свой замысел. Кимура, следуя привычкам богатой и знатной семьи, выписал повара для приготовления *фугу* — «речной свиньи», ядовитой рыбы из семейства иглобрюхих, обычно бурого скалозуба. Извините, если напомню, читавшим В. Овчинникова, что одно из необычных удовольствий при употреблении этого блюда заключается в пребывании на грани бытия и небытия: «отнимаются ноги, потом руки… деревенеют челюсти и язык, способность двигаться сохраняют только глаза. Потом все оживает в обратном порядке…». Печень *фугу*, тем не менее, не используют: в ней самая высокая концентрация яда тетродотоксина. Кимура проверял качество сырой рыбной нарезки из спинки *фугу*, заставляя повара съедать несколько прозрачных кусочков изысканного блюда, после чего один запирался в столовой, чтобы никто не воспользовался его беспомощностью во время таинства онемения. Арсению удалось через черный ход проникнуть на кухню, благодаря надвигающимся сумеркам и перемещениям повара. Выбрав момент, он опустил в кувшин с рисовой водкой крошечный кусочек печени, уже разделанной рыбы. Из кухни Арсений прошмыгнул в столовую и спрятался за портьерой. Несмотря на свои представления об устройстве дома, месте отдыха и сна, Кимура не стал возиться с временным жилищем, отобранным у врага, что несколько упростило задачу для Арсения. Стоя за портьерой с зеркалом в руке, он слышал, как пришел Кимура, потом повар, как щелкнул замок закрываемой двери и легкий шорох деревянных палочек. Наконец наступила полная тишина, если не считать бешеного стука сердца. Арсений осторожно отодвинул портьеру, и, увидев, что Кимура сидит не шевелясь, вышел из укрытия. Мой юный дед придвинул кувшин с рисовой водкой и прислонил к нему зеркало, так чтобы любитель *фугу* все время видел свое лицо, распахнул окна в столовой настежь и сел на свободный стул напротив неподвижного Кимуры. Глядя вначале в удивленные, а затем злые глаза своего врага, Арсений время от времени с помощью деревянной палочки смачивал его губы водкой. Кимура до утра не выходил из оцепенения, и мухи, налетевшие через открытые окна, облепили омертвевшее лицо сплошной мерзко шевелящейся массой, превратив его в гниющее месиво. В глазах Кимуры, наблюдавшего в зеркале за этим чудовищным превращением, появилось отчаяние — ему не суждено было завершить путь воина со спокойным и достойным выражением лица. Гордыня, а вместе с ней, и цель его жизни были повержены.

Рано утром, перед тем, как выпрыгнуть из столовой через окно, Арсений сказал Кимуре:

— Это месть за мать и отца убитых тобой, но ты смерти от моей руки не достоин. Оставляю тебе жизнь без лица. Мухи слетелись на падаль!

— Ну, что же, настало время моего вещания, — начала Ольга. — Моя повседневная тема «Преступление и наказание», но, на этот раз, вне рамок закона.

Черный кот, белая голубка... (история Ольги)

Как-то надо было успокоить трясущиеся руки. Вряд ли неопытный глаз заметит бешеное биение сердца под белым халатом.

«Сама пришла! Сама пришла! — повторяла про себя Виктория. — Нет, это Кто-то привел ее ко мне!»

Катя, молодая женщина, сидящая напротив нее, светилась счастьем и без умолка щебетала. Она ждала ребенка от любимого мужчины, — как случайно выяснилось, — бывшего мужа Виктории.

«Так, положить руки на стол и успокоиться. Нет, невозможно сосредоточиться. Из-за этого кобеля я избавилась от ребенка, и у меня никогда не будет моих мальчиков, девочек, двойняшек, близняшек... Никого и ничего, кроме ежедневной боли, как напоминания о моих не рожденных детях. Теперь эта двадцатилетняя курица рассказывает мне какой Он, какой Он. Стоп!»

— Я хочу сделать ему сюрприз: ничего не скажу, ничего не покажу, пока не рожу. Вот стих сочинила, — счастливая Катя засмеялась.

— Ваш муж не знает, что Вы ждете ребенка?

— Еще не муж, вернее гражданский муж, и еще не знает. Он сейчас в Штатах. Я выйду его встречать с ребеночком на руках. У него дух захватит.

«Еще как захватит! Захватит от того, что я тебе на руки выложу. Стрептомицин внутримышечно. Ребенок родится глухим и никогда не услышит ласковых слов матери и отца, а когда с трудом научится говорить, то родителей от его хрипа «мама» и «папа» будет так выворачивать, что они его возненавидят. Пусть будет так!»

— Два раза в неделю приходите на уколы. Сестричка у нас молодая, и оставляет на теле болезненные синяки. Я сама буду делать Вам инъекции поливитаминов.

Виктории вдруг стало нестерпимо душно, и она приоткрыла окно, чтобы не включать кондиционер. Катя уже расположилась на кушетке, заголив розовую попку, а Виктория уже подняла наполненный шприц на уровень глаз, чтобы выдавить остатки воздуха с первыми каплями раствора, когда влетевший через открытое окно огромный черный кот выбил шприц у нее из рук и приземлился на тумбочку рядом с кушеткой.

— Демон, откуда ты взялся? Проголодался? Я же тебя недавно кормила, — принялась Катя отчитывать своего спасителя.

Черный кот даже не повернулся в сторону хозяйки. Зеленые глаза неотрывно и грозно смотрели на Викторию, и она ясно поняла, что если еще раз попытается приблизиться к Кате со шприцем, то Демон не будет шипеть и выгибать спину: просто прыгнет на грудь, вцепится зубами в глотку, а когтями будет выцарапывать глаза.

«Черти тебе помогают, — подумала Виктория. — Это не просто демон. Это настоящий Люцифер».

— Вот что, Катя, — произнесла вслух Виктория. — Вы разберитесь со своим ревнивым Демоном, а то он меня загрызет, и приходите завтра.

Когда Катя, забросив на плечо кота, ушла, Виктория закрыла дверь кабинета и спустилась во внутренний скверик. Надо было собраться с мыслями. Она села на лавочку и прикрыла глаза, но легкое движение за спиной и мягкое касание правой щеки вывело ее из полудремы. У ног Виктории приземлилась белая голубка, закружилась на месте и страстно заворковала. Виктория не любила голубей, считая их наглыми летающими крысами, но возле нее приземлилась не птица.

«Эта белая голубка — чистая душа Кати, маленькой девочки-женщины. И ангелы, и черти встали на ее защиту. В чем она виновата передо мной? В чем виноват ее будущий ребенок?»

Когда на следующий день Катя появилась в дверях кабинета, Виктория, уставившись на нее немигающими глазами, объявила:

— Вам придется обратиться к другому специалисту! Оказалось, что Ваш мужчина и мой бывший муж — одно и то же лицо. Обойдемся без подробностей. Надеюсь, что Вы меня поймете.

Катя подошла к столу и поцеловала Викторию в лоб.

— Извините, — прошептала Катя уходя.

Прошло полгода, и в вечерних теленовостях появились практически подряд два репортажа, при просмотре которых Виктория обожглась горячим чаем.

В первом девушка журналист рассказала о том, что жители одного из домов, расположенных рядом с женской консультацией Виктории, вызвали полицию из-за непрерывного истошного крика младенца. Мать-одиночка никак не отзывалась, и когда вскрыли дверь однокомнатной съемной квартиры, то обнаружили, что молодая женщина мертва. Не выдержало сердце. Спасенного от голода младенца отправили в Дом ребенка.

Второй репортаж оказался необычным даже для криминальных новостей. Владелец дома на Денежском шоссе стал жертвой нападения черного кота. Кот набросился на мужчину, когда тот вылезал из машины. Телохранитель, опасаясь, что ранит человека при выстреле, в первый момент, попытался руками оторвать налетчика от его жертвы, но не смог. Кот, прежде чем его застрелили, успел перегрызть мужчине горло и выцарапать глаза.

Виктория забрала мальчика из Дома ребенка. Других претендентов на усыновление не было. Мальчик ничего не слышал. Когда Виктория катила коляску с ребенком через парк, на плечо ей села белая голубка.

— Не волнуйся, Катя. Наш мальчик больше не будет кричать от голода, и слух восстановится. Мои демоны тоже очень сильные.

— Старшее поколение закончило свои истории, — констатировала Алиса, — а дождь, как видите, только усиливается. Теперь черед молодежи, и я предлагаю дать слово самому младшему — Владику.

— Всегда готов, — откликнулся Владик. — Есть много сказок о войне птиц и зверей, но я расскажу свою.

Слоновья «лепешка» (рассказ Владика)

В одном из самых больших зоопарков мира, ну там, Торонто или Коламбуса, случился карантин. Свинью свалил грипп, и лежит она себе с градусником в жо, извините, в заднице и курит бамбук, а посетителей в зоопарк из-за нее не пускают.

— Владик, — прервала внука Алиса, — давай без ярких подробностей. — Не будем ориентироваться только на молодежную аудиторию. У нас не Comedy Club.

— А куда еще свинье можно градусник поставить? — резонно заметил внук. Не подмышку же?

Вот слоняются животные из угла в угол и ни черта не делают. Людей нет и пялиться не на кого. Короче, скука, и от полного безделья начинают ссориться.

На таком безрадостном фоне воробей Джек и мышонок Джон не поделили кучу, другими словами «лепешку», которую наложил слон Дональд.

— Я первый «лепешку» увидел, когда заходил на вираж над вольером, — зачирикал Джек, наскакивая на мышонка.

— А я с утра за Дональдом присматривал. Моя куча, — запищал Джон, раздувая усы. — Иди нах отсюда.

— Алиса-баба, это не я, это мышонок с воробьем ругаются, — пояснил Владик.

— Пусть ругаются, но базар фильтруют. Не всем животным в зоопарке нравится обсценная лексика, — провела корректировку Алиса.

Тут откуда-то нарисовалась старая жаба Ага и сказала:

— У вас обоих нет прав на «лепешку», вы не жители зоопарка.

— Не надо ля-ля, — сказал мышонок. — Я здесь родился. Все знают мою маму.

— Наглый какой, — захрипела жаба. — Не знаем мы, Твою мать. Сейчас Кота Базилио позову, он вам обоим хвосты оторвет. Нажрутся всякого дерьма, а потом хулиганят.

— Базилио, он же Василий, он же Васька из службы охраны, судьей быть не может, — возразил мышонок Джон.

— Да, не может, — поддержал воробей Джек, у которого были свои счеты с Васькой.

— Ладно, — внезапно согласилась Ага, — обойдемся без кота. Позовем ЗЗЗ, — знатока законов зоопарка, — лису Алису.

— Извини, Алиса-баба', за совпадение, — лукаво улыбнулся Владик.

— Не сомневаюсь, что это проделка А.Н. Толстого, с его «Золотым ключиком» — подтвердила бабушка Алиса. — С другой стороны, все-таки лиса, а не ехидна.

— Так, — вынесла вердикт лиса Алиса, — кто кучу наделал, тот ею и распоряжается.

— Вот это по закону! — закричали собравшиеся вокруг слоновьей «лепешки» звери. Послали за Дональдом шакала.

— Это не я сделал, — стал отнекиваться притопавший Дональд и покраснел.

— Он! Он! — запищал мышонок Джон.

— Сейчас дуну хоботом и станешь летучей мышью, — пообещал слон.

— Здрасте вам, — удивилась лиса. — А наделал кто? Конь в пальто?

— Вот как лягну в пятак! — заржала кобыла Пржевальского. — Все утро муж был рядом со мной.

— Это кто у нас такой крутой, что в пятаки лягает? — свирепо хрюкнул кабан Билл.

— Стоп, кто-то же забрался в вольер к слону и подложил ему свинью? — продолжила расследование лиса Алиса.

— Ааа, — завизжала свинка Моника, — сейчас всех порву.

— Извини, — сказала лиса, — это фигура речи. Остается одно — материал упал с неба, и, судя по его количеству, работала команда. Стая птиц.

— Вот, я и говорю, что куча наша! — поддакнул воробей Джек и добавил с пафосом. — Мы дети воздуха! Мы небесная рать!

— Можем всюду на…рать, — срифмовал мышонок Джон и поплатился за поэтический талант.

Рыжий Джек больно клюнул Джона в нос. Джон не остался в долгу и вырвал у Джека перышко.

— Эти птицы, особенно воробьи, вечно срывают чужие грибы. Вот ежик не даст соврать! — влезла в потасовку белка и запустила в воробья орехом.

— Сама в прошлом году, в субботу, стащила у меня шишку, — вступился за воробья клест, сидевший на елке, подлетел к белке и дернул ее за хвост.

— А лиса стащила у меня кусок сыра! Это все знают, даже дети, — ворона *каркнула во все воронье горло.*

В общем, началась зверская драка на территории отдельно взятого зоопарка. Стали собирать войска, и запутались с принципом отбора. То ли

воздухоплавающие против землебегающих. Тогда на чьей стороне пингвин и страус? То ли яйцекладущие против млекопитающих. Тогда на стороне воробья крокодил и комодский варан, а на стороне мышонка тюлень с моржом. Совсем не равноценные наемники, тем более, что лев Карл отказался воевать.

— Оно мне надо, сражаться из-за дерьма, чье бы оно ни было?

Проблему решил мудрый филин Ганди.

— После обеда Дональд наложит еще одну кучу, и дерьма хватит на всех, — проухал Ганди.

— И то правда, — согласились звери, и война закончилась.

— Молодец! Неплохо для твоего возраста, — похвалила Анна покрасневшего Владика и погладила по голове, — а то я думала, что придет орангутанг в халате доктора Пилюлькина и напечатает кому-нибудь оторванные лапки на 3Д принтере.

И Владик покраснел еще больше.

— Ну, теперь моя веселенькая история, — добавила Анна, мельком взглянув на маму Ольгу.

Кактусы не плачут (история Анны)

Кармен и Оле дружили молча. Без слов. Кармен получила имя в перерыве между оперными действиями. Во время ее рождения бабушка Аида слушала в театре соответствующую оперу Ж. Бизе, а папа Спартак смотрел на стадионе футбольный матч любимой одноименной команды с ненавистной командой «Динамо», пока мама Света, говоря высоким слогом, разрешалась от бремени в машине «Скорой помощи», застрявшей в пробке. Аида увидела СМС о рождении внучки и в перерыве нашла время позвонить Свете, которая приходилась ей невесткой, со строгой рекомендацией, как назвать ребенка. Надо думать, что, если бы родился мальчик, то получил бы имя Хозе. До папы мама не достучалась, видимо болельщики орали на полную громкость или матч был решающим, и папа никак не мог отвлечься, но оно и к лучшему, потому что девочка могла, в соответствии с его пожеланием, получить имя Спарта или, в крайнем случае, Торпеда, ну хорошо, конечно, что не Динама. Своим родителям Света звонить не стала: в деревне под Иркутском была еще ночь и к телефонам в ближайшем почтовом отделении никто бы не подошел. Не до смартфонов, когда воду носят из колодца. Не прошло и года, как Аида и Спартак освободились от Кармен и Светы, которые шумели и мешали наслаждаться высоким искусством и большим спортом. В конечном итоге, они обе оказались в шестиметровой комнате густонаселенной квартиры. Их жилищные условия через десять лет никак не изменились, хотя Кармен уже не лежала в коляске, а ходила за знаниями в школу. Что касается мамы Светы, то она несколько продвинулась по служебной лестнице, и работала аж старшим кассиром в супермаркете. Судьбоносная встреча с Оле состоялась в канун *Нового года*.

— Мама, давай не будем на этот раз ставить елку, — попросила Кармен. — К окну не подойдешь.

— Хорошо, — согласилась Света, — но что ты предлагаешь вместо нее?

— Кактус, — сказала Кармен, — он тоже вечнозеленый и колючий. Прицепим ему на макушку звезду, и будем водить вокруг него хороводы.

— Кактус, так кактус, — кивнула Света, и они отправились в магазин «Зеленый друг».

Кармен обратила внимание на Оле, как только вошла в отдел суккулентов. Зеленый шар с радиальными колючками, украшенный на макушке

серебристым цветком, отвернулся от покупателей и смотрел в окно. Кармен попыталась к нему прикоснуться, и кактус ... втянул в себя колючки, как котенок коготки.

— Я знаю, тебя зовут Оле! Хочешь, мы заберем тебя к себе? — шепнула Кармен.

Шар в ответ раздулся, немного, но заметно. Со временем выяснилось, что, Оле так поступал, когда с чем-то соглашался, а если он с чем-то не соглашался, то слегка сдувался. Нельзя сказать, что, дополнив семью, он помогал Кармен выполнять школьные задания или готовил ужин вместе с мамой Светой, но его присутствие совершенно точно скрашивало их достаточно однообразное существование. Странные сны снились теперь Кармен: то она шагала внутри прозрачного колючего шара-зорба, который катился по земле или плыл по воде, то летала над лесами и горами в корзине колючего воздушного шара. Однажды ей приснилось, что во время ливня она спряталась под громадным круглым кактусом, и со всех сторон стекают теплые прозрачные струи воды. В конце января мама Света заболела гриппом, и из-за высокой температуры ее одолевала сильная жажда. Кармен, несмотря на протесты больной Светы, прикорнула возле нее, и в полудреме увидела растрескавшуюся от недостатка влаги землю и кактус, к которому подлетали усталые птицы, и пили его зеленый сок из проклеванного отверстия. Утром обнаружилось, что один из бугорков-туберкулов кактуса источает зеленую жидкость. Кармен собрала ее пластиковой ложечкой, и размешала в стакане с водой, из которого поила маму. К вечеру мама Света резко поправилась. Оле пережил зиму на подоконнике, но весной Кармен стала выносить его на прогулку в прозрачном пластиковом ведерке. Она не могла брать Оле с собой в школу, но закончив школьные занятия, уже не расставалась с кактусом, верным другом и мастером дельных советов, и по вечерам заходила вместе с ним за мамой Светой в супермаркет.

Как-то в апреле, перед закрытием, когда Света обслуживала последних покупателей, к кассе подошел запыхавшийся мужчина.

— Какой красавец, — восхитился незнакомец, увидев Оле в ведерке, стоявшем возле кассового аппарата. — Мне как раз нужен подарок для дочери. Она увлекается колючками. Пробейте, еще, этот кактус.

— Оле не продается, — сказала Кармен.

— Ты за что-то обиделась на мою дочь и предлагаешь не продавать ей кактус? — удивился незнакомец.

— Я не знакома с Вашей дочерью Олей, — догадалась Кармен. — Это его зовут Оле, — сообщила она, указывая рукой на кактус.

— Ага, он не товар супермаркета, но, может быть, ты мне его продашь? Я сниму в банкомате наличные. Сколько ты за него хочешь?

— Вы не поняли, — вежливо подключилась мама Света. — Это друг моей дочери, а друзей не продают.

— Верно! — подтвердил незнакомец, запихивая покупки в рюкзак и разглядывая Кармен и маму Свету. — Но друг ваш необычный. Колючий. Вы не любите пушистых и гладких?

— Кот или собака сдохнут на наших шести квадратных метрах, — сказала Кармен.

Незнакомец материализовался следующим вечером, но не один. С ним была девочка лет девяти.

— Добрый вечер! — поздоровался мужчина. — Вот, привел Олю посмотреть на Оле.

— Это маммиллярия Кармен, — сообщила девочка, рассматривая кактус.

— Чудеса какие-то! — воскликнула мама Света.

— Почему? — поинтересовался Олин папа.

— Потому, что это мое имя, — улыбнулась Кармен, — и было бы еще смешнее, если бы Вас звали Кактус, а мою маму Маммиллярия. Однако ее зовут Светлана.

— Это тоже смешно, — грустно возразила Оля. — Папу зовут Светослав — славящий свет. Не смешно, что этому Светославу через месяц надо уезжать на историческую родину этого милого кактуса, в мексиканский штат Тамаулипас, разрабатывать месторождение нефти, и меня с собой он взять не может, а жить у бывшей бабушки, маминой мамы, я, бывшая внучка, не хочу.

— Знакомая история! — оценила Кармен заявление Оли и сделала свое заявление, обратившись к Светославу. — Вот что! Мы с Оле можем подстраховать Ольгу: будем отводить в школу и забирать из школы, только Вам надо будет официальные бумаги оформить. Поможем приготовить еду и проверим домашние задания. Я очень хозяйственная и надежная, вот мама подтвердит.

Мама Света промолчала. Заговорил папа Светослав:

— Вообще-то вы бы нас здорово выручили, если бы месяц, в течение которого я буду отсутствовать, пожили у нас в квартире, купленной неделю назад. В ней три большие отдельные комнаты.

— Bueno, hermana, приехали. Вот она — земля маммиллярий. Не будем углубляться и искушать судьбу: это еще зона наркоторговцев, и полиция сюда не суется, — высокая девушка лет шестнадцати в белой рубахе и белых джинсах остановила мотоцикл и сняла шлем.

— Да ладно, — произнесла крепкая девушка лет четырнадцати в черной майке, черных спортивных штанах и с плетеным коробом за плечами, слезая с заднего сидения мотоцикла и снимая шлем. — Кое-что мы тоже можем.

— Ну да, — засмеялась старшая сестра, — можем пули руками ловить.

Она помогла младшей сестре снять с плеч короб.

— Все, теперь я сама, — младшая достала из короба маленькую лопатку и сделала в твердой почве небольшое углубление, потом достала пластиковую бутылку с водой и увлажнила взрытую землю.

— Теперь вдвоем! — скомандовала она.

Сестры бережно вытащили из короба и поместили в углубление горшок с маммиллярией, вернее семейством маммиллярий.

— Bueno, hermano, будем прощаться! — сказала Кармен, обращаясь к кактусу. — У тебя теперь своя большая семья, а нам вместе со Светами надо возвращается.

Она взяла у Ольги лопатку и несколькими ударами разбила горшок на черепки. Вдвоем они разровняли землю вокруг маммиллярий и стали на колени.

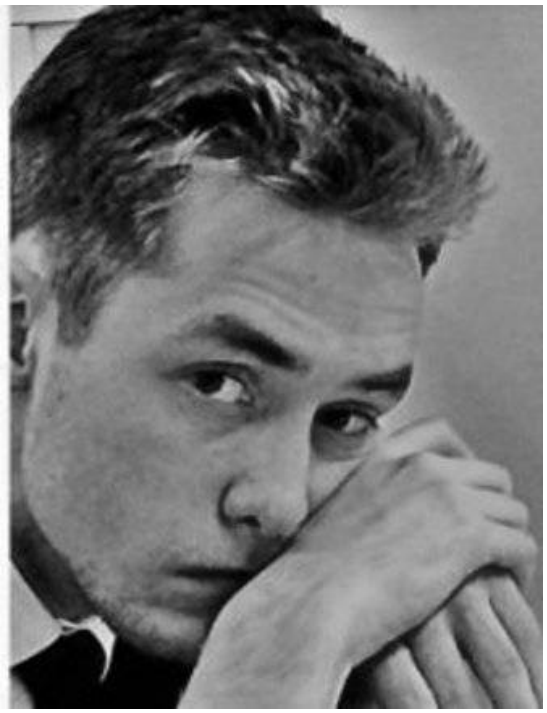
— Оле, наш колючий ангел, спасибо тебе за все, — сказала Ольга и заревела.

— Кактусы не плачут! — Кармен обняла сестру за плечи, подняла ее с колен и, не оглядываясь, потащила к мотоциклу, прихватив свободной рукой опустевший короб.

— Прости, дочь! — вдруг сказала мама Ольга и поцеловала Анну в лоб.

— И ты меня прости! — откликнулась Анна и обняла маму Ольгу за шею.

Максим Сентяков Поэма «Турнюр»



Максим Сентяков родился 9 марта 1993 года в городе Ижевске. В 2015 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «юриспруденция». Пробовать себя в литературе начал в 14 лет. Автор четырёх сборников: книга стихов «Белые перчатки» (2010); книга стихов «Алая ткань» (2011); двухтомный сборник драматургии, поэзии и прозы «Зелот» (2013); сборник повестей «Бои» (2014). Участвовал в публикациях различных творческих объединений: альманах «Прикосновение»; альманах «Строки…»; также публиковался на страницах литературных газет и журналов: Интеллигент, Луч, Новая литература, Северо-Муйские огни; Культурный слой и т.д. Являюсь создателем и вдохновителем творческого объединения «Поэты Ртутного Века».

Это роспись купола, где множество фигур идут, летят, обнимаются, сражаются, рыдают над трупами в сожженном Содоме, ждут, как удара колокола, поля Куликова...

"Я ныне наслаждаюсь бренным пиром,

Целуясь с комиссаршею в ЧК!"

Догадываешься, да поздно: это же гигантский портрет России, только величиною с целый нецерковный купол, — и кто поручится, что купол этот не бок, не выгиб выжженной Луны?

"Я с грустью озираюсь на пустоты,

И соколом, изведавшим высоты,

С небес несусь — непонят, но спасён..."

Максиму Сентякову внятно многое: подобно Блоку, что слышал "музыку революции", он слышит, как свистит ветер эпох, и слышит, как смещаются времена. Чем-то эта поэма сродни "Северовостоку" Максимилиана Волошина...

Елена Крюкова

I.

Я изгнан мглою пыльной черепков,
Я в списке Рима третьего указан,
И, словно мир клеймящая проказа,
Щажу слепых и верю в дураков.
Мне радостно прокладывать тропу
И следовать во тьме за очагами,
Кто создан непотребными руками –
Да будет уподоблен ввек рабу!
Но даже плеть порой не может сбить
Порывов оказаться в блеске вечном,
В пути величия: возвышенном и млечном
Застынет одинокий смелый гридь
В кольчуге из таинственных прядей,
Колец и снов обманщицы-наяды,
Отбросившей с себя в ночи наряды
И образы предсказанных путей.
Я истину глотаю жадным ртом,
Вновь в ужасе дразнящего припадка,
Как мир клеймит златая лихорадка,
В Гоморру крашу выжженный Содом.
От стен к стене шатаясь и скорбя,
Покинутым смеяться, пав на троне,
Моей бумажной вверенной короне
Не хватит лишь насмешек от тебя.
Сей град пропит, покинут и снесён,
Я с грустью озираюсь на пустоты,
И соколом, изведавшим высоты,
С небес несусь — непонят, но спасён.
Желанною дорогой дум и сечь
Брести, не ожидая пули в спину,
Святой да уподоблен будет крину,
Держащему без дела верный меч.
Мне путь открыт, но кони задрожат,
Не мысля отправляться в мглу ночную,
Я воздух, как амброзию, смакую,
Желания спрягая в новый лад.
А здесь блуждать — царём ушедших слуг,
Отвергнутым клочком порочной сути,
Послушайте, обманутые люди,
Неужто страсть дороже вечных мук?
Я, спутавшись, сойти спешу с ума,
Играясь оглашённым приговором,
Моим уставшим полным болью взором
Несётся в мир клеймящая чума!

II.

Оковы ждут запястий венный ток,
Впиваясь, как младенцы в грудь кормящих,
Да будешь бит! Покинутый пророк,
Нашедший правду в смирной стойке ног,

Стерявшийся во днях доселе бдящих!
Людской порыв — вымарывать родство,
Сокрывшись, да кряхтя в углу обжитом,
С поганым и суровым гадким видом,
Пропить старайтесь, братья, мастерство!
Улыбкой рабской злого дурака
Предательски себя ввожу кумиром,
И путником богатым (то бишь сирым),
Я ныне наслаждаюсь бренным пиром,
Целуясь с комиссаршею в ЧК!
Расстрел бы завершил пустую ложь,
Пробив поток сердечного изгиба,
«Ты может, будешь бит за правду, либо…
Сойдёт с небес на фибры тьмою дрожь!»
Великим станет всякий, но не всяк
Обманутым помрёт в своём загоне,
Я руки простираю вверх во стоне,
Уже октябрь! Снова на сносях,
Чекистка по-буржуйски спит в вагоне!
Так веруй! И прими до рвотных масс,
Стремящихся, как люд, пройти наружу:
Щенков бросаю в реку, а не в лужу,
И в мгле ищу убийцу бегом глаз!
Лишь слава воздаёт за сотни дней,
Потраченных в рождениях и крахе,
С голов слетают скальпы и папахи
Обилием погашенных огней.
Открыть дворы и выпустить зевак,
Играть струной лобзающих попыток,
В пустых словах исписанных открыток
Мозаика слагается во флаг,
Дрожащий шпилем в воздухе пустом,
Зовущий попытаться и влюбиться,
Как медленно худеют в ветре лица,
Махая в след руками и хвостом!

III.

День кушаком обвил
Чресла манящие ночи,
Хладом сменяется пыл,
Пылом порок опорочен,
Хладом порочный простыл!
Финтий, увы, убежал,
Казнь свершена над невинным,
Гимном потопа старинным,
Скоростью лезвий и жал,
Рёвом взывающе-львинным,
Глас в темноте вопрошал:
«Пасть не стремиться вовек,
С рук не кормясь дорогого
Мира глупцов и калек?»
Видишь! Грядёт Куликово!

Ирина Сумарокова. Эпизоды безразмерной жизни. Роман

Продолжение. Начало в №№ 10 и 11

Сумарокова Ирина Николаевна. Окончила МГУ исторический факультет (отделение истории искусств). Автор нескольких десятков сценариев научно-популярных фильмов («Центрнаучфильм»). Очерки, посвящённые творчеству русских художников, публиковались в журналах «Творчество», «Детская литература», «Истина и жизнь» и др. Сотрудничала в качестве репортёра по культуре на радиостанции «Свобода» (США, Нью-йоркское отделение). Переводы с английского и болгарского языков публиковались в журналах «Иностранная литература», «Знамя» и др., а так же в составе сборников, выходивших в издательствах «Художественная литература, «Радуга», «Советский писатель». Пьеса «Приключения чародея» положена на музыку и поставлена Тверской Государственной филармонией (2001г.) Повесть «Большая картина» опубликована московским издательством «Арт-хауз-медиа» в 2009 г. Проза публиковалась в журналах «Зарубежные задворки», «Предлог», «Коростель», «Особняк». Повесть «Купальщица» вышла во 2-м номере журнала «Артикль» (Израиль). Готовится к изданию сборник новелл «Красные розы Казановы» Член Союза Писателей Москвы. Много путешествую. Живу и работаю в Москве.

Реальность вырастает из фантастики, или фантастика есть порождения нашего реального мира?
На это никто и никогда не даст ответа.
Люди любят волшебство. А еще люди любят игру — даже взрослые, мы тянемся к игре, как дети, она для нас — подобие счастья и возможность выхода там, где, кажется, выхода нет.
Герои романа Ирины Сумароковой "Эпизоды безразмерной жизни" — в каком мире они живут и действуют? Несомненно, в волшебном. Но нереальный мир внезапно, в иных эпизодах, становится отчетливо узнаваем — волшебная сказка становится беспристрастным зеркалом нашей с вами жизни, и тогда над строками этой искрометной фантастики стоит серьезно задуматься.
Сколько измерений стоит за нашими плечами? Какие миры могут нам вдруг открыться?
Многопластовый этот роман, смешение правды и выдумки, и дает нам, и не дает вожделенный ответ...

Елена Крюкова

Наташа нервничала. Как объяснить госпоже Толстой, встречи с которой она до неприличия домогалась, что у неё в распоряжении всего пятнадцать минут? Не признаваться же, в самом деле, что ты вампир, и, что ещё непригляднее, официантка найт клаба, и, в силу этих причин, должна втиснуть беседу с ней и два авиаперелёта в короткий временной промежуток между конечным моментом захода солнца в двадцать один тридцать шесть и началом рабочего дня в ноль часов. Вообще-то

рабочий день, вернее, рабочая ночь, у неё начинается в десять вечера, но она отпросилась до полуночи, сославшись на семейные обстоятельства. А встречу откладывать нельзя. Другого времени у Толстой не будет. Ей, как она сказала по телефону, принимающая сторона «сдъелала бьеспрерывный распорьядок».

Прибывшая из Пенсильвании на Толстовские торжества Марьяна Марковна Толстая, родственница Льва Николаевича Толстого, и известный в узких кругах толстоведов инициатор переводов «Войны и мира» на языки исчезающих народностей, остановилась в Туле, в элитном гостиничном комплексе. Наташа надеялась, что Толстая прольёт свет на обстоятельства, при которых Ростовы сделались вампирами. А тогда откроется Причина, и можно будет со всем семейством вернуться в текст.

Чтобы сэкономить полторы-две минуты, она заранее оделась в рабочее: мини-юбка, белая блузка навыпуск, чёрные туфли на высоких тонких каблуках, обувь, при их беготне по скользким полам опасная для жизни (у кого она есть); в ушах — бижутерные серьги «под серебро» (***натуральное*** серебро вампирам, мягко говоря, не рекомендуется).

Закрыв глаза, Наташа Ростова мысленно рассредоточилась по всем измерениям и одновременно сжалась в бесконечно малую точку. Это ужасное ощущение хуже, чем боль: тебя словно раздирают мощные, противоположные по направлению усилия. Человек сразу бы умер, а вампир терпит. Но хуже всего даже не это, а личностная паника в момент преображения.

Убедившись, что её человекоподобный абрис полностью рассосался, Наташа приняла стартовую позицию.

Но вот досада! Из гроба маман послышался треск…

Обычно, пробудившись, маман ещё долго полёживала, смакуя воспоминания о барской жизни. А тут словно почуяла что-то и, как назло, уже выпрастывалась наружу. Вслед за маман пробудились и остальные. Сейчас начнут приставать с пустыми разговорами. До чего ж не хочется дерзить, да видно придётся.

— Куда ты, право, устремилась? — вскричала маман, поправляя слежавшийся на днёвке шиньон. — Нам же надо в клаб!

— У меня дела, — ответила туманность и колыхнулась в сторону открытой двери.

— Без тебя нам не найти дороги! Уж больно далёк клаб от нашей Подмосковной!

— Вы каждую ночь туда летаете, так что обойдётесь без провожатого. Можно подумать, вы всё ещё господа из эпопеи! И перестаньте называть подпол сгоревшей лачуги из брошенной деревни ***нашей Подмосковной!***

— Как можешь ты подобным образом с нами обходиться?! Оставляешь нас одних, а между тем мы воистину беспомощны в этом страшном столетии…

— Перестаньте, маман. Мы и есть самое страшное в этом столетии. И не утомляйте себя лицемерием. Ничего с вами не случится. Будет как всегда: пососёте чьей-нибудь крови, посудачите насчёт вульгарности своих жертв и уляжетесь на днёвку.

— Мон анж, ты слышишь, какие чудовищные вещи говорить мне наша дочь?

Маман наклонилась над мужем и, поддерживая его под бока, помогла вылезти из гроба.

— Ничего, душенька, — кряхтел старый Ростов, по одной вытаскивая

свои ноги обеими руками. — Ежели вам с дочкою нужны деньги, так я тотчас распоряжусь. Вот только кликну управляющего.

— Ты совсем выжил из ума, Илья Петрович, — вздохнула маман. — Давай-ка я…

Петя и Николай на ощупь оглаживали на себе волосы и одежду, громко жалуясь на отсутствие зеркал.

— Полно прикидываться! — возмутилась Наташа. — Вы очень даже в курсе, что зеркала не про нас.

…причешу тебя.

— Как ты смеешь разговаривать с нами, будучи в виде какого-то мокрого пятна! Немедленно контрпреобразись! — прикрикнула на младшую сестру Вера.

— Некогда! — огрызнулась Наташа.

И она стартовала, провожаемая восклицаниями негодующего семейства.

…Летела, облепив собою крыло пассажирского лайнера, выполняющего рейс «Москва-Харьков». Передвигаться таким способом мало радости. Каждая капля туманообразного тела истерзана от вибраций. А самое гадкое, что есть риск не полностью отлепиться от лайнера, и тогда понесёт потери твой человеческий облик: откроется какая-нибудь мерзкая ямка на спине, или не досчитаешься пальца. Но, даже благополучно отлепившись, расслабляться рано, потому что если на определённый промежуток времени не сохранить скорость лайнера — вихревые потоки разнесут тебя по клочкам в разные стороны, а тогда — прощай, жизнь вечная! И ещё одна опасность: если не успеешь приземлиться до восхода, от тебя останется горсть мутного конденсата, ибо солнце бьёт в бедного вампира прямой наводкой, независимо от того, в какой он ипостаси.

Вспомнился родимый текст: «Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки — туже, как можно туже, натужиться надо — и полетела бы. Вот так!» На корточки… под коленки… Посмотрел бы граф Лев Николаевич, каково на самом деле летается Наташе Ростовой…

Этот воздушный коридор был ей знаком. Она не раз им пользовалась, когда летала в Ясную Поляну. Искала там Причину. Но так и не нашла, хотя обшарила всё: шкафы, ящики, комнаты; проштудировала каждую бумажку от рукописных тестов до счёта за козловые ботинки для Софьи Андреевны. Станешь тут начитанной девушкой, как правильно заметил гость клаба, симпатичный упырёк с тихим голосом. Конечно, пользуясь почти неограниченными вампирскими возможностями, она могла бы прочесать не только Ясную Поляну, а и все архивы и библиотеки, какие только есть на свете. Проникнуть можно куда угодно — туманностью, кошкой, летучей мышью. Только вот бодливой корове Бог рогов не даёт: стопудовою гирей повисло на ней семейство. Нормальный вампир существует сам по себе: кормится, как может, развлекается, как хочет. А у неё, видите ли, неизбывное убеждение, что семейство без неё пропадёт. Похоже, всё ещё мучают фантомные проявления души книжной героини. Может быть, и влюбчивость её никуда не делась? Тот-то не идёт из головы встреча с вампирчиком, у которого нежный взор, приятный тихий голос и хорошенькие бархатные брови.

Наташа узнала Тулу по специфической композиции вечерних огней, сверху напоминающих криво обстриженный куст.

Осторожным рывком она отлепилась от лайнера, какое-то время летела с ним вровень, затем сверхусилием толкнула себя вниз.

Приземлилась снайперски: в самый центр надподъездного козырька

элитной гостиницы.

Выждав, пока отвернётся швейцар, наряженный Петром Первым, Наташа соскользнула по безголовой колонне эпохи конструктивизма на керамический коврик-новодел. Распластавшись, втянула себя в вестибюль и поползла вверх по лестнице. Поскольку люди, как правило, поднимались и спускались на лифте, она не боялась, что кого-нибудь встретит, и потому не прижималась к потолку (это тяжело и даже больно), а передвигалась, комфортно расправившись, в самой середине воздушного пространства лестничной клетки.

Всё шло хорошо, пока на четвёртом этаже не обнаружился мужчина, который почему-то спускался не на лифте, а по лестнице. Он был явно пьян, однако, углядел плывущую над ступенями туманность. Не успела Наташа сгруппироваться и подтянуть себя к потолку, как мужчина остановился и громко запел:

Я тучу разгоню руками,
Запрячу за семью замками…
Ты хрен найдёшь меня, ты мне поверь…
Я тучу разгоню, да разгоню теперь…

Он стал так размахивать руками, что чуть не нанёс Наташе опасную травму, но вдруг потерял равновесие, упал на лестничную площадку и, уютно свернувшись калачиком, тотчас уснул.

Не желая больше рисковать, Наташа прижалась к потолку и так добиралась до нужного ей восьмого этажа.

На этаже никого не было, кроме дежурной, которая сидела в противоположном конце коридора. Навалившись на стол и прижав к уху телефонную трубку, она что-то увлечённо шептала. Нет, дежурная её не заметит.

Возле искомой двери Наташа торопливо (и от этого особенно мучительно) контрпреобразилась; расправила вновь обретённые плечи; проверила, в порядке ли одежда и обувь. Похвалила себя: «Молодец, Ростова! Даже юбку не помяла!»

Постучалась.

— Войдите, пожьялуйста! — прокричали из номера в ответ на её стук. — Я в уборная! Простите мне.

Наташа приоткрыла дверь и поймала себя на том, что не входит, а вползает в комнату, словно она всё ещё в ипостаси туманности. «Многие попадались именно на таких пустяках, — забеспокоилась она. — Надо себя контролировать, а то какой-нибудь вампировед выследит и расправится по всем правилам науки — с чесноком, с втыканием осинового кола, с вытаскиванием на солнце….»

— Наташа? — раздалось из туалета.

— Да...

— Садитейс, Наташа! Я very скоро выйду!

Минуты — считанные-пересчитанные — уходили без толку…

Наконец, под звуки воды, спускаемой в унитаз, Толстая распахнула дверь из туалета. Она торопливо вытирала руки полотенцем, украшенным по краям этнической вышивкой. Крепко накрахмаленное, оно не впитывало влагу. Так и не осушив рук, она попыталась вернуть полотенце на крючок, но промахнулась; оно упало на мокрый пол и размякло. Марьяна Марковна протянула в Наташином направлении руки в тёмно-серых рукавах. Покрой её твидового костюма явно не был предназначен для таких ничтожных целей, как подчеркивание достоинств и

сокрытие недостатков фигуры. Он наглядно демонстрировал, что умственное содержание важнее анатомической оболочки.

Сделав шаг вперёд и обнажив зубы, слишком белые для её сильно загорелого морщинистого лица, Марьяна Марковна мокрыми пальцами схватила Наташу за обе руки и воскликнула:

— Здрайствуйте! Я искренне вас рада! Это восторг, что вы имеете имя героины эпопеи Лэв Николаевич!

Она ещё раз осияла Наташу шикарными зубами.

— Кола, сода, или чуть-чуть водка по русский обичай?

— Спасибо, Марьяна Марковна, ничего не надо. У меня очень мало времени. Я… эээ… читаю лекции… на вечернем отделении университета.

— О 'Кей. Душевно одобряйю! Мы, Толстыйе, льюбим, когда человек трудийся. Чем я вас обязана?

— Я изучаю «Войну и мир». Особенно мой… то есть тёзки моей характер. У меня возникла гипотеза, что у Наташи Ростовой была ещё какая-то жизнь, кроме той, что описана в романе.

— О, это не гипотиз! Это нечеловек…. нечелович… нечеловейческое прозрение! — вскричала Толстая и протокольным жестом президента страны, приглашающего присесть переговорщика-гостя, указала на бесформенное кресло с синтетической, под плюш, обивкой. Сама она села на стул и, поиграв глазами, шутливо пояснила:

— Моя Мэдэм Сижу льюбит твэрдый стул.

— В чём же заключается моё прозрение? — с плохо скрытым нетерпением спросила Наташа.

— Был варьянт, автором отрынутый. Когда Лэв Николаевич вышел из тёмный лес интуитивное сочинитьельство и познал своё великое рацио, он первоначальный варьянт велел уничтожить. Но Софи Андреевна рукопись попрятала. Когда потомки искали деньги — то нашли сей варьянт и sold в библиотека нэмэцкий город. Я не могу назвать where it is: это коммерческое таинство... Но могу чуть-чуть рассказать. Are you sure, что не хотите водка или чай, или, быть может, кола?

— Уверена… — Наташа едва сдерживалась, чтобы не зарычать своим фирменным рыком, от которого даже киллеры отключались.

Толстая достала из-за пазухи часы-луковицу на серебряной цепочке и поднесла их почти к самому носу.

— Время бежит, — она укоризненно покачала головой, — Того и погляди, прибудут леди, чтобы провождать меня на meeting с публика. Но немного время есть.

Сделав несколько лечебно-гимнастических движений шеей и плечами, Марьяна Марковна отпила два порядочных глотка из трёхсотграммовой бутылочки с «Аква минерале» и продолжала:

— В первоначальном варьянте Петья Ростов не едет на война и там не погибал, а достигал совершеннолетие и полюбил Соня. Оне бежали из усадьба, но Соня ментально опустела. Как сознательная жертва, она пошла на война и там устроила прообраз полевой госпиталь. В этот госпиталь Соня рожал мёртвый младенец. Вскоре она погибла из-за картечь. А Петья женился на некрасивая, многолетняя, но душевно-идеальная и материально-богатая вдова. У них родилось русский дюжина children. Двенадесеть. Петья взял на себя уход за все babies. Это превратилось в его функция number one. Он всё делал сам. Он придумал метод, как чище помыть пелёнки, чтобы даже одно пятно…

— Я поняла про Петю, — довольно резко перебила Наташа. — А как автор в этом варианте поступил с Наташей?

— О'Кэй! — Толстая энергично улыбнулась. — В первоначальном варьянте Наташа Ростова оставалась старая дева.Yes, она умерла молодая, но не настолько, насколько бывает возраст невеста. Во всех варьянтах она вдохновэнно танцевала русский и нэмэцкий танцы. Помните эти великие сценки?

Наташа нетерпеливо кивнула.

— Она до самозабвений обожал русские угодья, гуляла в лес, медитировала на дерево и трава, собирала дикийе букейты. И как-то один раз, в весёлый месяц май, когда она льюбовалась на поэзитический закат, с ветки на неё слетел ворона и проклевал горло. Тело нашли утром без никакая кровь. Доктор Шмольц дал эпикриз, что птичьий клюв насквозь урвал артерия, и, следовательно, кров вытекла. Реакцийя семейства описана гениально. Даже сильнее, чем смерть Иоанна Илыча. Для Наташа возвели склеп. Гусарский поэт Безил Денисофф сделал на склеп содержательная надпись в стихах о глюбокий and устремлённый характер Наташа. Очень скоро все Ростоффы начали тоже погибать. И тоже без кровь. Доктор Шмольц написал большая статья, что это был эффект очень сильного ментального сострадания, переходящий в смерть. О, вы где?

Наташи не было.

Марьяна Марковна немножко подождала, потом деликатно постучалась в туалет и, не получив ответа, приоткрыла дверь. В туалете Наташи тоже не было. Марьяна Марковна собралась, было, недоумевать, но тут начали телефонировать.

Вскоре приехали четыре застенчивые дамы и увезли Толстую на собрание читателей. В автомобиле было невыносимо тесно, потому что все дамы, включая даму-водителя, были очень полные. Вперёд посадили самую полную (более, чем экстра экстра ладж), и Марьяне Марковне пришлось сесть сзади. Сильно трясло, пахло бензином. Её затошнило. На рассказ спутниц о проезжаемых достопримечательностях она не откликалась, боясь, что если откроет рот, то её вырвет.

Про исчезнувшую гостью она более не вспоминала: у неё плохо работала память на сиюминутное.

* * *

Итак, Причина найдена! Она была укушена вампиром в «Первоначалном варьянте». Прекрасно.

Во время обратного рейса Наташа наметила дальнейшие действия. Она сообщит маман, папа и остальным, что нашла Причину, и они все вернутся в эпопею. Для этого у неё припасено прижизненное издание «Войны и мира». Процедуру ухода в текст, она знает: надо открыть книгу на первой странице; сжаться в точку, как она это делала в момент преображения, не медля, припасть к странице, впитаться в неё, пройти все слои (то бишь, все страницы по вертикали), вернуться в середину книги и там, преодолевая давление страниц — для точки почти непосильное — окончательно контрпреобразиться и специальным жестом устранить своего Технического Дублёра.

Наташа прилетела вовремя, но на работу всё-таки опоздала. Из-за родственников.

Семейство в полном составе поджидало её позади клаба на детской игровой площадке. Несмотря на приличную одежду, они выглядели как сборище бомжей: не умытые, кое-как причёсанные, застёгнутые не на те пуговицы. Как всегда при виде родственников, у Наташи настолько испортилось настроение, что хоть сама в себя втыкай осиновый кол.

«Так и не научились приводить себя в порядок без лакеев и крепостных девок, вернее, не желают этому учиться из спеси, — досадовала она, чувствуя, как в ней растёт раздражение, смешанное с жалостью. — Хорошие, новые вещи смотрятся на них, как чужие обноски, потому что в современной одежде они, видите ли, чувствуют себя отвратительно. Соответственно и выглядят. Чудовищно упрямы! Любым временем брезгуют, кроме описанного в эпопее! Вот, небось, обрадуются, когда объявлю им, что могут возвращаться к своим рабам! Ладно. Поговорю с ними потом. А сейчас — на работу. Накормлю их, напитаюсь сама, наберусь сил, и, всем семейством — в текст!»

Ещё будучи довольно высоко, Наташа заметила, что на детской площадке, кроме Ростовых есть ещё кто-то. Приземлившись, она увидела, что, привалившись к бортику песочницы, спал толстый милиционер. «Напился при исполнении», — подумала Наташа. Контрпреобразившись под укрытием двух цветущих кустов белой сирени, она подошла. Лицо у милиционера было подозрительно обескровленным. Всё стало понятно: семейство Ростовых устроило пикник на милиционера. Додумались!

— Что вы наделали! — закричала она. — Не могли потерпеть до моего прилёта?!

— Тебе не угодишь, — Вера обиженно поджала сиреневые губы. — Попрекаешь нас тем, что не самостоятельны, а когда мы без посторонней помощи нашли пропитание, ты опять недовольна.

— В чём же мы провинились, позволь полюбопытствовать? — прищурилась старая графиня.

— Не переживайте, маман, — произнёс, растягивая слова, тучный обрюзгший Николя и рыгнул. — Никакой вины за нами нет. Мы поступили, как в нашем положении поступил бы любой. К тому же потрапезничали куда обильнее, чем нежели в клабе. Я, во всяком случае, целиком наполнился. И хоть в людском смысле мы гурманства лишены, но это неправда, что мы вкусовых оттенков не различаем. Я так очень различаю.

— И какие же оттенки ты, Николя, различил в этом военном? — заинтересовался старый Ростов.

— Вкусец хоть и простоват, но не лишён пикантной пряности, — Николя облизнулся чёрным языком. — Я бы назвал это кровяным аналогом солонины, извлечённой из малоросского борща.

— Мне не показалось, — покачал лысой головой старообразный Петя Ростов.

— А теперь послушайте ***меня***! — Наташа так топнула ногой, что чуть не сломала свой тонкий каблук. — Милиция будет искать, кто это сделал. Найдут днёвку и нас спалят. Но даже если случится чудо, и всё обойдётся, в наше ночное сообщество припожалует милиционер.

— А что в этом плохого? — пожал плечами Петя. — Я б, например, с удовольствием пообщался с военным.

— Неужели? — Наташа вперила в младшего брата презрительный взгляд. — При жизни ты не очень-то стремился на поле брани.

— Он не стремился? — маман ощерилась, позабыв всякий этикет. — Как можешь ты подобное изрыгать? Где же умер он, как не на поле брани?

— Петька умер от вашего укуса, маман. Правда, от него же и ожил, с позволения сказать. Спасибо, что хоть малюток его не покусали, а то где б мы их питали? В клаб детей не пускают. Короче, я узнала, что был другой вариант. Первоначальный.

— Тоже мне, новость! — усмехнулась Вера. — Это все знали, кроме тебя. Петьке рассказала ворона, та, что тебя клюнула, а Петька рассказал нам.

От изумления Наташа едва нашла в себе силы прошептать:

— Почему же вы не сообщили об этом мне и не вернулись в текст, в свою обожаемую эпоху, с лакеями, дворовыми девками и прочими прелестями крепостнической идиллии?

— Вот ещё! — фыркнула Вера. — Очень надо жить без электрического освещения!

— Вы ж ненавидите прогресс! Вы же вечно жалуетесь на это ужасное время, на то, что вынуждены, вопреки своему человеколюбию, пить кровь! Почему же отказываетесь возвратиться туда, где вам было так хорошо, где вы были так добродетельны?! — недоумевала Наташа.

Старая графиня вскинула голову и надменно, слегка в нос, произнесла:

— Мы более не желаем существовать без электричества и горячего водоснабжения.

— О чём вообще вы говорите? Вы что, этим всем пользуетесь? Мы ж днюем в давно сгинувшей деревне, в погребе над котором даже намёка на избу не осталось! Вы что, видели тут хоть кусочек электрического провода?

Окончательно потеряв терпение, Наташа перешла на крик.

— Мы наслаждаемся электричеством в клабе, — проговорила маман. — Там же после трапезы, умываемся тёплою водою и используем блага канализации. Мы так и знали, что ты будешь лезть к нам со своими прожектами, потому и не стали тебе рассказывать про первый вариант. И правильно сделали. Ведь так, Илья Петрович?

Старый граф закивал, заулыбался:

— Как захочешь, графинюшка, так и будет.

Гнев сменился тоской. Вперив взор в полузатоптанные одуванчики, Наташа сказала:

— Поскольку вы уже напитались, в клаб вам не надо. Как намерены ночь коротать?

— Вот, Наталюшка, думаем посетить Нескучный сад, полюбоваться на охотничий шале и елизаветинскую беседку. Ты не против?

Старый Ростов просительно улыбнулся. Среди его разрушенных зубов белые крепкие клыки выглядели особенно неприятно.

Наташа поморщилась.

— Делайте что хотите, — буркнула она, — Только на днёвку не опаздывайте.

* * *

Димец отсутствовал на входе. Там стоял ко всему безразличный охранник Санёк. Это хорошо. Он не станет фиксировать её опоздание. Впрочем, теперь это не важно. Теперь важно дождаться экстрима, напитаться как следует — и в эпопею! Конечно, маман и остальные Ростовы по-своему правы: без удобств будет непривычно, и лично её ничего хорошего там не ждёт, но что поделаешь, возвращаться надо — сколько можно пить кровь!

Она схватила в подсобке свой блокнот, гелевую ручку и побежала в зал.

— Наташа! — позвал тихий голос.

Она оглянулась на бегу. Да, это он, вчерашний вампирчик. «Интересно, он ухаживать явился, или в составе четвёрки биться за территорию?» — подумала она и внимательнее посмотрела в его сторону. Он был один. Наташа подошла и, скрывая волнение за иронической интонацией, спросила:

— Чем обязана?

— Я стал ***таким*** сравнительно недавно … — тихо, почти шёпотом проговорил он.

— Сравнительно с чем? — в её ироническом тоне всё же сквозила заинтересованность.

— Я хотел сказать, что во мне ещё остались дневные чувства.

— Можно подумать, ты их реализуешь.

— По-моему, да. Я ведь, как и вы, Изначальный. Моя фамилия Живаго. Я заглавный герой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

— Мне это ни о чём не говорит.

Наташа терпеть не могла, когда разговор заходил о неизвестном ей предмете. Она начала сердиться и даже агрессивно приподняла верхнюю губу, показав клыки.

Тихогласый нежно улыбнулся:

— Этот роман и не может вам ни о чём говорить. Он был создан гораздо позже, чем «Война и мир». Но, Наташа, милая, я хочу, чтобы вы знали: ещё гимназистом я любил вас, как рыцарь любит идеал дамы! Прошу вас, улетим отсюда! Начнём новую жизнь! Прекрасную, чистую! Будем много читать, посещать театры, помогать хорошим, достойным людям, будем любить друг друга и всех вообще хороших людей и пить одну лишь донорскую кровь! Ради нашего альянса я обязательно научусь её добывать! Милая, дорогая!

Наташа спрятала клыки. Признание вампира с нежным тихим голосом, бархатными бровями и чистыми серыми глазами всколыхнуло в ней ту глупейшую восторженность, которую, ничтоже сумняшеся, вколол ей автор своим пресловутым пером. Все эти аханья, вскрики, экзальтированные пробежки по безвкусным интерьерам, конечно, полная чепуха, но она понимала, что готова броситься неизвестно куда с этим влюблённым упырём, и что сама, вне всякого сомнения, тоже влюблена. Глядя в глаза Живаго, она возвращалась к себе, изначально замысленной, то есть бурно любящей и желающей, чтобы при виде её все радовались.

— Девушка, примите заказ! — Наташа повернулась к соседнему столику, за которым сидела компания молодёжи. Ребятам явно не терпелось.

— Шесть бокалов Клинского светлого, один раз крекеры «до, ре, ми»…

Наташа посмотрела на них без всякого интереса и даже не открыла блокнот.

— Она не записывает, — шепнула мускулистая девочка своему соседу, пацану в высококачественной майке. Тот качнул обнажёнными плечами:

— Обкуренная. Глаза отсутствующие.

— Пусть отгребает, — пискнула пигалица в чёрной бандане с розовыми черепами. — Лучше у другой закажем.

Наташу это всё уже не касалось.

— Подержи, — сказала она и сама не зная зачем, вложила в руку пигалицы свой блокнот и ручку и села за Юрин стол.

— Экстази! — услышала она у себя за спиной. — Сейчас её тормознуло, а потом потянет активничать.

О, она действительно намеривалась активничать: убежать в текст хотела. Но не убежит. Ну уж нет! Слуга покорная! Она не вернётся в «Войну и мир». Она навеки останется ***с ним***! Она не намерена принести в жертву любовь, чему бы то ни было, даже понятиям о нравственности! Тем более, что он говорил что-то насчёт донорской крови.

Она схватила Юрия за обе руки, и восторженно глядя ему в глаза, выдохнула:

— Согласна!

На служебном входе охранник смотрел по телевизору «Криминальную хронику» и не обратил внимания на официантку, покидающую клаб в обнимку с посетителем.

Оба нетерпеливо перебирали ногами в воздухе.

* * *

Школьников осматривал новый облик Ляляки с тем выражением свершившегося счастья, с которым ребёнок смотрит на давно обещанную и, наконец, подаренную игрушку.

Да. Получилось отменно. А, главное, адекватно: лицо, фигура, одежда, словом, все элементы облика абсолютно соответствуют натуре объекта. Фигура приятная — в меру тонкая, в меру рельефная и рост классический, средний. Пушистые светло русые волосы прекрасно подходят к бледненькому, но как бы подсвеченному изнутри лицу. Серые глаза, небольшой нос, правильный, но не точёный, маленькие уши, высокий лоб — это всё довольно миловидное, но не поражающее какой-то особенной красотой. А вот губы получились изумительно красивые: точь-в-точь, как у герцогини де Бофор на эрмитажном портрете. Одел Яков Вениаминович Ляляку в платье из отличного крепдешина пятидесятых годов с чудным рисунком: цветущие веточки сирени, фиалки, бабочки. Сшито оно было тоже не современно, но по-тогдашнему элегантно: широкая юбка, широкие рукава, воротничок-волан, поясок на талии и множество обтянутых той же тканью пуговок на спине.

Из-за платяного шкафа с покарябанной полировкой он вытащил давно отклеившееся от дверцы зеркало и подтащил его к Ляляке. Она сразу узнала губы герцогини де Бофор и нежно ими улыбнулась.

«Сработало!» — обрадовался Школьников. Он очень гордился, что изобрёл приём, который состоял в том, чтобы в каждый из обликов включать узнаваемую объектом деталь. Это смягчало шок от первого взгляда на нового себя. Кстати сказать, он и Вихолайнену предлагал использовать этот приём, но тот надменно отказался. А зря. После обретения слащавых кукольных мордашек и стереотипных фигур его клиенты неделями приходят в себя.

— Ну, как? — волнуясь, спросил Школьников.

— Спасибо. Очень красиво. Только…

Он встревожился:

— Что такое? Что вас не устраивает? Говорите! Всё в наших руках. Я, конечно, не Огюст Роден, но, уверяю вас, в своей области я достаточно хороший специалист. Говорите, что вам не нравится, и я всё исправлю!

— Мне всё нравится, но… это… это… не я.

— Ах, вот оно что, — Яков Вениаминович облегчённо вздохнул. — Ошибаетесь, голубушка. Данный облик идентичен вашей личности, а значит, это и есть вы. Поняли?

— Нет… — Ляляка виновато взглянула на него.

Яков Вениаминович открыл окно, пододвинул к нему обшарпанное кресло-качалку, сел, закурил «Приму». Дым выпустил в окно.

— У человеческого лица имеются два основных назначения: функциональное и декоративно-характеризующее, — принялся объяснять он. — Что такое функциональное назначение вам конечно понятно: глаза должны видеть, брови и ресницы оберегают глаза; нос должен обонять, и так далее, и тому подобное. У вас на Уровне Отображений то же самое, но только органы устроены несколько по-иному. Теперь насчёт декоративно-характеризующего назначения облика. Видите ли, милая

фея, когда физический человек первый раз встречает другого физического человека, он судит о своём новом знакомом по его облику. Поэтому очень важна каждая внешняя подробность. Например, очень важно, как выглядит нос в сочетании с глазами и ртом; по какой схеме растут волосы надо лбом; прижаты ли уши к голове, или они торчат. И всё такое прочее. Вы понимаете, о чём идёт речь?

— Кажется, понимаю…

— Умница. Но это не всё. Есть ещё такие факторы, как выражение лица и пластика тела. Это, если можно так выразиться, духовные продукты личности. Здесь я пас. Что касается именно вашего физического облика, то вы получились миловидная и романтичная. И знаете что интересно? Ведь я ещё никогда за всю мою весьма солидную практику не изготовлял столь миловидных обликов и даже критиковал за этоколлегу… Но, ничего не поделаешь, такова ваша личность. А теперь попробуйте воспользоваться новыми ногами.

Ляляка встала и попыталась свинтить свои физические ноги. Она б упала, если бы Школьников её не поддержал.

— Не надо свинчивать ножки, — сказал он. — Они работают без свинчивания.

С пластикой тела и механикой движений Ляляка освоилась на редкость быстро.

— Какая вы способная! — восхитился Яков Вениаминович. — Однако вам предстоит ещё многое усвоить. Самое для вас сложное будет физическое питание и последующее эээ… выделение. Но при таких ваших способностях этими процессами вы быстро овладеете.

Закатное шоу многоцветных облаков было в самом разгаре, когда Яков Вениаминович повёл фею Ляляку домой, в Донорский переулок.

Она шла, запрокинув голову, ахала и восклицала:

— Как чудно! Золотое превращается в алое! Голубое — в розовое! Как изумительно!

Она вдруг остановилась, схватила Школьникова за руки и осипшим от волнения голосом проговорила:

— Яков Вениаминович! Я сочинила новые Ритмиолы! Я назвала их Ритмиолы Закатных Красот. Сейчас я вам их исполню.

— Боюсь, что это не получится, пока вы в физическом облике. Ну, пойдёмте, милая, а то Ната начнёт волноваться.

— Не огорчайтесь, Яков Вениаминович, я вам их обязательно исполню, когда буду в своём облике.

— Хорошо, хорошо, спасибо, — пробормотал Школьников, лёгким нажатием руки побуждая Ляляку обойти кучку собачьих экскрементов. — Вы на удивление нестандартная фея. Конечно, все феи — творческие особи. На то они и феи. Но их главная функция — воздух. Поэтому творчество у них, как бы это сказать… легковесно. Но вы не такая, вы настоящий творец. Я это сразу понял, как только вас увидел.

* * *

— Ой… — среагировал на новый облик Ляляки Геннадий, — вы, прям, как моя мать в молодости: и платье похожее, и причёска такая. Но фигурка у вас аккуратнее. И личико помельче. А ножки-то какие симпатичные вам сделали! Я собирался уходить, но ради вас побуду ещё … Пойдёмте на кухню, я вам чайку заварю. У меня есть «Липтон». Вам теперь можно.

Ляляка непроизвольно тронула свои физические уши. Громкий голос Геннадия травмировал их. Но он этого не понял и продолжал говорить столь же громко:

— Может, сбегать за сухариком, ну… за сухим вином?

Она зажала уши руками и проговорила:

— Спасибо. Я ничего не хочу. Вы ведь домой собирались? Так идите!

— Как хотите, — с обидой в голосе проговорил Геннадий и вышел из квартиры.

С лестницы донеслось его пение:

Если вдруг фея к тебе изменилась,
Если с тобой поступает назло,
Рулла, берулла, берулла, берулла.
То неизвестно, кому повезло.

В прихожей начали шуршать: вылезали из картонок охранники. В гробу зашевелилась Ната.

Ляляка подбежала, без труда подняла крышку и помогла ей выйти.

Подумала обрадовано: «Какая я теперь сильная».

— Удивительно, что Школьников изваял такую красавицу! — поглядев на Ляляку, проговорила Ната. — А ещё обзывает лакировщиком Тойву Алексеевича!

— Геннадий сказал, что я похожа на его маму.

— Вас порадовали его слова?

— Ах, нет… Геннадий слишком громко говорил, и я сказала, чтоб он ушёл.

— Так ему и надо. Не того он полёта птица, чтобы затевать роман с феей. Но вы здесь не распоряжайтесь. Здесь только я решаю, кому и когда уходить и приходить.

Между тем в прихожей расшумелись охранники.

— Не был он на светомузыке! — гудел Густозудящий. — Мы его потеряли уже в овраге, когда пролетали «Одеколон», ну, такое дурацкое здание Академии Наук. Не помните, что ли?

Его безуспешно силился перекричать Визгливый:

— Какой, на фиг, «Одеколон»? Какая, на фиг, Академия?! Вы летели впереди и ничего не видели, а я-то сзади летел! Его уже не было с нами, когда мы пролетали над кинотеатром «Ударник»! Я ещё тогда подумал: «Небось, размечтался про любовь, преобразился раньше времени и грохнулся вниз. Сидит сейчас где-нибудь в укромном уголке и ремонтирует свой костяк». Я хотел это дело с вами обсудить, но меня отвлёк Пискля. Помнишь, Пискля? Ты ещё завопил с присущим тебе хамством…

— С присущим ***мне*** хамством?! — возмущённый голос Пискли отозвался по всей квартире звяканьем посуды и оконных стёкол. — Это ***тебе*** присуще хамство! Только хам-простолюдин может спокойно лететь, когда сзади не видно товарища!

— Да что вы грызётесь? — забасил Густозудящий. — Давайте лучше вспомним, где мы его потеряли! Сейчас Ната встанет. Что мы ей скажем?

— И действительно, что вы мне скажете? — появившись в прихожей, проговорила Ната. — Что потеряли Тихогласого? Неудивительно. На его месте я бы давно избавилась от вашего общества. А вот на своём месте — пока не могу. И всё-таки… куда он девался?

Ната устремила на охранников страшный взор.

Они молчали, испуганно прижавшись друг к дружке.

— Ладно, — подумав, сказала она. — С исчезновением Тихогласого я потом разберусь. И с вами тоже. А сейчас — отправляйтесь питаться, и

потом — на свалку «Кляпинская». Там трудится чёрт Ванадий. Найдите его, и пусть возвращается.

Вампиры принялись торопливо одеваться в длинные серые куртки, сваленные около картонных коробок.

Ната спросила с издёвкой:

— Где обновочки приобрели?

Охранники молчали.

— Жду ответа! — взрычала Ната, и её белоснежное лицо переокрасилось в багровый цвет.

Охранники задрожали. Слышно было, как стучали их клыки.

Наконец, Густозудящий отважился:

— У нас был пикничок в торговой точке. Продавщица отключилась, ну мы и взяли…

— Если вам понадобились эти отвратительные куртки, почему не попросили у меня деньги?

— Постеснялись, — прошептал Пискля.

— А воровать — не постеснялись? Где эта торговая точка? Отвечайте!

— В подземном переходе, — упавшим голосом проговорил Густозудящий.

— В ***моём*** подземном переходе?

Охранники молчали. Глядели на неё глазами, полными кровавых слёз.

— Значит, в моём. Как вы посмели устроить пикник с кражей в моём подземном переходе?!

Ната подняла верхнюю губу. Обнажились не только клыки, но и дёсны, сделавшиеся от гнева совершенно чёрными

— Ещё один пикник поблизости от моего дома — и я прикажу дневальному агенту вышвырнуть вас вместе с вашей картонкой на помойку, чтоб вы, наконец, испепелились и больше не устраивали мне проблем, — прорычала она, задохнулась от ярости, закашлялась и махнула рукой в сторону двери.

Перепуганные охранники выскочили на лестничную клетку.

Когда приступ удушья прошёл, Ната вернулась в комнату, где осталась напуганная и растерявшаяся фея Ляляка.

— Если вампиров не держать в страхе, они сядут на голову, — сказала Ната. — Даже Изначальные.

— Значит, Изначальные благороднее Неизначальных? — спросила Ляляка.

— Укушенных. Неизначальных принято называть Укушенными. Но не берите в голову. Классификация вампиров сейчас для вас не самое актуальное. Вам надо срочно осваивать физическое питание, иначе ваш облик захиреет, и тогда Якову Вениаминовичу придётся всё начинать сначала. Он, конечно, трудоголик, но «повторять зады» не любит. Так вот: начинайте с разбавленного апельсинового сока. И, пожалуйста, научитесь выжимать апельсины в соковыжималке. Здесь каждый готовит для себя сам. Делается это так: берёте соковыжималку — она в маленьком буфете в самом низу. Ну, что же вы?

— Спасибо, я не голодна…Но… я так хочу сыграть в «Эрудит»! Пожалуйста!

Ляляка, вдруг, встала на одно колено и протянула к Нате обе руки.

— Откуда вы позаимствовали этот мелодраматический жест? — удивилась Ната.

— С отображения картины Александра Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после воскрешения». Оно есть в маминой Галерее Живописи и Графики.

— Ваша мать — Марлита Гладкорукая?

— Да.

— Никогда бы не подумала, что она интересуется искусством.

— Почему?

Ляляка поднялась и непроизвольно воспроизвела жест удивления принца Гамлета с картины неизвестного художника «Гамлет перед призраком отца».

— Она для этого слишком агрессивна. Во время своей миссии такое учинила раздувание, что всю наземную почву чуть не снесло. Пришлось вызывать второго зомби. А два зомби — это тяжело. Так что я нахлебалась с вашей матушкой. Надеюсь, её больше сюда не пришлют. А вам, фея Ляляка, надо следить за своими жестами. Феям опасно выделяться из толпы. Теперь язык жестов не такой, как на картинах академиков девятнадцатого века. Завтра днём пройдитесь по городу и понаблюдайте, как жестикулируют современные люди.

Ляляка замерла. Она боялась рассердить Нату, сделав ошибку в жестикуляции, поэтому предпочла совсем не шевелиться.

— И не сидите, как «Слепая девушка» Антокольского. Встаньте и сделайте себе сок. А потом поиграем.

* * *

В бывшем Нескучном Саду над потомками дубов, высаженных ещё при Елизавете Петровне, медленно летели Наташа Ростова и Юрий Живаго, принявшие облик чёрных птиц. Катастрофически хотелось питаться. И возможность для этого была: среди кустарников и на скамейках, установленных в уютных углублениях вдоль реки, укрывалось множество парочек. На любую можно было напасть безо всякого риска. Но Наташа и Юрий решили, что отныне всякое живодёрство для них исключено. Отныне их цель — поведенческое благородство.

Контрпреобразившись, они опустились на скамейку — одну из тех, что кольцом расставлены вокруг клумбы с календулой, которая даже в скудном свете единственного зажжённого фонаря не утратила своей весёлой рыжины. Трещали язычками и музыкально свистели соловьи, невидимые в неосвещённых кронах дубов. Свежо благоухало водой, травой и дубовыми листьями.

Юрий подавил голодный стон. От слабости он едва удерживал в своей руке руку возлюбленной.

— Как хорошо… — прошептала Наташа, хотя испытывала невыносимые муки голода. Но даже больше, чем голод, её беспокоили мысли о днёвке. «Неужели придётся лететь с Юрой в так называемую Подмосковную? — ужасалась она. — Только не это! Никакие дневные чувства не выдержат бестактности и капризов моего семейства».

Юрий словно прочитал её мысли.

— Наташа, дорогая моя, — проговорил он, — я знаю, где мы можем попросить место для днёвки и немного донорской крови. Это квартира моей бывшей хозяйки Наты Умной. Но я виноват перед дней: я самовольно её покинул, а она далеко не ангел: она Вампир Особой Жестокости. Я боюсь, как бы она не расправилась со мной, и, что ещё гораздо страшнее для меня — с тобой….

— Ничего! Жестокости я навидалась. Меня этим не испугаешь. Я вот что предлагаю: давай преобразимся в туманности: Такой облик даёт возможность макисмально сблизиться, а значит, максимально соединить силы.

Юрий охотно согласился.

Преобразившись в туманности, они устремились на середину клумбы и разостлались поверх цветов календулы, чтобы немного отдохнуть. Потом перераспределились таким образом, что составили собою два инициала: «Н» и «Ю», и взвились, распространяя по предутреннему небу аромат календулы.

Уже будучи высоко в воздухе они переплелись и образовали вензель.

* * *

Фея Ляляка прилежно вглядывалась в косточки-буквы «Эрудита», но сосредоточиться на игре не могла: отвлекала печаль. В её осознании пульсировала навязчивая мысль о том, что никто так и не проник в её сущность.

— Играть будете? — спросила Ната.

— Да, да, конечно, — спохватилась Ляляка. И вдруг в её осознании вспыхнуло: «Яков Вениаминович! Вот кто проник в её сущность, хотя она не успела исполнить ему ни одной Ритмиолы! Он сказал: «Вы настоящий творец. Я это сразу понял, как только вас увидел».

Ляляка мечтательно улыбнулась и сложила слово «ЯКОВВЕН».

Ната приподняла брови:

— Это, что ли, Яков Вениаминович в виде слоговой аббревиатуры?

— Я не могла целиком написать его имя и отчество, потому что у меня было только семь букв.

— А хотелось?

— Очень! И ещё мне хочется исполнить для Якова Вениаминовича мои новые Ритмиолы. Я уверена, он проникновенно их оценит! Вы сами сказали, что он создал для меня облик, адекватно выражающий мою сущность!

Ната усмехнулась.

Закурив «Лаки Страйк», сказала:

— Адекватные облики у него получаются не потому, что он проникает в сущность. Как во всяком креативе, тут действуют непознаваемые механизмы. Я терпеть не могу, когда нагнетают таинственность — но эти механизмы, действительно, непознаваемы. А вообще, фея Ляляка, я удивляюсь тому, как быстро у вас перелетают чувства с объекта на объект! Даже моему любвеобильному отцу Зевсу до вас далеко.

Внезапно в квартиру ворвался отвратительный удушливый запах.

Ляляка сразу его узнала и, кашляя, проговорила:

— Пахнет свалкой.

— Естественно, — тоже кашляя, сказала Ната. — Ведь пожаловал ваш экс-идеал!

Они вышли в прихожую. Визгливый и Пискля снимали рюкзак со спины Густозудящего. Из рюкзака доносились всхлипывания и восклицания:

— Я согласен на любую минимальность! Делайте со мной, что хотите, только не заставляйте работать на свалке!

— Не понравилось? — осведомилась Ната.

— Ещё один рабочий день — и я был бы уже не чёрт, а горсть грязи, которую швырнули в минимальность, — хныкал Ванадий.

— Бедняжка! — воскликнула Ляляка.

Её лицо приняло жалостливое выражение, точь-в-точь как у девушки с картины Жана-Батиста Грёза «Мёртвая птичка».

— Хоть ты меня пожалела, ничтожная физическая особь, — сквозь всхлипы произнёс Ванадий.

— Я не физическая особь. Это лишь облик. Я фея.

— Фея?! Вы, феи, врагини лютейшие! — взъярился Ванадий. — От вас и иже с вами все беды, все подставы!

— Вымойте его! — скомандовала Ната охранникам. — Идёмте доигрывать, фея Ляляка. Но ваш «ЯКОВВЕН» не годится. Нельзя ставить имя собственное, тем более, аббревиатуру.

Во входную дверь робко постучались.

— Ната, извините, можно вас? — робко позвал из прихожий Пискля.

— Поиграли, называется… — проворчала Ната и пошла в прихожую.

Трое охранников в нерешительности топтались возле открытой двери. А на лестничной площадке, поддерживая друг друга, едва стояли на ногах Тихогласый и черноволосая девушка, судя по характерной оттопыренности верхней губы, вампир.

— Вернулся? Входи. Прощаю тебя по причине нехватки кадров.

— Я не один, — прошептал Тихогласый.

— Вижу. Входите оба. Быстрее. Мне только не хватало, чтобы вас, таких странных, увидели соседи! Подумают, что у меня наркопритон.

Собрав последние силы, Тихогласый поднял Наташу, внёс в прихожую и прислонил к стене и сам к стене прислонился.

— Кто эта дама? — захлопнув дверь, спросила Ната.

— Вампирша из «Хлама», — сообщил Визгливый.

— Я спросила не тебя, а Тихогласого. Вы трое идите в ванную комнату и как следует отмойте этого чумазого миссионерщика.

Густозудящий сгрёб Ванадия и вместе с Писклёй и Визгливым пошёл выполнять задание.

— Простите, я не представил… — Ната Умная — Наташа Ростова, — лепетал Тихогласый.

— И в самом деле… — удивилась Ната. — Прямо-таки иллюстрация академика Шмаринова к подарочному изданию «Войны и мира». С поправкой на издержки ночной жизни, разумеется. Какая честь, графиня! Но что может быть общего у вас с моим беглым охранником? Впрочем, неважно. Прошу на кухню. Гостиной у меня нет, не обессудьте.

Но Наташа Ростова не двинулась с места. Её глаза закрылись, на нежном лице резко выделились посиневшие веки.

— Да вы совсем ослабели, графиня, — заметила Ната и, обратившись к Тихогласому, скомандовала:

— Ступай в комнату, сними со стула большой ящик с головоломками. Ящик задвинь под ломберный стол, на котором стоит компьютер. Потом возьми в ванной губку, смочи её водой и как следует протри стул, потому что на нём будет сидеть графиня собственной персоной. Стул отнеси на кухню и поставь между окном и большим буфетом, тем, что похож на греческую скальную гробницу, но предварительно передвинь в угол между окном и раковиной кадку с деревом.

Тихогласый, которому тоже изменили силы, был не в состоянии двигаться и в изнеможении приник к Наташиному плечу.

— Вы сегодня питались, господа? — не то заботливо, не то насмешливо спросила Ната.

— Нет… — еле выговорил Тихогласый и пошатнулся.

— Разве в Москве перевелись кровесодержащие объекты? — продолжала то ли сочувствовать, то ли издеваться Ната.

— Мы больше не хотим причинять страдания, — прошептала Наташа и свалилась на пол, увлекая за собой Тихогласого.

Ната прошла в кухню, достала из буфета две коньячные рюмки, открыла холодильник, вынула бутылочку с делениями, налила из неё в

рюмки по пятьдесят граммов крови и вынесла в прихожую.

— Это донорская кровь, — объяснила она Ростовой, которая чуть приподняла веки. — Её сдали добровольно за бутерброд с красной икрой и стакан чая с чайной ложкой сахарного песка и четвертушкой ломтика лимона. Так что ваши гуманные убеждения не пострадают. Правда, это невкусная и даже отвратительная вторая группа, но ничего другого предложить не могу. Разве что тост: за светлую память автора, из сочинений коего выходят столь высоконравственные вампиры.

Из каких-то ей самой не ведомых энергетических резервов явились у Наташи Ростовой силы, и она, отшатнувшись от предложенной рюмки с кровью, вскричала с неожиданной громогласностью:

— Пить за Толстого? Да вы смеётесь надо мною! Он извратил всю мою жизнь! Он управлял мною, словно ярмарочной марионеткой! Сперва заставил прыгать, бегать, пищать, визжать, болтать инфантильные глупости: «Видите?... кукла… Мими… Видите…». Вспомнить противно! Потом — дёрг за шнурок — и я уже распутница! Только начала привыкать к новому положению, как он опять — дёрг — и уж я сиделка-праведница при умирающем герое. Но и на этом мой мучитель не успокоился. Опять за шнурок — дёрг! И вот я — многодетная мать, да не просто мать, а буйно помешанная, которая тычет в нос приличным людям обкаканные пелёнки. Ненавижу его! Он использовал меня лишь для того, чтобы объявить человечеству оглушительную новость.

— Какую именно? — поинтересовалась Ната.

— О том, что романтика — всего лишь орудие продолжения рода. А продолжение рода — это единственное, что достойно восхвалений. Плодитесь, мол, как крольчихи — и флаг вам в руки! Спасибо, хоть вампирши не размножаются.

— Вы, нынешняя, существенно отличаетесь от себя книжной, — заметила Ната.

— Да. Отличаюсь. Был другой вариант, значительно более ранний. Когда Толстой над ним работал, он ещё не считал себя главным гуманистом и мудрецом рода людского. Тогда ещё он писал, руководствуясь интуицией, и обходился без умственных подтасовок. В раннем варианте я была вполне самодостаточна: читала, путешествовала по Европе и даже по Востоку, любила вкусно покушать, сладко поспать, тогда как в его окончательном, то бишь, ***классическом*** варианте я ни разу не поела, как следует, и не прочла ни одной книжки! Меня даже не свозили в Европу! В театре я была всего один раз, да и то этот единственный поход плохо кончился: Толстой свёл меня там с этим идиотом Анатолем, с этой куклой в штанах… Во мне нынешней превалирует первый вариант, когда я не мужчинами увлеклась, а наслаждалась природой. Правда, этот вариант завершился для меня тем, что мне ворона шею клювом продолбила. Автору-реалисту было невдомёк, что птичка-то оказалась не простая.

— Вам больше нравится работать официанткой и пить кровь, чем быть любящей матерью и супругой? — спросила Ната.

— Моя теперешняя жизнь ужасна! — воскликнула Ростова. — Ведь во мне всё ещё сидят нравственные догмы Толстого! Я безумно страдаю от того что приходится кровоедствовать!

— Что ж, можно обойтись и без тоста, — сказала Ната. — Я тоже не поклонница вашего автора. А ваш автор, между прочим, не поклонник моего автора. Не постеснялся же он объявить больному Тургеневу, что, видите ли, удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою! Интересно, он-то чем себя считал пропитанным?

— Убеждением, что имеет право делать с нами, своими персонажами,

всё то, что подсказывает ему его великое рацио. А оно ему подсказывало одни издевательства над нами. Чем за него пить, я лучше выпью за нас, вампиров, хоть мы, по меркам живых людей, безнравственны и вообще ужасны!

Ростова залпом выпила всю рюмку. В её лицо вернулись краски. Она сверкнула глазами и спросила Нату:

— Вы сказали — ***вашего*** автора? Вы тоже Изначальная?

— Тоже. А вы, вместо того, чтобы задавать лишние вопросы, напоили бы своего кавалера. Ещё немного — и он необратимо скукожится и навсегда зафиксируется в облике летучей мыши.

Наташа ойкнула, схватила со стола рюмку и поднесла к губам Тихогласого. И хоть у Тихогласого едва хватило сил, на то чтобы проглотить кровь, он всё же прошептал:

— За тебя, любимая, драгоценная…

— Простите, Ната, что я не вернулся вместе с остальными, — сказал он, оживая от выпитой крови, — в жизни моей произошла великая перемена.

— Это видно.

— Мы с Наташей хотим начать новую жизнь, хорошую чистую!

— Да! Мы вместе начнём новую жизнь! — воскликнула Наташа Ростова.

— Ах, графиня! — Ната укоризненно покачала головой. — Посмотрите, в кого вы его превратили своими выспренними установками: худосочный, глаза тоскливые, пальцы скрючены, руки дрожат. До знакомства с вашим сиятельством это был красивый, здоровый, полноценный, согармоничный самому себе вампир. Он нормально питался, нормально работал. Ему было по-своему хорошо.

— Мне не было хорошо! — Тихогласый чуть не заплакал. — Я страдал, но скрывал свои страдания, потому что считал их неправомочными. Но я не знал, что страдаю по велению своей натуры.

— Вот как? — Ната неторопливо выпустила струйку дыма, и её античные губы иронически исказились. — Ты, что ли, вылупился из той же эпопеи?

— Нет, — прошептал Тихогласый, — я из другого сочинения. Я из романа Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго». Я Юрий Живаго. Вернее, был им. Тем, кто я теперь, я стал из-за случайной детали.

— Так ты знаешь Причину? — глаза Наты, вдруг вспыхнули, исторгнув ярко-синее пламя.

— Знаю. Причина в кинокартине, где меня сыграл великий Омар Шариф. Всё дело в том, что он же сыграл и мою мать, лежащую в гробу. И вот что получилось: полежав в гробу, Омар Шариф, то бишь я, Живаго, как ни в чём ни бывало, стал жить дальше. Этого оказалось достаточно для моего овампиривания.

— Как ты узнал Причину?

— Случайно. Кинокартину показывали по «Культуре». Мне захотелось посмотреть фильм о себе. Я и посмотрел.

— Почему ты не вернулся в текст? Тебе там не нравилось?

— Как могло мне там нравиться? Я там не жил, а лишь мыкался и перемогался. Конечно, мне туда не хотелось. Там меня ожидало сиротство, ужасы революции и войны, несчастная любовь, два брака — один драматичнее другого, неустроенный быт, безотцовщина — сначала моя собственная, потом моего сына, потом моей дочери, потом остальных моих детей; и целый ряд других страданий — физических и нравственных, коими столь щедро усеял мою жизнь Борис Леонидович, и, наконец, моя

смерть на улице, такая же нелепая, как и моя жизнь. И всё-таки я имел намерение туда вернуться, потому что русскому интеллигенту, не пристало пить человеческую кровь, и ещё потому, что мне нравилось писать стихи, хотя автор навязывал мне совсем не то, что я хотел бы сочинять. Я уже решил, что вернусь в роман, когда закончится эта миссия. Я не хотел это сделать раньше, дабы не подводить Нату.

— Потому что подводить кого бы то ни было не престало интеллигенту? — с явной иронией спросила Ната.

— Совершенно верно. В общем, я готов был вернуться в роман Пастернака и снова испытывать все страдания, пока не истлеет последний экземпляр «Доктора Живаго».

— Насчёт истлевания последнего экземпляра не обольщайтесь. Тексты теперь бессмертны, как вампиры. Компьютеризация, знаете ли…

— Знаю. Но хотелось образно выразиться.

— Знаете что, господин Живаго, я без вас вполне справлюсь с миссией. Так что можете со спокойной совестью вернуться в свой роман.

— Но я более не намерен туда возвращаться, потому что, видите ли Ната, я, наконец, полюбил всеобъемлющей любовью без колебаний, без иных предпочтений! Наташа тоже хотела уйти в текст, когда ей открылась Причина, но и она остаётся. И тоже из-за всеобъемлющей любви. Ко мне… — Тихогласый потупился. — Если мы уйдём каждый в свой текст, то более никогда не встретимся и будем обречены вечно страдать от разлуки друг с другом. Но, оставаясь здесь, мы страдаем нравственно оттого, что вынуждены кровопийствовать. Пожалуйста, Ната, расскажите, как вы добываете донорскую кровь!

— С этим обращайтесь к Геннадию. Он скоро придёт.

— Я давно пришёл, — крикнул Геннадий, выходя из ванной. — Помогал охране отмывать товарища Крылохвостова. А насчёт крови не переживайте: первую или третью группу — не обещаю, а вторую достану.

— Гена, ты не мог бы раздобыть им какую-нибудь тару для днёвки? — спросила Ната.

— Запросто. На помойке всегда есть коробки.

Минут через пять Геннадий уже вносил в квартиру картонную коробку из-под домашнего кинотеатра.

— Двуспальная. Для молодожёнов, — добродушно улыбнувшись, сказал он.

Между тем шум воды в ванной стих. Стало слышно, как Густозудящий удовлетворённо басит: «Совсем другое дело. Быстрее вытирайся и выходи. Нам давно пора на днёвку. Не хотелось бы испепелиться. Тем более из-за тебя».

— Испепелиться из-за меня! — взвизгнул Ванадий. — Это была бы честь для вас, ничтожные подобия ничтожных физических людишек, коии…

Остальное заглушил дружный хохот охранников, которые, распахнув дверь ванной, вытолкнули в прихожую добросовестно отмытого, но сильно пахнущего стиральным порошком Ванадия Крылохвостова.

* * *

Ежедневно в Предзакатный миг Матина угощала Бария Прямоногого экстрактом козлятины. Этот продукт она раздобыла для него, когда была на миссии. Как и где она его достала, и что вообще тогда с ней происходило, ушло из её осознания вместе со всем остальным, что происходило на миссии. С другими миссионерщиками было так же. Матина знала это от чертовки Зю-Зю Шустротелой. Когда она моделировала для

Шустротелихи униформу авиатора с хвостовым чехлом футлярного типа, та рассказала, что когда её Хидраргирум вернулся с миссии, то ничего не помнил о том, что там делал, что делали другие миссионерщики и что, вообще там было. Зю-Зю не поверила мужу. Она заподозрила, что он излучался на миссии с кем попало, поэтому и помалкивает. Но, на всякий случай, спросила у Куратора. Тот сказал: «Хидраргирум не врёт. Есть закон природы: миссия кончается — осознание очищается».

В общем, будучи на миссии, фея Матина раздобыла для Барички его любимый деликатесик. Что самое странное, она умудрилась притащить его на Уровень Отображений. Именно ***умудрилась:*** ведь у миссионерщиков изымали всё, что они пытались прихватить с собой с Физического Плана. Но все её хлопоты оказались напрасны… Когда она вернулась с миссии, на её Пространстве возлюбленного не оказалось. Его переманила Сабатина Крупноглазая. Чем переманила — догадаться нетрудно: суперкомфортным устройством спального места. Всем известно, что Внутреннее Пространство феи Сабатины целиком занято отображением парадной кровати Людовика Четырнадцатого, которую Сабатина дополнительно снабдила принадлежностями всех видов и систем — от перин, подушек и одеял — до обогревателей, охладителей, увлажнителей, осушителей и массажирующих установок. К тому же у неё на пространстве всегда тихо. Словом, имеются все условия, чтобы поспать с редчайшей приятностью. А у Матины таких условий нет: на её Внутреннем Пространстве постоянно галдят и суетятся заказчики, и спать приходится, извившись между гирляндами со швейными машинами и прочими карябающими принадлежностями.

Не застав на своём Пространстве Бария, фея Матина впала в шоковое состояние. Лицом, густо посеребрённым в ожидании любимого, она уткнулась в гирлянду с кухонной посудой и неподвижно зависла.

Когда шок прошёл, Матина схватила упаковку с экстрактом и выбросила на Общее Пространство. Но в осознании тотчас вспыхнуло: «А если Барий вернётся?», и она поспешила забрать назад деликатес, пока его не съели другие черти. «Ещё неизвестно, что ему желаннее: спальное место на пространстве Сабатины или экстракт козлятины», — успокаивала она себя.

И он вернулся.

Конечно, кровать с прибамбасами его более чем устраивала, но, когда после сна наступало бодрствование, становилось нестерпимо: чересчур уж неприятен был для него настырный стиль общения Сабатины. Она постоянно над ним нависала и безостановочно, интенсивно на него излучала. Хуже всего был всасывающий взгляд её крупных выпуклых глазных пятнышек. Матина — та не настырничала. Да и когда настырничать, если всё время работаешь, а в каждый свободный миг распушаешь периодику? Понятно, что Матина тоже на него излучала — от этого никуда не денешься — но она знала меру. И главное, кормила дивным эксклюзивом — экстрактом козлятины. От этого кушанья Барий был в экстазе. Напитавшись экстрактом, он сразу же сладко засыпал и спал долгим, глубоким сном, несмотря на неудобства.

Матина ликовала. Ещё бы! Жизнь с любимым была исполнена радости и смысла.

И теперь, когда все заказчики улетели, и с творчеством на текущий день было покончено, она зависла между гирляндами и смотрела, любуясь, как вернувшийся со Склада Барий ест экстракт козлятины.

Наевшись, он потянулся. От насыщения его тело обретало безграничную пластичность.

— Хочешь попить? — проворковала Матина, сложив губы трогательным колечком.

— Смотря что.

Он огладил свои волосы, красивые, как шёлковые нитки.

— Могу подоить традесканцию…

— Ффу…— Барий сморщил розовато-перламутровый нос.

— А как насчёт закатного коктейля?

Матина знала, что он любит закатные коктейли почти так же сильно как экстракт козлятины, и, ожидая, пока она принесёт ему фужер с любимым напитком, не заснёт и никуда не переместится с её Пространства. А, кроме того, пока он пьёт, ей удастся на него поизлучать.

— Где ты возьмёшь закатный коктейль? — поинтересовался Барий.

— Гелька нальёт.

— С какой радости он будет тебя угощать? Может, ты с ним излучаешься?

–Я излучаюсь только с тобой. Просто-напросто Гелька задолжал мне за супернабрюшники, которые я ему смоделировала для летательных танцев.

— А я в чём буду танцевать? Ты об этом подумала?

— Но ты ж не любишь наряжаться!

— При чём тут «не любишь?» Присутствовать всё равно заставят. Не в старье ж там пребывать…

— Конечно, любимый. Смоделирую тебе всё самое шикарное. Что бы ты хотел?

— Прикольную пижаму вот из этого, — он указал своим красивым пальцем на подлинник куска белого атласа.

— Без проблем, любимый! Но в пижамах не танцуют…

— Мне другие не образец. Кстати, откуда у тебя подлинник атласа? Может, Клинозубый приходил и излучался с тобой, пока я дремал?

— Прекрати меня подозревать! — воскликнула Матина. — Теперь, когда ты со мной, Феррум для меня не существует.

— А раньше он для тебя существовал?

Матина рассмеялась. Губы её весело затрепетали, как лепестки шиповника под шаловливым ветерком.

— Так сгонять за коктейлем? — отсмеявшись, спросила она.

— Ну, сгоняй…

Отделив от посудной гирлянды отображение самого вместительного фужера, Матина вытолкнула своё пирамидальное тело на Общее Пространство. Барий зевнул, прикрыл глазницы рифлёными, как ракушки морского гребешка, покрышечками, дабы сладко подремать в ожидании коктейля.

Но вместо сладкой дрёмы явилась беда.

Раздался чудовищный грохот. Гирлянды с отображениями газет-толстушек, между которыми он зависал, оборвались и завалили его. Выбираясь из-под них, Барий увидел пред собой кованую фигуру Чёрта-Куратора Аурума Безволосого.

— Отец, ты чего? — Барий надул приротовые извилины.

— Кто сказал, что я тебе, лжецу и халявщику, отец? — взрычал Аурум.

— Я сам видел.

— Что ты видел, лжец глупый?

— Тебя и мать. И как ты её растворял. Зря ты думаешь, что я придурок. У меня твой потенциал. Ты, между прочим, должен меня продвигать.

— Я продвину тебя. На миссию. Надевай, безобразник, летательный плащ, и марш на отображение аэродрома! Немедленно! Так и быть, отправлю тебя в отображении лайнера. Ради неё.

* * *

— Преобразитесь-ка, чёрт Ванадий, — проговорила Ната Умная, закуривая «Лаки страйк». — Хочу посмотреть, на что стал похож ваш физический облик после трудовой вахты на свалке.

Ванадий послушно принялся корчиться по той методе, которой его научил Школьников.

— Не здесь, — остановила его Ната. — в прихожей преображайтесь.

Ещё с рогами, но уже без хвоста и в одежде физического человека, полупреображённый Ванадий пошёл, постанывая, в прихожую.

Ната подошла к окну.

Наступил её любимый момент, когда солнце ещё не взошло, но уже настолько светло, что различаются цвета. По бледному, но уже отчётливо голубому небу проплывали два плотных, кудрявых облака. «Как хорошо было бы полетать между ними, в приятнейшей прохладе… — мечтала Ната. — Никто из олимпийцев тебя в таком облаке не увидит, а ты видишь всех и всё.

И нет больше едко пахнущего тополя, а есть ароматный кипарис — божественного юноши древесный аналог. А внизу лазурь глянцевитая моря…»

Она вздохнула и нехотя отошла от окна. Наслаждаться моментом было некогда. Надо отдать необходимые распоряжения и залечь на днёвку.

В прихожей всё стихло. Охранники уж несколько минут как забрались в картонку. Наташа и Юрий тоже успели преобразиться в летучих мышей и устроились в коробке из-под домашнего кинотеатра.

В дверях появился до конца преображённый в физический облик чёрт Ванадий. На его руках не было ни царапин, ни синяков, ни даже мозолей.

— Не вижу следов физического труда, — удивилась Ната.

— Физический труд и чёрт — две вещи несовместные, — изрёк Ванадий. — Я трудился умственно.

— То есть?

— Я объявил владельцу свалки, что прислан с другого уровня, и, что ему, во избежание дальнейших возгораний, следует применить предписываемую мною технологию, мною же продемонстрированную.

— Это какую же? — полюбопытствовала Ната.

— Высокоуровневую! — гордо произнёс Ванадий.

— А именно?

— В качестве профилактики от макси-возгорания надлежит производить в каждой куче мини-возгорание.

— Что-то вроде прививки, — проговорил Геннадий, который сидел в углу, за кадкой с лимонным деревцем и плёл из цветных проводков браслетик-фенечку для своей племянницы.

Чёрт Ванадий словно с цепи сорвался:

— Кто спрашивал тебя, недоумок? Кто дал тебе разрешение встревать в беседу тех, интеллект коих недосягаем для таких, как ты, и ныне, и присно и во веки веков? Аминь.

— Прекратите, чёрт Ванадий, — нешуточно рыкнула Ната. — Вы не у себя в Лектории.

— Я понял вас, — испугавшись, промямлил Ванадий.

Ната повернулась, чтобы идти в комнату, но в этот момент во всей квартире погас свет; затих звук, непрерывно издаваемый холодильником; щёлкнул, досрочно отключившись, электрический чайник, который до этого включил Геннадий, чтобы попить кофейку.

— Пойду, проверю, что там с пробками, — сказал Геннадий.

— Дело не в пробках, — проговорила Ната.

Она включила фонарик, вынула из розетки вилку от холодильника, вставила туда две коктейльные соломинки, а под розетку на пол положила лист белой бумаги.

Из соломинок закапало что-то чёрное. Падая на бумагу, чёрные капли мгновенно застывали, превращаясь в буквы.

Ната присела на корточки и стала раскладывать буквы на бумаге.

Получилась фраза: ***«Посылаю чёрта Бария. Место приземления — зал прибытия аэропорта «Шереметево. Терминал А». Время приземления — Послевосходный Миг. Подпись: Куратор Уровня Отображений чёрт Аурум Безволосый».***

Ната вынула из розетки коктейльные соломинки. Чайник зашумел, свет загорелся. Она воткнула вилку от холодильника в розетку, и холодильник снова забормотал свои непонятки.

Ванадий Крылохвостый укоризненно покачал головой:

— Никчёмного сынка решил к делу приспособить.

— Как это «сынка»? — удивилась Ната. — Он же у вас, насколько я знаю, несоизлучаем?

— Подобно рядовому чёрту впадал в излучательство. Желая сокрыть сей факт…

— Мне некогда сплетничать, — перебила его Ната. — Этот Барий вот-вот прибудет, а охрана на днёвке. И до чего ж неподходящее место приземления: полный зал народу — прилетающие, встречающие, персонал... И посреди всего этого откуда-то сваливается чёрт в натуральном обличии. О чём только думал Аурум?

— Об удобствах сыночка заботился, остальное в минимальность опустил, — ядовитничал Ванадий. — Отправил своего принца не своим лётом, как остальных миссионерщиков, а с комфортом, в отображении лайнера. Сие отображение сего лайнера приземляется, как и подлинник лайнера, в аэропорте, но не на аэродроме, а со смещением. Посему место приземление сместится в зал прилётов.

— Какой вы, однако, многословный, чёрт Ванадий, но за информацию спасибо.

— Соизволю ответить: пожалуйста.

— Через четыре минуты взойдёт солнце, — напомнил Геннадий.

— И я испепелюсь, — Ната мрачно улыбнулась. — Закурю, что ли, напоследок.

Она взяла сигарету. Геннадий щёлкнул зажигалкой.

— Спасибо, Гена, а теперь слушай внимательно, — Ната глубоко затянулась. — Ты будешь встречать чёрта Бария. С тобой поедет чёрт Ванадий и фея Ляляка. Где она, кстати?

— На крышке Вашего гробика. Задремала.

— Разбудишь.

— Можно, она ещё чуть-чуть подремлет? — попросил Геннадий, осторожно перекладывая фею Ляляку на пол, где он расстелил свою куртку. — Мы успеем, не беспокойтесь, Шереметево отсюда недалеко.

— Не опоздайте.

— Всё будет нормально, — говорил Геннадий, укрывая Нату, улёгшуюся, тем временем, в свой этногроб. — Как только этот Барий появится, я его сразу уберу в сумку.

— На тебя, Гена, вся надежда. Возьми премиальные.

Ната выпростала из-под одеяла руку, пошарила под внутренней обивкой гроба, достала стодолларовую купюру и протянула Геннадию.

* * *

Чтобы войти в зал прилётов, пришлось стоять в очереди на просвечивание багажа. Это неожиданное новшество отняло драгоценных полчаса. Восход уже тридцать две минуты как состоялся. Геннадий весь изнервничался. Теперь можно было рассчитывать только на везение.

— Посидите тут и подождите меня, — сказал он Ляляке и Ванадию, а сам побежал прочёсывать зал.

Ничего необычного там, судя по всему, не произошло. Видно миссионерщик ещё не прибыл. А может быть и прибыл какое-то время назад и его заметили и уволокли для дознания. Это было бы хуже всего…

— Ты тут давно? — спросил он какого-то на вид вполне свойского мужчину.

— Минут пятьдесят, — ответил тот.

— Тут всё нормально?

— Вроде бы… А что?

— Да по телеку передавали насчёт теракта в каком-то аэропорту, — соврал Геннадий. — Я-то на автобус торопился, поэтому толком ничего не знаю…

— Здесь вроде спокойно.

«Значит, точно, не приземлился, — обрадовался Геннадий. — Плохо только, что я не знаю, откуда он свалится. Ладно. Что будет, то будет.

— Он какого роста? — спросил Геннадий своих спутников.

— Чуть больше меня, — неохотно ответил Ванадий.

— Подождите меня здесь. Никуда не отходите, — распорядился Геннадий.

Он сбегал к сувенирному киоску, купил там два самых больших и самых плотных пластиковых пакета. Один — с портретиком важного мужчины средних лет с усами и бородкой. Судя по тому, что написано на пакете, этот господин осчастливил мир, производя неподражаемую по качеству водку. Пакет с мужчиной Геннадий дал Ванадию, а Ляляке дал другой: с балериной, обвившей ножками и ручками бутылку «Хеннесси».

— Будем патрулировать по отдельности, — объяснял он. — Я поделил этот долбанный зал на три сектора: в центральном буду я, в правом — мисс Ляляка, а в левом — мистер Ванадий. Если прибывающий миссионерщик упадёт с потолка или ещё откуда-нибудь появится, сразу убирайте его в пакет и несите ко мне на центральный сектор.

Ляляке понравилось патрулировать. Впервые увидела она сразу столько физических людей, да ещё таких разнообразных! С каким наслаждением она ими любовалась! «Как великолепна трёхмерность подлинных физических людей! Как изысканны переплетения изливаемых им тепловых потоков! Как разнообразны издаваемые физическим человеком звуки: слова, шелесты, шуршания, цокоты! — вспыхивало в её осознании.

В соответствии с инструкцией Геннадия, она передвигалась сначала по периметру своего сектора, потом по его диагоналям, потом опять по периметру и опять по диагоналям. Передвигалась быстро, почти бегом. Это выглядело странно: девушка в старомодном платье, с ненакрашенным лицом, без багажа, даже без дамской сумочки, с одним пустым пакетом порхает по залу прибытий. Но люди торопились, суетились и на странной девушке не сосредотачивались. Пару раз она налетала на тележки с багажом, но так вежливо извинялась, что на неё не сердились. Даже когда из-за её неловкости с тележки свалились на пол два чемодана и штук пять сумок, её не заругали.

Чёрт Ванадий, напротив, не находил в патрулировании ничего хорошего. Зал прибытия ему сразу опротивел. Особенно, когда он увидел в зеркале себя среди других людей. Он с самого начала себе не нравился в физическом облике: худенький, с противным кадыком, жёсткими и короткими, как щетина, волосами, с мелкими чертами лица; и кожа какая-то сероватая. Одежда какая-то убогая: штаны-джинсы, серая майка и ветровка простая. Только ботинки вполне достойные: чёрные, блестящие, отдалённо напоминающие его копытца. Увидев себя в зеркале вместе с целой толпой физических людей, он убедился ещё и в том, что мельче и бледнее почти всех. К тому же, у других был багаж: сумки или чемоданы. У музыкантов потрясающе смотрелись фигурные футляры; у спортсменов тоже был великолепный багаж — ярчайшие сумки! А какой-то мужчина с бородой и в красном костюме толкал впереди себя лодку в серебристом чехле! У всех что-нибудь, да было. Только он, Профессор и Шеф-Педагог, бродил с пустым пакетом, как неимущее ничтожество. Всё было плохо. Бодрящая жёсткость изначального тела сменилась на мягкость физической плоти. Это вызывало вялость. Ботинки — и те подвели: в них было неудобно ходить. Как было хорошо с копытцами, которые составляют единое целое с ногами! Чёрт Ванадий мучительно завидовал, когда в поле его зрения попадала фея Ляляка, бодро-весело бегающая по залу. Конечно, феи чувствуют себя в облике естественнее, нежели черти, ибо находятся в своей стихии — то есть среди воздушных масс. И потом, они не страдают от отсутствия рогов и хвоста — природных орудий защиты и нападения, ибо этими роскошными частями тела не наделены.

Ванадий ругал себя: «Как мог я столь впасть в минимальность, чтобы добровольцем напроситься на миссию? И что есть миссия, как не унижение меня?» Но оправдывал себя: «Не мог я не напроситься! Зи-Зи, впав в супружеский гнев, не только крылохвоста лишила бы, но и рогов, а быть может, и многих иных телесных составляющих, из коих фундаментальнейшими являются ноги». И снова ругал себя: «Сам виноват. Зачем с феей излучаться вздумал? Эх, феи! Все беды от них, все нелепости вреднейшие!»

Геннадий то и дело поглядывал на потолочные конструкции. Упорно думалось, что именно оттуда свалится миссионерщик.

Но произошло не так.

Чёрт Барий Прямоногий ниоткуда не свалился, а въехал в зал прилётов на багажной тележке, которую вёз мужчина, а рядом шла женщина, которая держала за руку пацанчика лет шести. Если бы не рожки и копытца, Геннадий ни за что бы не догадался, что в тележке едет чёрт, а не какой-нибудь красавчик-эльф, потому что для чёрта Барий Прямоногий был чересчур смазлив: стройный, с золотистыми локонами, весь розоватый с приятными перламутровыми переливами. Даже глазницы, которые обычно воспринимаются пугающе пустыми, у Бария смотрелись эффектно. Они отражали, приукрашивая отражаемое, и, тем самым, приукрашивали себя. Приротовые извилины, которые тоже неприятны для человеческого восприятия, у Бария имели миловидную форму и приятный окрас.

Барий нисколько не пострадал от перелёта, был цел и чист. Рассевшись в удобной позе на чьём-то мягком бауле и опершись спиной на огромный чемодан, он, позёвывая, разглядывал свои идеально отполированные коготочки, на которых забавно играли рефлексы от светящихся реклам.

Владельцы багажа не видели, что в его тележке кто-то едет, потому что чёрта Бария загораживал чемодан.

Геннадий побежал навстречу миссионерщику, на ходу открывая сумку. Оставалось каких-то двадцать-двадцать пять метров, когда вдруг пацанчик вырвал у женщины руку, подбежал к Барию и, злобно глядя на него, заверещал:

— Слезай, мультяг! Я сам хочу прокатиться! Слезай, пакемон, сволочуга, гад, слезай, говорю!

— С кем это он? — спросил мужчина.

— Да ни с кем. Опять в мультики играет, — ответила женщина. — Взорвать бы проклятый телевизор…

— И приставку заодно, — вздохнул мужчина.

— И компьютер, — вздохнула женщина.

— Тут ты неправа, — возразил мужчина. — В современном мире без компьютера копейки не заработаешь.

— Много ты на нём заработал, — фыркнула женщина. — Только глаза портишь и время убиваешь своими стрелялками-догонялками.

— Без этого тоже нельзя, — оправдывался мужчина. — Это как медитация.

— Не смеши! — фыркнула женщина.

Оба замолчали. Видно, обиделись друг на друга.

— Слезай, пакемонище! Слезай, говорю! — визжал пацанчик.

Барий лениво развернул на него глазницы:

— Несносный физический человечек, замолчи!

— Слезай, гад!

Мальчишка подпрыгнул, схватил Бария за копытце, сбросил с тележки и, усевшись на баул, торжествующе завопил:

— Папка, гони шустрей! Гони, ну!

Мужчина послушно заскакал.

Женщина трусила рядом и ворчала:

— Потакай ему, потакай… Он тебя ещё не так будет гонять, когда подрастёт.

Геннадий подбежал, схватил Бария, сунул его в сумку и задёрнул молнию.

Падение с тележки страшным образом изувечило миссионерщика. Особенно пострадали ноги: обе почти переломились пополам. Левый рог висел на тонкой полоске кожи, а лицо вспухло от удара об пол.

Барий громко рыдал.

Геннадий спросил:

— Вы чёрт Барий Прямоногий?

— Я… А ты-то кто? — сквозь рыдания произнёс Барий, у которого болело буквально всё.

— Гена, — представился Геннадий. — Меня хозяйка послала вас встретить. Сейчас мы поедем к ней на квартиру. Там вас полечат, приведут в порядок, покушаете, отдохнёте.

— Знала бы мать, что отец со мной такое сделает, никогда б ему не простила! — рыдал Барий; с ним такая сделалась истерика, что от его конвульсий порвалась молния, и он высунулся из сумки.

Проходящая мимо группа японцев остановилась и уставилась на него.

— Плоский робот. Последнее поколение, — осклабившись и энергично поклонившись, как это делают японцы в кинофильмах, объяснил им Геннадий.

Японцы тоже заулыбались, закланялись и пошли дальше.

Геннадий запихнул чёрта Бария обратно в сумку, а сумку для надёжности сунул подмышку.

* * *

Ванадий трудился над восстановлением Бария. Чего только он не делал, каких только приёмов не применял: остатками крылохвоста своего долго и сильно овеивал телесные составляющие коллеги, слюною своей обильно смачивал места переломов; вонзал когти в проблемные зоны; бодрящие речи произносил. От усилий он даже утратил яркость окраса. Но всё было напрасно. Барий не восстанавливался. Разломанные ноги не срастались, рог не прирастал, а вместо приятной отражающей прозрачности в его глазницах пульсировала темнота. Ванадий так расстроился, что даже заплакал. Из его глазниц посыпался искросодержащий пепел, который стал оседать на картонки, где дневали охранники. Уголки картонок начали тлеть.

С криком: «Ёлы-палы!» Геннадий сдёрнул с себя джинсовый жилетик и, поочерёдно накидывая его на картонки, ликвидировал возгорание. Потом наклонился над Барием, который лежал в прихожей на куске картона. Сочувственно вздохнул:

— Капитально вас покорёжило.

— Не твоего ума промысел, обслуга! — пропищал ослабший от усилий и плача Ванадий. — Давай, помогай, ничтожество!

— Любите вы, черти, оскорблять, — Геннадий укоризненно покачал головой и добавил, подмигнув Ляляке:

— Особенно при интересных дамах.

Но Ляляка разговор не поддержала и ушла на кухню. Её физические уши, ещё непривычные к громким звукам, устали.

— Говорю тебе, ничтожный лох, феи — не про тебя, — язвил Ванадий.

Геннадий присел на корточки, внимательно осмотрел чёрта Бария и сказал:

— Тут нужны инструменты, как для починки домашней техники. Я схожу в хозяйственный. Никому не открывайте. Понятно?

Ванадий не удостоил его ответом.

Барий хныкал:

— Ванадька, кто этот урод? Что он будет со мной делать?

— Он всё поправит, — успокаивал его Ванадий. — Он обслуга, а обслуга для того имеет место, дабы поправлять.

Геннадий принёс из магазина паяльник, набор маленьких отвёрток, два тюбика клея «Момент-монтаж», моток изоляции, гайки, шайбочки, гвозди. Аккуратно разложил это всё на полу прихожей, потом присел на корточки и, подумав немного, сказал:

— Значит так, мистер чёрт: сейчас я начну вас чинить. Скорее всего, вам будет неприятно. Но имейте в виду, кричать нельзя, потому что соседи могут вызвать милицию, и тогда вашей миссии — крышка. Если вы закричите, мне придётся заклеить вам изолентой рот или как он там у вас называется. Поняли?

— Понял, — просипел Барий.

— Интересно вы устроены, — рассуждал Геннадий, намазывая клеем «Момент-монтаж» кусочек кожи, на котором повис рог. — Вроде вы живые, а поправлять вас приходится, как механизм какой-то…

Когда Геннадий вгонял в ноги Бария шурупчики, тот кряхтел, еле слышно повизгивал, но не кричал: крепился.

Тем временем фея Ляляка контрпреобразилась, уселась на кухне в уголке, надоила из цветка лимонного дерева несколько капель нектареллы и приступила к питанию. Она слышала, как охает и ойкает чёрт

Барий, как Геннадий произносит что-то успокаивающее, но неприятно-простоватое по звучанию и слишком громкое. В её осознании означилось: «Геннадий добрый, но он мне не подходит. И Ванадий мне не подходит. Ната правильно о нём говорила: он действительно, пошляк, бытовик и что-то ещё… Ах да, халявщик. Что такое «халявщик» я не знаю, но чувствую, что она и в этом права».

Чёрт Ванадий тоже пришёл на кухню. Он зажёг духовку и все конфорки, но не стряпал, а только смотрел на огонь. Осознание ему подсказывало, что, когда он созерцает огонь в оригинале, с ним творится нечто нестандартное, нечто особенное, волнующе-возвышенное. Но вскоре в осознание вкралась недостойная мелочность: «А крылохвост? Изувечив мой крылохвост, огонь злобно со мною поступил. Так, быть может, пиетет к огню ложен?» «Нет, не ложен! — вспыхнуло в осознании. — Не огонь был повинен, но я, Зи-Зи озлив. И в том ещё повинен был я, что посмел благородными пламенами мусор без смысла поджигать. Для того ли призван я? Нет, не для того! А для чего?»

Тихое шуршание, раздавшееся за спиной, отвлекло. С трудом оторвав глазницы от огня, Ванадий обернулся. Шуршали, оказывается, листья лимонного деревца, которые гладила фея Ляляка Винтоногая, выражавшая таким образом благодарность за питание.

— Фея! — обратился он к ней. — Я соизволяю извиниться за то, что на свалку тебя увлёк, принуждая!

Она успокоительно улыбнулась:

— Я уже забыла об этом.

— Это возносит тебя в максимальность. Хочу спросить: знаешь ли ты, что есть миссия?

— Ната объяснила, что миссия — это когда мы все собираемся на Физическом Плане, чтобы спасти Мироздание, и от этого сами становимся мощными и возвышенными.

— Я таким и становлюсь! — воскликнул Ванадий. — Я величественно манкировал питанием своим, ибо не пёк рептилий, имея возможность! Не пользуясь, я любовался пламенами духовки и конфорок! Любуясь, я возвышенно простил огню ущербы тела своего!

В осознании феи Ляляки Винтоногой вспыхнуло смятение. Возникали вопросы, но не возникали ответы. Быть может, всё-таки, чёрт Ванадий Крылохвостый возвышен? Но тогда почему Ната умная, считает, что он пошляк, бытовик и халявщик? Вдруг она неправа? Но если он истинно высок в нынешних помышлениях своих — то, конечно, восхитится её Ритмиолами, и у них всё-таки буду отношения сладостные высокой сладостью…

— Готово дело! — послышался из прихожей голос Геннадия. — Идите, господин хороший, на кухню, вон туда и покажитесь своим землякам!

— Как новенький!— с гордостью объявил он, усаживая Бария на табуретку.

— Тебя, ничтожество, никто не спрашивает, как новенький или не как новенький коллега мой, — завизжал Ванадий. — Пошёл вон из кухни!

Когда раздались эти грубые слова, в осознании Ляляки означилось: «У меня никогда не будет с чёртом Ванадием отношений, сладостных высокой сладостью».

* * *

Сразу после растворения феи Калиты Прозрачноглазой Аурум Безволосый переместил отображения всех красот подводной сферы на своё

Внешнее Пространство, доселе ничем не заполненное, ибо интересов, кроме обязанностей, не имел. Среди перемещённых красот решил воздвигнуть монумент своей растворённой возлюбленной. Уполномочил Феррума Клинозубого собрать много наикрасивейших подлинников, дабы сей монумент был достоин изумительной Калиты. Феррум выполнил задание и доставил на Пространство Куратора шёлковые розы, копии драгоценностей и другие изящные вещицы, а также подлинники бисера, подлинники жемчужин, белые кружева, резные виньетки с богатых гробов и много белой атласной ткани.

Аурум собственноручно отформовал из стеганого атласа туловище монумента, сделал конечности и голову. Черты лица означил подлинниками бисера и жемчужин. Глаза — подлинниками гранёных аквамаринов. Волосы, сделал из кружев. Постамент — тоже собственноручно отлил из перламутров всех оттенков, и сам же украсил монумент резными виньетками, шёлковыми розами и другими изящными вещицами.

Закончив работу, он до крайности удивился делу рук своих, ибо доселе был уверен, что его дутые, и потому неловкие, тщательно отполированные, и потому скользкие пальцы не годны для созидания грациозной красоты, не говоря уж о том, что, будучи вполне типичным чёртом, Аурум Безволосый к творчеству не тяготел. Он не понимал, как сумел изваять столь дивный монумент. Но ведь изваял! Мало того: он ещё и закачал в атлас отображения воздушных масс предвечернего и предутреннего неба, ибо хотел, чтобы монумент, подобно живой Калите, мог витать среди отображений подводных красот.

…Выполнив обязанности дня, Аурум Безволосый вышел на своё Внешнее Пространство, И, как всегда, снял с постамента фигуру Калиты, пустил её витать среди отображений подводных красот, а сам разместился на постаменте, дабы любоваться на монумент возлюбленной.

Атласная статуя кружила вокруг отображения подводной лодки, той самой, где некогда Калита прятала сына.

Безумно хотелось излучать даже на её монумент, но Аурум знал: монумент вернёт его излучения охлаждёнными, отяжелёнными, угнетающими. Сверхусилием он сдержался и направил осознание на дела миссии. Упрекал себя: «Я послал Бария на миссию, поддавшись гневу. Это ошибка. Второй чёрт на миссии излишен. Будучи огорчён сыном, я допустил ещё одну ошибку — отправил на миссию некомплект: не послал злыдню, не послал зомби. Пошлю. Но время уходит. Есть риск, что за потерянные дни дисбаланс на Физическом Плане может стать необратимым. Всё плохо, и во всём виноват я. О Калита, что мне делать?!»

Шёлковые розы зацепились за неровности подводных пригорков, и лицо монумента отвернулось. Печаль по Калите так сильно напрягла литое сердце, что оно чуть не взорвало его чеканную грудь. Аурум загудел столь громко и печально, что отзвук прокатился по всему Уровню Отображений, на миг погрузив в тоску каждого из обитателей. Потом он отцепил шёлковые розы от неровностей подводных бугорков, поднял изваяние на руки и вернул на постамент. Прижавшись головой к атласной груди Калиты, он гладил кружевные волосы и шептал:

— Как мне поступить, изумительная Калита, что я должен сделать?

Ответ получил сразу.

«Отправь двух зомби, двух злыдней и ещё одну фею, — словно бы произносил голос Калиты. — И тогда все разновидности миссионерщиков будут представлены соразмерно и миссия усилится и сделается преодолимым грозящий дисбаланс. Второй феей пошли Сабатину Крупно-

глазую. Её рассудительность уравновесит восторженность феи Ляляки Винтоногой. Все отправления проведи сегодня в Послезакатный Миг. Не волнуй себя. Всё будет хорошо».

Куратор Аргентум звонко с облегчением прогудел:

–О, бесценная Калита, спасибо тебе!

Он осторожно прикоснулся к атласным губам чеканными приротовыми извилинами и удалился на своё Внутреннее Пространство. Там он лёг в футляр с углублениями, соответствующими его телесным составляющим. Устройство футляра исключало движения. Бездвижность успокаивала.

Засыпая, прошептал:

— О, Калита! Сколь переливчата ты была…

* * *

Фея Сабатина Крупноглазая не сомневалась, что фея Матина Чудогубая прельстила Бария экстрактом козлятины, а вовсе не своими знаменитыми губами, как она убеждала заказчиц. Матина буквально закармливала Бария любимым деликатесом. Гелий Многобрюхий, который подглядывал за Матиной, рассказывал, как она, сделав губы сердечком, капает экстракт из отображения пипетки прямо в раскрытые приротовые извилины возлюбленного. Стыдно фее так унижаться!

Лихо приходилось Сабатине без Бария Прямоногого. Безмерно терзало неосуществляемое желание вбирать своими крупными глазными пятнышками эксклюзивную переливчатость любимого, а потом долго излучать на его прелестные ноги.

Чтобы заглушить тоску, Сабатина занялась переобустройством спального места. Перерасположила подушки с расчётом только на себя. Имея овальное туловище, фея Сабатина компактно оплетала его перед сном своими четырьмя тонкими руками и четырьмя тонкими ногами, поэтому расположение подушек по краям спального места — гнездом — для неё было оптимально. Но когда Барий был здесь, она держала спальное место в вытянутом состоянии: ведь у него были длинные прямые ноги. Ради него она жертвовала собственным удобством…

«Следует жить не для кого-то, а для себя», — означилось в осознании, и фея Сабатина почти утешилась. Из отображения прикроватной тумбочки она вынула отображение платка и принялась осушать глазные пятнышки, переувлажнённые из-за недавнего стресса.

Сама себе говорила утешительно:

— Вот возьму и вся украшусь отображением стекляруса, потом приглашу Феррума поизлучаться. Конечно, излучение у него жёсткое и колючее, но зато я избавлюсь от комплекса невостребованности. А в подарок пусть добудет мне подлинник беленькой подушки. Раздобыть это для него не проблема, он сам рассказывал, что на Физическом Плане такую подушку кладут практически в каждый гроб.

Она почти утешилась, когда вдруг раздался оглушительный гул, и в глазные пятнышки ударила желтизна. Прогремел голосище Куратора:

— Собирайся на миссию.

Сабатина молчала, оробев.

— Отправка сегодня. В Послезакатный Миг. Всё.

Грохоча телом, Куратор выбросился на Общее Пространство.

Сабатина ужасно расстроилась. Покидать столь уютное спальное место! И лететь — куда?! Ещё неизвестно, есть ли ***там*** приемлемый комфорт! А что будет с её обустроенным Внутренним Пространством? Да и

Внешнее Пространство у неё вполне уютное и приятное. Там тоже есть прекрасное спальное место, вернее, ложе для пребывания под отображением лёгкого ветерка. На нём любил отдыхать Барий. Как торжествовала Сабатина, когда он там лежал, а пролетающие мимо феи, чертовки и злыдни завидовали её счастью! Что будет со всем хорошим и старательно ею сделанным, когда она улетит на миссию? Она ж не Ляляка, у которой не обустроено! Как защитить свои Пространства? Кого бы расспросить?

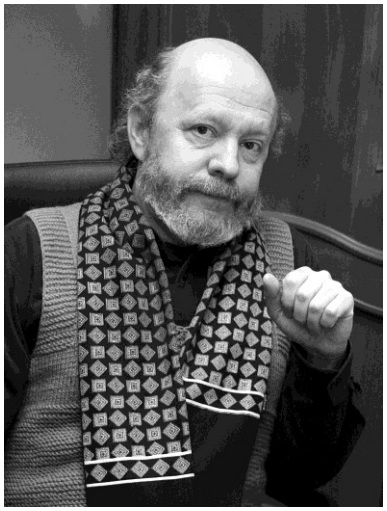
В осознание Сабатины засеребрился облик Матины. Вот кто знает! Она была на миссии, и у неё из её Внутреннего и Внешнего Пространстве ничего не пропало. Но у Матины пребывает ***он,*** столь бесцеремонно укативший от неё, Сабатины, на отображении самодвижущегося шезлонга. Этот шезлонг она сама заказывала у Аргентума Светлотелого специально для него, для Барички своего, чтобы он мог лёжа кататься по Балюстраде Смотрового Уклона во время празднования Предзакатного Мига. За этот шезлонг Аргентум забрал у Сабатины её любимый надкроватный ламбрекен, перешитый из подлинника гробового покрывала. Да ещё обиду нанёс, небрежно проговорив: «Пущу на ветошь».

И всё-таки придётся лететь к Матине за советом и воочию увидеть их альянс. Ничего не поделаешь, сохранность обстановки стоит того, чтобы попереживать. Ведь сколько творчества пропадёт даром, если расхитят! Легко ли подобрать каждый компонент, согласно собственным свойствам и предпочтениям, идеально его разместить, да ещё продумать сменные нюансы, чтобы однообразие не удручало. Но самое трудное — это процесс поиска нужных вещей и деталей. На Складе Отображений всегда огромная очередь, в которой ни напитаешься, ни отдохнёшь. Многомиговое мучение гарантировано, даже если тебе нужен всего лишь малепусенький бантик на внешний рюш подушечки для левой слуховой розетки. А подойдёт очередь — начнётся новый дискомфорт, на сей раз для зрения. Конечно, ей в этом смысле легче, чем другим феям: её глазные пятнышки значительно шире и толще, но и они страдают от перенапряжения, когда на бешеной скорости проскальзывают все варианты нужной вещи, которых, как правило, не счесть. Как в таких условиях углядеть приоритетное? Как, не растерявшись, успеть нажать на Сигнальный Бугорок? А не успеешь углядеть или, что ещё обиднее, углядев, не успеешь нажать — заново становись в очередь… Да. Посетить Матину придётся. Как бы там ни было, фея фее всегда поможет.

Сабатина решительно тряхнула овальной головой и стала собираться. Поверх домашнего балахончика, такого, впрочем, красивенького, что годился бы и для летательных танцев, она набросила надувную пелеринку, чтобы шея во время полёта отдыхала; сверху натянула летательный плащ, предварительно опрыскав его отображением парфюма «Плезенс», который очень нравился фее Матине. «Надо подарить ей этот парфюм. Весь флакон», — вспыхнуло в осознании. Она положила отображение флакона с парфюмом в подмышечный карман плаща и стартовала, направив тело по овальной траектории.

Продолжение следует

Валентин Нервин. Музей. Стихи



Нервин Валентин Михайлович. Родился в 1955 году. Член Союза российских писателей, автор 12 книг стихотворений. Лауреат литературных премий им.Н. Лескова (Россия) и им.В. Сосюры (Украина), специальной премии Союза российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» (в рамках Международной Волошинской премии-2013), Международной Лермонтовской пре-мии (2014). Стихи переводились на английский, немецкий, румынский, украинский языки. Живет в г. Воронеже (Россия).

"...и через призму окаянных дней
увидеть человеческие лица..."

Имена Мандельштама, Пушкина, Сент-Экзюпери, Бунина, Блока пусть не обманут читателя тревожной оглядкой на классику, на великих: это всего лишь привольное гуляние в вечном лесу, среди мощных деревьев, шелест листвы которых и есть мы сами, наше сегодня.
Валентин Нервин — свободный собеседник классиков, и в то же самое время он идет по нынешней улице и дышит сегодняшними окаянными днями, и знает, что Владимир Высоцкий и Борис Рыжий живы так же, как Есенин и его странная и прекрасная Айседора. Русская литература, тем более русская поэзия — чудесная обитель для странников; странник и пилигрим, поэт идет по свету так же, как движется по страницам любимых книг, и мир встает перед ним и торжественным парадным лицом, и рваной трагической изнанкой, и этот мир — целокупный, целостный: он всецело принадлежит поэту.

"От немыслимого чуда,
коему названья нет,
и до той поры, покуда
существует белый свет,
может статься, недалече.
Но от века — там и тут -
по этапу русской речи
нас конвойные ведут..."

Елена Крюкова

* * *

Стихи всегда слагаются в бреду –
на русском, украинском или идиш –
когда легко идешь на поводу,
но самого поводыря не видишь.
Создатель бредил миллионы лет,
но свет определяется в итоге
и люди, понимающие бред,
уже не потеряются в дороге.

МУЗЕЙ

Люблю читать стихи моих друзей:
со временем оценят их и даже
откроют удивительный музей
поэзии, любви и дружбы нашей.
Какой-нибудь смешной экскурсовод,
сверкая вдохновенными очами,
посетует, что пили напролет
и даже колобродили ночами.
Поведает о бедности пенат,
где бушевали бешеные страсти;
кто и когда по жизни был женат,
и вообще ходок по этой части.
Но главное, чем славится музей
и дышит сокровенная свобода –
прекрасные стихи моих друзей.

Всё остальное — от экскурсовода.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ БУНИНА

Когда вас покидает благодать
и нет обетования в Отчизне,
какое счастье Бунина читать
и через это возвращаться к жизни.
Нам выпало укорениться в ней,
перечитав урочные страницы,
и через призму окаянных дней
увидеть человеческие лица.

КЕНЖЕЕВ ВАРИТ ПЕЛЬМЕНИ

Когда поэзия до фени,
среди Соединенных Штатов
Кенжеев варит пельмени
из русских полуфабрикатов.
В России ямбу и хорею
воздали больше, чем Аллаху;
но, что позволено еврею,
непозволительно казаху.
Судьба закручивает гайки
и безнадежно устарели

филологические байки,
рассказанные в Коктебеле.
Стихи приходят ниоткуда,
хотя поэзия до фени.
Скажи спасибо, что покуда
Кенжеев варит пельмени.

ПИЛИГРИМ

Всегда не хватает любви и тепла:
последний поэт коктебельской эпохи

живет на какие-то жалкие крохи,
живет на подачки с чужого стола.
Что гений? –
убыточное ремесло:
немного бомжует и много бичует,
с оказии в теплоцентрали ночует
и хочет уехать туда, где тепло.
Среди вавилонских и русских земель
петляет во мраке тропа пилигрима,
который мечтает добраться до Крыма,
где ждет, не дождется его Коктебель.

СИМОНОВ

Поэту Симонову было
тогда не больше тридцати:
весна цвела, жена любила,
у поколения — в чести.
У времени свои законы:
его лирический герой
носил армейские погоны
и портупею с кобурой.
По ходу лет, на удивленье,
менялись люди и миры –
жена ушла и поколенье
помалу вышло из игры.
Настало время одиночек,
седого дыма без огня
и больше не случилось строчек
пронзительнее: — Жди меня…
Война списала на потери
все категории добра
и на потертой портупее
висит пустая кобура.

АНТУАН

Антуан де Сент-Экзюпери
был пилот, писатель и пижон –
черт его за это побери,
потому что перся на рожон.

Этот невозможный Антуан –
даром, что писатель и пилот,
часто опрокидывал стакан
и летал, забыв про самолет.
Улетел и сгинул без следа
между небом и Па-де Кале.
Маленькие принцы никогда
не живут подолгу
на Земле.

* * *

Фонарь у дежурной аптеки,
поставленный, как оселок…

Ах, люди мои, человеки,
что вам обезумевший Блок?
Что вам, современные скифы,
готовые к бою с утра,
чужие печали и мифы,
когда на работу пора?
У вас грандиозные планы
и замыслы, благодаря
тому, что «духи и туманы»
решительно до фонаря!

* * *

Осень играет страстями
на убывание дней,
листья швыряет горстями
в сторону жизни моей.
Всё суета и химера,
но от угла до угла
возле Петровского сквера
тень Мандельштама легла.

* * *

Александр Сергеевич Пушкин —
замечательный русский поэт.
Из учебника по литературе

По дороге на Черную речку
начались Окаянные дни.
Не гаси поминальную свечку,
заодно и меня помяни.
От Воронежа до Магадана,
дорогая Отчизна, пора
помянуть Александра, Ивана,
Михаила, Бориса, Петра…
Мы хлебнули из пушкинской кружки
и до срока сошли в Интернет.

Александр Сергеевич Пушкин –
замечательный русский поэт.

* * *

…какое раздолье для скорби!
Сергей Гандлевский

По всем углам неласковой Отчизны,
где трын-трава дороже, чем трава,
последние часы нелепой жизни
растратив на красивые слова,
мы вымираем, хуже тараканов,
и вылетаем задом наперед
из края одноразовых стаканов,
который без поэзии умрет.

* * *

Мы выживали времени назло,
как все послевоенные подранки.

Когда я становился на крыло,
в меня уже стреляли из берданки.
Не наших бьют
и наших тоже бьют –
я знаю птиц высокого полета,
которые о Родине поют,
а их за это из гранатомета…

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

Мы, рожденные из праха,
презирающие страх,
что мы знаем кроме страха,
превращающего в прах?
Кроме бедности и боли,
кроме смертного греха,
кроме ветреной юдоли
гениального стиха?..

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МЕЖИРОВА

Холодно, голодно и неуютно -
разве что, горе еще не беда.
Век начинался коряво и смутно
и не кончался уже никогда.
Что остается ему, инвалиду
первой, а также второй мировой?
Он опоздал на свою панихиду
и не избыл темноты вековой.
Над Вифлеемом звезда догорает
и выгорает звезда над Кремлем,
а инвалид на гармони играет
и громыхает своим костылем.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Кто бывал на Ваганькове ночью
и не сбился, по пьяни, с пути,
тот, наверное, видел воочию,
как двоится душа во плоти.
Проходя между раем и адом
по извечному краю земли,
он, наверное, слышал, как рядом
голоса одичалые шли.
Огради его, крестная сила,
от погибели ночь напролет! –
во спасенье души над могилой
сатанеющий Ангел поет.

ПАМЯТИ ЛЬВА ЛОСЕВА

Зачем, фортуне вопреки
(а, может, и благодаря),
пошли хорошие деньки
на коньяки да вискаря?

Пока Пегас копытом бьет
по человеческой судьбе,
никто с тобой не помянет
того, что умерло в тебе.

ПАМЯТИ БОРИСА РЫЖЕГО

на долги и работу — забить,
возвращаться на автопилоте
и кого-нибудь так полюбить,
что забыть о долгах и работе.
Может, жизни осталось на треть,
может быть, вообще не осталось;
так позвольте ему умереть
от любви,
о которой мечталось!..

АЙСЕДОРА

Иногда по ночам
на погосте туман
и гуляет нечистая сила.
Айседора Дункан,
Айседора Дункан,
ну, зачем ты его полюбила?
Босоножка, на кой тебе эта Москва
и поэзия русского хмеля,
золотые слова и дурная молва,
ритуальные танцы метели.
Целовала порывисто и горячо
по завету свободы и плоти,
а потом перекинула шарф за плечо,
потому что судьба на излете.
Всё на этой земле
волшебство и обман,
быль и небыль, любовь и могила.
Айседора Дункан,
Айседора Дункан,
ну, зачем ты *его* полюбила?!.

* * *

От немыслимого чуда,
коему названья нет,
и до той поры, покуда
существует белый свет,
может статься, недалече.
Но от века — там и тут -
по этапу русской речи
нас конвойные ведут.
Оттого, что уязвимы
наши души во плоти,
все пути исповедимы,
кроме крестного пути.

Поминай меня, Иуда,
от угара этих лет
и до той поры, покуда
существует белый свет.

* * *

От рождения сентиментален,
а заносит — не знамо, куда:
я, как муж, не всегда идеален
и хороший отец — не всегда.
Не могу разобраться во многом
но пожизненно горд оттого,
что стою перед Господом Богом
и читаю стихи
для него.

Наталия Шайн-Ткаченко. Два рассказа: Жемчужный Раврегель и Усмешка Экклезиаста

Меня зовут Наталия Борисовна Ткаченко. Литературный псевдоним Наталия Шайн-Ткаченко содержит кусочек девичьей фамилии. Родилась в 1947 году, в Польше. Подолгу жила в Лиепае, Москве, Баку. С 1990 в Израиле. Окончила МАИ. Инженерный способ мышления с тех пор так и не изменился. Пишу миниатюры, рассказы, повести и даже лимерики, публикую всё на сайте «Проза.ру» и частично в электронных журналах ИнтерЛит и Зарубежные задворки.

Интонацию Наталии Шайн-Ткаченко не спутать ни с чем и ни с кем.
Она живая, яркая и контрастная.
В ней много лирики и фантазии.
Эти признаки бесценны — они говорят читателю прежде всего о самом авторе: о личности, наполненной несомненной жизненной силой.
Любовь к жизни брызжет из всякого фрагмента этих рассказов; ход, как по лезвию бритвы, по грани фантастики и реализма, насущных вещей и ярко горящего вымысла, как любой риск, и безумен и оправдан.
Нет художника без риска.
Над рассказами Наталии Шайн-Ткаченко можно веселиться, грустить, задумываться... и в результате полюбить их, как счастливо найденный эквивалент авторской неуемной души...

Елена Крюкова

Жемчужный Раврегель
(Из цикла «Иронические предположения о будущем»)

Старая записка

Я бросила школьный портфель на стул, схватила собранную с вечера сумку с купальником. Тренировка через двадцать минут, времени — только добежать.

И увидела ключ на столе.

На моём брелок с сердечком, а этот — с самолётиком.

Брат забыл?! Что же делать? Родители вернутся нескоро, я ждать балбеса здорового не могу. Заскочить к нему в институт? Некогда мне!

Положить ключ под коврик? А откуда он узнает, где искать?

Хватаю листок бумаги, пишу три слова. Нет, ну какая я умница?!

***

Как же мне всё здесь нравится! Давно мечтал перейти в знаменитый институт, согласился бы на любой отдел. Наверное, самая интересная работа из

всех существующих, да ещё и зарплаты отличные, и повышение квалификации оплачивают. Попасть сюда неимоверно трудно. Образование-то у меня подходящее, резюме вообще будь здоров, но на собеседовании (народ рассказывает) вопросы нетривиальные, прям головоломки.

Вот сейчас и проверю. В худшем случае, вернусь на старое место, я ж не сказал никому, что иду пробоваться в NNN, не дурак.

— И последнее задание. Вы, конечно, заметили эту картинку. Да-да, в рамочке. Датируется примерно концом двадцатого — началом двадцать первого столетия. Это копия, оригинал находится в Музее цивилизаций.

Такой артефакт называется «записка». Рассмотрите хорошенько, вам придётся ответить на два вопроса. Первый: почему именно эти три слова являются девизом одного из отделов нашего института. И второй: какого именно отдела. Пятнадцать минут. Время пошло.

Сребровласая красотка-экзаменатор сфокусировала затылочный глаз на висящей за её спиной небольшой табличке в экзобальтовой рамке, и три слова засверкали в воздухе передо мной: «Ключ под ковриком».

Старинный рукописный шрифт. Материал называется «бумага», но сейчас не об этом.

Будем считать, «ключ» — именно отпирающее устройство, на варианты просто нет времени.

Двадцатый век. Что-то запертое, заКЛЮЧенное.

Тюрьма? Не годится из-за «коврика».

Склад, хранилище, бункер — то же самое.

Чемодан? Ага, и коврик к нему. С пылесосом.

Сейф! Глупости, кто ж оставит… как это называлось… наводку на ключ?! Там же всякое такое хранили, ценное…

Нащупал! Именно через второй вопрос: девиз какого отдела! Я давным-давно изучил структуру института и функции подразделений.

Так-так… это, и вот это… всё увязывается! Вперёд, некогда долго думать:

— Полагаю, речь идёт о ключе от двери какого-то доисторического жилища. Перед такими входами расстилали ковры, текиновские — это название сырья типа рогожи или из шкур недовымерших животных. В знак уважения к прибывшим пешком, то есть ногами…

— Поняла, историю древнего мира вы знаете. Ближе к теме, пожалуйста!

— Да-да, просто я думал, вам интересен ход мыслей…

Если дверь заперта, значит, хозяин желает открыть её сам, чтобы отфильтровать посетителей. Трансэкраны-то появились намного позже. А если указано место, где лежит ключ-открывалка, вот это — «под ковриком», кто угодно его возьмёт, откроет и войдёт! Без всякого предварительного распознавания!

Вопрос: зачем тогда было запирать дверь?! Вот главное! Лишняя, легко исключаемая операция!

Поэтому мой ответ такой: в ОТДЕЛЕ МИНИМИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ слова «Ключ под ковриком» могут являться для сотрудников постоянным напоминанием о целях и задачах их деятельности, то есть служить мотивирующим лозунгом.

Ну и заодно добавлю: в данном случае минимизация может заключаться не только в отмене нецелесообразной процедуры «запирания двери», но и…

Красавица улыбнулась и прервала:

— Ответ правильный, поздравляю! Можете приступать к работе немедленно.

Воодушевлённый удачей, счастливый, я осмелел:

— А можно мне именно в этот отдел? Я о нём с детства мечтал!

Через полгода успешного служения на ниве минимизации действий я предложил ещё один лозунг: «ОДНИМ МАХОМ СЕМЕРЫХ ПОБИВАХОМ». Что означает последнее слово, найти не смог, но это не помешало, прошло «на ура».

А ещё через пять лет за гениальное, без ложной скромности, «НЕ СЛОМАНО — НЕ ЧИНИ!» удостоился поощрения в виде недельного отдыха в античных Септерамидовских садах. Мог выбрать Лунный комплекс, но там я уже бывал.

Мы выбираем?! Нас выбирают!

Тяжёлый Груз Ответственности не давал расслабиться. Пришлось взять очередной информационный пакет, предоставленный разведгруппой, и начать изучение. Не хочется-то как… Но этот Груз (чтоб ему сила тяжести уменьшилась стократ!) давит на меня физически.

Иллюстрированный заголовок пропускаю**:** набор символов пока ничего мне не говорит, а картинка может повлиять на объективность. Нереально огромный опыт позволяет сразу вычленить главное по функциям и техническим характеристикам. Концентрируюсь (в прямом смысле — обращаюсь в сгусток по Грузом) и начинаю фиксировать мнение в установленном порядке:

1. Конструкция объекта имеет очевидные недостатки: хрупкость, быстроту старения материалов. Подвижные соединения ненадежны, замена элементов возможна, но проблематична.

2. Энергопотребление на приемлемом уровне, но разброс по допустимым видам источников минимален. Проброс некоего (смысл не установлен, но связь очевидна) условного знака — «срок годности» — ведёт к длительной нерабтоспособности объекта с отвратительными сопутствующими явлениями.

3. Сенсоры пяти (по некоторым данным шести) разных типов объединены в общую систему. Сигналы передаются на незащищённое центральное устройство, при выходе из строя которого мгновенно утрачиваются адекватные реакции и объект теряет способность функционировать.

4. Температурный диапазон отсутствует, допустимая температура постоянна в пределах погрешности измерений.

5. Предпочтительное положение в пространстве — с минимальной высотой центра тяжести, т.е. горизонтальное. Объект стремится принять указанное положение в каждый данный момент времени. Отсутствие освещения приводит к немедленному огоризонтавливанию всех изучаемых объектов.

113. К неоспоримым достоинствам относятся:
самообучаемость
самовоспроизводство
всего два (по некоторым данным три) типа проработки экстерьера

Вывод: Адаптационные свойства — ниже всякой критики.

…Намучились мы как-то с этими авторепродуктивными.

Разведчик ошибся, а эксперт хвалёный вовремя не обнаружил... Ну, и где же ты, эксперт — конкурент? То-то же. А вот участников экспериментального встраивания в объект искренне жаль: на всю оставшуюся жизнь нарепродуктировались.

Но и сам я, когда был молодой-фиолетовый, серьёзно напахал.

Да-а-а, и как раз на этой планете! Почему-то решил, что огромное туловище и очень длинная шея компенсируют миниатюрность «центрального устройства» на конце этой шеи. Чуть было не устроил своим сородичам весёлую жизнь после встраивания. Но эксперты сработали как надо и вовремя отклонили.

С высоты всего пережитого история эта кажется смешной, а тогда пришлось мне поработать в жутко периферийной, поистине чёрной дыре.

Никто не хотел там служить, направляли в виде наказания. Чтобы потом более вдумчиво исследовали, кого предлагать. Без волюнтаризма.

В мою задачу тоже входило экспериментальное встраивание в выбранный другими разведчиками объект. Судя по результату — выбранный такими же идиотами.

Страшно вспомнить, как меня из него выдирали. Ужас, еле откачали. Я даже цвет поменял. Вместо элегантного гиацинтового стал светло-серым, правда, с приятными на ощупь радужными переливами…

Что-то я отвлёкся. Осталось сформулировать вывод.

Резюме:

Планета KOXGMS#3. (Расшифровка: Каталог Омара Хайяма—галактика Млечный Путь—звезда Солнце—третья планета)

Обнаружен единственный материальный объект, обладающий второй сигнальной системой.

Один из вариантов самоназвания объектов «зимляне», предположительно — производное от местного названия планеты.

Для встраивания переселенцев не подходит по большинству параметров.

Решение:

На данном эволюционном этапе предложение ОТКЛОНЯЕТСЯ.

Наблюдаемые мутационные процессы позволяют вернуться к рассмотрению через разумный промежуток времени.

***

Работа закончена. Осталось избавиться от Груза Ответственности — личного охранника и одновременно надсмотрщика. (Этот Г. меня совершенно подавляет! Я буквально теряю лицо!)

Обязательно скопировать материал для посмертной славы: когда-нибудь я прекращу свое существование, и только благодаря моим секретным материалам ОТКЛОНЁННЫЕ узнают, какая тонкая грань отделяла их от высокой чести стать нашими восприемниками. Как-нибудь переведут на свою знаковую систему, на то им «центральное устройство» дано.

Теперь можно и картинку рассмотреть. «Картинка» — конечно, рабочий сленг. Реально это объемная проекция каждого из выбранных типовых объ-

ектов. Одна из них обладает очень симпатичными внешними формами, с такими изгибами в разных плоскостях…

Без Груза я легко принял любимый облик. Слышал, разведчики сравнивают его с Жемчужным Раврегелем (не знаю, не видел, но лестно). Протянулся частью себя и погладил самую привлекательную выпуклость проекции.

Одна-а-ако… А не стоит ли пересмотреть решение?!..

Записки Жемчужного раврегеля

Я разведчик. Долго работал в поле. Теперь, конечно, мой громадный опыт предпочтительнее использовать для оценки данных и подведения предварительных итогов.

Я провожу экспертизу и по результатам пишу отчёты с рекомендациями.

А Верховный Комиссариат принимает окончательное решение: годится ли данная планета для нашего очередного перемещения.

Вернее — подходят ли её обитатели (мы называем их «объектами») для встраивания. Уютно ли, удобно ли будет нам в новых вместилищах.

Отчёты всегда пишу в свободной форме. Конечно, не выходя за принятые рамки.

И вот вчера, к вящему своему изумлению, получил письмо от редактора крупнейшего художественного издательства: они намерены выпустить сборник этих материалов отдельной книгой!

«Разрешение Главы вашего ведомства получено.

Главное Управление Цензуры дало принципиальное согласие.

Дело за малым: мы хотели бы получить краткое предисловие с упором на аспекты творчества.

Как вы работаете? Какие видения посещают вас при изучении сухих данных и приложений?

Как вам удаётся писать отчёты в настолько увлекательной форме, что молодёжь ими зачитывается?!»

Начальник экспертного отдела — это я сам. Значит, связались с Верховным Комиссаром. Делать нечего. Придётся не только дать разрешение на публикацию, но и написать предисловие. Ради блага общества.

Всё складывается удачно даже в мелочах. Я всегда копировал документы для личного пользования: всерьёз задумывался о посмертной славе.

Что ж, славой в профессиональных кругах я не обделён и при жизни, скажем прямо — знаменит, но материалы продолжают накапливаться. Иметь все меморандумы и отчёты в непосредственном доступе без необходимости сообщаться с Центральным архивом удобно. К тому же при контакте с архивным желе я всегда ощущаю неприятную турбулентность в пограничном слое.

Мне совершенно чуждо тщеславие, но, право же, издание книги воодушевляет. Замечательное (и вещественное!) признание заслуг перед родной Ма.

Ещё и переводы сделают…

Пожалуй, целевой аудиторией определю всю разумную часть Вселенной и дам некоторые пояснения. Иначе не поймут.

И — внимание! Требуется КРАТКОЕ предисловие! Знаю за собой грех: увлекаюсь. Перечитаю свои материалы и начну излагать.

Планета наша, Ма, для веселия прекрасно оборудована, кроме одного — массивное ядро обусловливает очень высокую гравитацию. Мы приспособились, но устаём. Необходимо периодически перебираться на более лёгкие небесные тела.

Во избежание конфликтов с местными обитателями просто встраиваемся в них, восстанавливаем силы — и затем возвращаемся на родную Ма.

Кто хочет, тот возвращается. Однако в последнее время наметилась тенденция оставаться на этих временных планетах. Особенно после того, как…

Ох, забегаю вперёд. Ничего, редактор вычеркнет.

Как именно я работаю?

Для экспертизы всегда перебазируюсь на исследуемую планету. Со мной путешествует Груз Ответственности — это не метафора, это существо. Оно придавливает меня к месту, частично возвращая привычную тяжесть Ма. Я же не отдыхать сюда приехал, а работать.

Итак, я ввожу себя в обстоятельства образа действия, места и времени.

Изучаю пищу, проникаюсь атмосферой, пейзажи, архитектуру, искусства. То есть пристально вглядываюсь в обстановку, не приступая пока к основному — к объектам.

Воочию вижу, как бы мне жилось при этом цвете неба, ароматах, суточном ритме освещённости.

То есть силой своего незаурядного воображения создаю якобы обитаемую среду на новой для меня планете.

Только после фиксации своих непосредственных впечатлений, начинаю изучать материалы полевых разведчиков. За сухими данными таблиц стараюсь увидеть объекты; представить, как они движутся, чем и о чём думают. Их привычки. Обычаи. Степень агрессивности. Коммуникации.

Любовь. Способы её выражения.

И только после того, как виртуально воссоздаю себя внутри такого объекта, добавляю визуальную информацию — изучаю его объёмную проекцию, так называемую «картинку».

Попросту — смотрю, как буду выглядеть. То есть включаю своё эстетическое чутьё.

И оно меня никогда не подводит!

Например, именно сейчас осваивается новая планета, по нашему каталогу KOXGMS#3. Самоназвание, употребляемое аборигенами, — «земля».

Когда-то очень давно я отклонил это предложение разведчиков — объекты представились мне слишком хрупкими и ненадёжными.

Но занёс в свой напоминальник: через некоторое время повторно проверить эту «земля».

Именно потому, что объект в одном из вариантов экстерьера показался мне чрезвычайно привлекательным. Чисто эстетически. И, не стану скрывать, осязательно.

И что же?! Направление стало приоритетным! Именно с этой планеты наблюдается наименьшее число возвратов на Ма. Более того, теперь в верхах всерьёз ведётся обсуждение постоянной колонизации «земля».

И всё на основе того давнего отчёта! Мне, действительно, есть чем гордиться!

Так в предисловии без ложной скромности и напишу.

И предложу псевдоним «Жемчужный Раврегель» — это имя дали мне молодые разведчики — моя смена, мои последователи и, как оказалось, поклонники и обожатели.

Что касается самих текстов, писать их несложно. Сначала заполняю формальные бланки, а потом просто облекаю в слова яркие видения, разворачивающиеся перед моим внутренним взором.

Как правило, Груз Ответственности к этому моменту убывает на отдых, и я принимаю любимый облик Жемчужного Раврегеля, напоминающий неглубокую лужу.

Выйдет книга — появится великолепный дополнительный материал для изучения меня и моего творчества.

Если же колонизация «земля» произойдёт, откроются блестящие перспективы для Вселенской славы.

Осталось только проверить догадку о причине массовых невозвратов на родную Ма. Сдаётся мне, всё дело в последнем пункте, как я его назвал — Любовь.

Всепроникающее чувство. Им обладает каждый объект «земля». Проявляется по-разному, иногда деструктивно, но чаще вызывает всплеск ментальной, химической, творческой и ещё нескольких видов энергии вплоть до световой.

Необъяснимым пока образом мы, коренные жители Ма, после встраивания приобретаем этот восхитительный, неописуемый дар: внушать и ощущать Любовь…

Пожалуй, подготовка книги — удобный повод дать настоятельную рекомендацию: колонизация «земля» послужит благу всех обитателей планеты Ма. Экономические выгоды можно не упоминать. Достаточно рассказа про Любовь.

Следует поторопиться: век мой долог, но не бесконечен. Я сам должен успеть встроиться.

Да! Конечно! Дважды!

Сначала встроюсь в объект типа «алеф» (по нашей классификации). Он более крупный, плоский, с минимальными выпуклостями. С более активным поведением. Туземцы обозначают его знаком «*М*». Мечтаю опробовать все касания и прочие способы выражения Любви. Никогда не забуду, как в давние времена я протянулся частью себя и погладил всего лишь объёмную проекцию объекта «бет»!

Для обозначения этого типа экстерьера, «бет» — с ярко выраженными выпуклостями в разных плоскостях — аборигены используют тот же знак, только обёрнутый и усложнённый, «*Ж*». Какие же упоительные эмоции, должно быть, испытываешь, когда находишься в материальном теле объекта «*М*» и прикасаешься к объекту второго типа, «*Ж*»!

А затем… Затем я перевстроюсь в объект «бет»! То есть физически сам превращусь в «*Ж*»!

Даже моему богатейшему профессиональному воображению не дано провидеть, что я почувствую «на той стороне». И захочу ли вернуться на Ма…

Усмешка Экклезиаста

...много книг составлять — конца не будет,
и много читать — утомительно для тела.
Экклезиаст

Море навсегда

Фрукт — яблоко, поэт — Пушкин. Море — Балтийское.

Дочь морского офицера просто обязана вступить на сцену жизни на корабле. Так и произошло. Переход из Свинемюнде в Либаву я совершила на «Комсомольце» шести месяцев от роду. Мы должны были идти немного раньше, на другом судне. Но что-то задержало папу в городе моего рождения, и корабль вышел в поход без нас. И подорвался на мине, оставшейся после войны.

Отец мой уже один раз догонял переполненный трамвай в своей родной Одессе. Догнал, даже за поручень ухватился, а его кто-то с подножки стащил и уцепился сам. Этот «кто-то» триумфально ехал до первого поворота, где трамвай опрокинулся…

Море в моей жизни — повседневность.

Сырость на потолке, потому что от дома до моря пять минут ходу через узкую полосу Приморского парка.

Луч маяка. Широкий, неяркий. Можно долго следить за ним, удобно устроившись на подоконнике. Высветлились верхушки сосен, свинцовое небо над ними. И стало мутно-сиреневым — и вернулся сумрак. Снова луч мазнул невесомо… И так без конца. И только слушаешь далёкий заунывный гудок. Над морем туман.

Балкон, обращённый на запад. Выходишь посмотреть, как солнце сначала медленно, а потом сразу и набок заваливается за линию, где море сливается с небом. Любуешься неповторимыми закатными акварелями и заодно покуриваешь тайком.

Пляж, где мы проводили целый день, забегая домой пообедать. Кожа становилась цвета сосновой шишки, с отливом в чернь на сгибе локтя. Русые волосы мои выгорали добела.

Короткая светлая ночь после выпускного. Собирались погулять по пляжу, но дошли только до края асфальта: пожалели новые туфли на тонких каблучках. Мы что, ночного моря не видели? Кинематографический штамп, не будем уподобляться!

А впрочем, совсем ночного-то никогда и не видели, пограничники выгоняли засветло. Зато ранним утром развлекались на широкой вспаханной полосе, передвигаясь задом наперед, как будто шпион вышел из моря. И наследил босыми детскими пятками…

И первая паника, первый испытанный кошмар — тоже море.

Только что я копошилась в тонком белом песке, всё время чувствуя, что мама здесь. Даже если она ко мне не прикасалась. Слышала её тихий смех. Только что перелезала через её загорелые ноги на другой край расстеленного одеяла, чтобы взять синюю формочку с рыбкой…

И вдруг — все исчезло! Я одна! Одна в глухой тишине! Появились какие-то бесчисленные чужие ноги. Они бесшумно двигались в разных направлениях, обегали меня со всех сторон, но среди них не было маминых! С родинкой под правым коленом!

Рёв «ой-де-моя-мама?!!», говорят, слышали на том берегу, в Швеции.

Три метра, на которые я успела отползти, мама преодолела одним прыжком. Я вцепилась в неё всеми четырьмя конечностями, прижалась щекой к родинке под правым коленом…

Два десятилетия присутствовало в моей жизни другое море, Каспийское. Тёплое, пахучее. Изумительно чистое на Северной ГРЭС, с радужной мазутной плёнкой у Приморского бульвара. Море моей мамы, бакинки.

— Икру берёшь? — Таня заглядывает в приоткрытую дверь. — Гасан звонил.

Как же её не взять, доставленную прямо на работу, паюсную, свежайшую. Правда, упаковка в полкило дороговата. Спускаемся в фотолабораторию и на точных весах делим на порции по сто-двести грамм…

***

Более четверти века мы живём в небольшом городе на краю большой пустыни с библейским названием Негев, что означает «юг». И до одного из наших трёх морей час езды. Близко, но шум прибоя не доносится...

Я отползла уже дальше, чем на три метра. И светлые волосы мои побелели не от солнца. Но иногда так хочется закричать «ой-де-моя-мама?!!». Закричать тихо-тихо, чтобы услышали на том берегу…

Что почитать?!

— Почипай!
— Доченька, мне некогда, попозже.
— Почип-а-ай!
— Марина, почитай Сашке, я занята, а она не отстанет.
— Ну мам, у меня свои дела, уроки и вообще…
— Уроки ты сделала, а «вообще» подождет. Я кому говорю?!

— Липучка! Про жука хочешь? Давай вместе. "Я нашла тебе жука на большой…"
— Рома-а-ашки-и-и!
— "…не хочу держать в руках, пусть сидит…"
— В карм-а-а-ашк-и-и!!!

***

— "Бабушка, это я, Красная шапочка, принесла тебе пирожки и горшочек масла"...
— Дальше не читай, мне не нравится.
— Сказка хорошо кончается, что там может не нравиться?
— Не чита-а-а-ай! Бабушку проглотили, внучку проглотили, потом ещё волка убили, а он просто голодный был! Не чит-а-а-й!
— Не буду, не буду. Только не плачь. Так, а что можно? «Снежную королеву» хочешь? Да что ты за ребёнок такой! Чего ревёшь? Да уж, похоже, наш эксперимент проваливается…
— Ну па-ап! Не надо про Кая! Сам попробуй такое длинное слово сложить, когда букв не знаешь! Герда за него все уроки делала, он читать не умеет. А тут «вечность» из льдинок… И рукам холодно!
— Ты уверена? Я почему-то помню по-другому… Не реви! Что тут ещё есть? Вот, «Кот в сапогах». Согласна? Читаю?
— Не-а, не читаешь. Мультик включай! А то опять реветь буду!
— Ну ты шантажистка! Что делать, давай мультик… И как это мама умудряется тебе что-то читать?! Нет-нет, только не начинай! Да уж, Сашка, удивила…

***

— Ма-а-арин, что мне читать?

— «Витя Малеев в школе и дома».

— Не смешно.

— «Улица младшего сына».

— Я же серьёзно.

— Ну, если серьёзно, тогда…. Вот, «Капитан Сорви-голова».

— Эт про что?

— Эт про англо-бурскую войну.

— Не хочу про войну!

— Дурочка, это в Африке война… Вот, теперь ты от меня отстанешь. Майн Рид, шесть томов. Начинаешь с «Квартеронки» и вперёд до «Всадника без головы». Дочитаешь — поговорим.

— Эт про что?

— Эт про любовь. Устраивает?

— Сашка, почему Майн Рид там валяется, а ты здесь?.. Ты что читаешь?! «День египетского мальчика»?! Опять?!! Ты же вырастешь ограниченной, тупой, однобокой дурындой, станешь позором семьи!

— Мама, Маринка у меня книжку отбирает!

— Кто занимается твоим эстетическим воспитанием?

— Папа, конечно. Эй, а ты думала — ты?! Да кто ж тебе доверит… А-а-а! Мама, Маринка мне по уху заехала! Всё, я оглохла и музыкой больше заниматься не смогу никогда!

***

— Привет, студентка. У тебя получаются неплохие письма, молодец.

На, читай. Я специально свою очередь к твоим каникулам подогнала.

— Эт что?

— Эт «Мастер и Маргарита». Деревенщина московская, у вас в общаге что, не обсуждали?

— Нет, я и от москвичей не слышала. Эт про что?

— Сашка, немедленно ложись и читай!

— Сейчас. Погоди, а где мой Вознесенский? «Груша» где?

— Ты только не злись, но я поменялась на Пастернака…

— Моего Вознесенского?! На неизвестно кого?!

— Мама, Сашка дерётся!

***

— Марин, что читаешь?

— Донну Каран. Прислать файл?

— Эт про что?

— Эт венецианские детективы, стильные, перевод вполне приемлемый...

Взрослая девица, а всё детективами пробавляешься… Мне можно! У меня вкус развит, а ты с этим чтивом вконец деградируешь. Вот, читай Екатерину Марголис, «Следы на воде». Тоже Венеция, только это настоящая проза и язык отличный.

— Давай свою Марголис, воспитательша на мою голову... А я Аксёнова скачала, «Таинственная страсть», о шестидесятниках. Рождественский, Вознесенский… Как ты мою «Треугольную грушу», а?

— А ты зато Пастернака зажала…

***

— Марин, что мне писать? Как Вадька в булочной у тётеньки хлебушка попросил, а ты, когда из обморока очнулась, его убила — это почти готово. Ту историю в кафе, которая мексиканский сериал, заканчиваю, завтра пришлю. А ещё? Что из твоих авантюр мне сгодится?

— Расскажи, наконец, правду, как ты мне Вознесенского подарила и забыла, и всю жизнь врёшь, что я твоей книжкой поменялась. Или перепиши стихами «День египетского мальчика». Заодно и перечитаешь!

— Стихами?! Ну и шуточки же у тебя! А впрочем, можно попробовать…

Старик

На музыку к трём, папка с вечера собрана. Сегодня среда, если выйти на десять минут раньше, можно будет постоять в аллее, позавидовать, как кто-то в том домике разучивает Рахманинова.

Саша положила на раскалённую сковородку отбивную, поставила перед тарелкой раскрытую книжку. Мясо громко шкворчало, и Саша не сразу расслышала тихий стук. Мама ключ забыла? Нет, рано ещё.

Девочка перевернула отбивную и побежала открывать.

На пороге стоял высокий худой старик в сером костюме. Перед собой он обеими руками держал старую хозяйственную сумку. Саше бросились в глаза обшарпанные рукава пиджака и очень белые манжеты рубашки.

— Мама дома? — хрипло спросил мужчина и посмотрел куда-то поверх Сашиной головы.

— Здравствуйте, мама придёт через полчаса. Что-нибудь передать?

Саша удивилась, откуда у мамы такой странноватый знакомый, но ни в голосе, ни в манере держаться ничего настораживающего не было, и Саша не испугалась.

Старик замялся и, опустив глаза, спросил:

— Девочка, ты не могла бы дать мне немного денег?

— Денег? Но у меня нет… — в замешательстве пробормотала Саша. — Я могу только… Подождите!

Саша закрыла дверь, помешкала и набросила цепочку, стараясь не звякнуть. Ещё обидится…

Она выключила газ под сгоревшей отбивной, открыла окно и заметалась по задымлённой кухне.

Положила отрезанный для себя кусок хлеба в чистый пакет с ручками. Передумала. Схватила всю буханку, завернула, как получилось, в большую бумажную салфетку. С другой салфеткой побежала в столовую: вернувшись из школы, она заметила на самоварном столике слоёные булочки из кондитерской — мама, наверное, утром купила. Подумала «одна же точно моя?», уложила в пакет и побежала в кладовку.

Где-то здесь должны быть болгарские консервы. В их северном городе ни виноградные листья, ни баклажаны (мама смешно называет их «демьянки») не продаются. Консервы эти мама покупает для себя, больше никому не нравятся, а папа обзывает их «ностальгическими».

Две банки пошли в пакет. Что ещё… Обратно в кухню, добавить тот ломоть хлеба, хорошо, не успела откусить… Всё, больше ничего не придумывается.

— Возьмите, пожалуйста, — Саша протянула старику изрядно набитый тяжёлый пакет. — Извините, денег у меня нет, но вот тут хлеб и ещё что-то…

Старик без улыбки поклонился, обеими руками принял пакет, выронив свою кошёлку. Сдерживая слёзы, Саша подняла пустую сумку, помогла уложить в неё пакет. Старик повесил сумку на локоть, ещё раз поклонился, что-то еле слышно пробормотал и медленно пошёл вниз по лестнице.

Анна Сергеевна понималась на четвёртый этаж. Крутились в голове домашние заботы вперемежку с преподавательскими…

Что это, Сашка играет свои «каляки»? Импровизирует — ладно, но в миноре? Допустим, тоже не новость, но ей же на музыку к трём!

Последний пролёт Анна Сергеевна пробежала через две ступеньки. Ещё неожиданность: возле двери на салфетке стоят две консервные банки. Ничего себе, это же её «псевдобакинские», долма и имам баялды, любимые! В сторонку их, сначала выяснить, что тут произошло.

Саша услышала, как мама открывает дверь, вытерла припухшие от слёз глаза и вышла в прихожую.

— Доченька, ты всё сделала правильно, — мама с Сашей, обнявшись, сидели на диване. — Сейчас только позвоню Кате: надо убедиться, что её отец добрался до дому благополучно. Мы не рассказывали тебе, трудно было предположить, что он придёт, а меня нет.

Этот старик когда-то жил в нашем доме, мы были знакомы. Но теперь ему одному жить уже тяжело. Поэтому Катя, старшая, забрала его к себе. Они все тут живут, рядышком. Но вот видишь, он иногда на автопилоте приходит сюда и почему-то просит у меня денег. Только у меня! Я всегда даю, конечно. А Катя потом возвращает. Он совершенно ни в чём не нуждается, но вот замкнуло что-то…

Не плачь, дурочка ты моя хорошая! Иди, собирайся. У тебя первый урок какой, ансамбль?

Саша кивнула. Мама не ругала ни за свои консервы, ни за то, что оставила дом без хлеба. Старика всё равно очень жалко, хоть он оказался не бездомным и не нищим. Саша снова заплакала:

— А что, папа тоже таким станет?! Когда постареет?! И мой муж тоже?!

Анна Сергеевна погладила дочь по голове, потом щёлкнула по носу:

— Насчёт мужа не знаю, подрасти сначала, невеста. Но ни у папы, ни у меня в роду этой болезни не было. Может, обойдётся. В крайнем случае, ты тайно, как сыщик, проследишь: к кому это мы ходим? Договоришься с теми добрыми людьми, они заведут специальную коробочку, а ты будешь им для нас денежку оставлять…

— Не хочу я договариваться! Мам, ну хватит, ну пожалуйста…

— Успокойся, шучу я. Мы раньше помрём, до такой болезни ещё дотянуть надо… Всё, Саша, начинаем жить. — Мама решительно встала. — Я звоню, а ты беги, опаздываешь. Скрипач уйдёт, с кем сонаты играть будешь?

Поздним вечером Саша проснулась от тихих голосов, доносившихся из спальни. Она так измучилась за этот бесконечный день, что одетой заснула на своём диване в столовой, не слышала, как мама постелила и уложила её уже по-человечески.

Родители обсуждали сегодняшнее происшествие. Подслушивать некрасиво, но, во-первых, разговор шёл о ней, а во-вторых, она же не специально!

— …слишком чувствительная, тяжело ей придётся. Забрать воспитание в свои руки, что ли...

— Ха-ха, ты опоздал ровно на двенадцать лет. Во-первых, перерастёт. Во-вторых, Зойку ты воспитывал, вот она и болтается теперь по Гималаям всяким. Нет уж.

— Может, она не то читает? Этого итальянца, как его… Из рук не выпускает?

— Де Амичис, «Сердце». Ну да, как раз о сострадании, детская книжка. Да ладно, всё будет хорошо. У такого папеньки…

— Да при такой маменьке! Ты бы всё-таки острила осторожнее, я сам чуть не зарыдал, когда она мне допрос устроила… Не шуми, дитё наше сентиментальное разбудишь. Но ты всё-таки подсовывай ей читать что-нибудь повеселее.

Саша поплотнее укуталась в одеяло. Не сердятся. Книжку не отбирают. Мама банки протёрла, одну сразу открыла, вторую унесла в кладовку. Но как деликатно этот дед консервы вернул! Не постучал, поставил тихонько под дверь — на салфетку!

Интересно, что такое весёленькое подсунут. «Старика Хоттабыча»? Так читала уже.

Девочка закрыла глаза и через мгновенье услышала мелодию. Завтра. Завтра надо будет записать...

Не люблю я музыку

Не люблю я музыку. А за что мне её любить?

За одиннадцать лет многочасовых занятий? Даже в каникулы!

За неистребимую манеру вслушиваться в сочетания звуков и вздрагивать от диссонансов?

За то, что не разрешили заниматься теннисом — от ракетки рука «затягивается»?

«…Посеешь привычку — пожнёшь характер. Посеешь характер — пожнёшь судьбу.»

Да, именно об этом. Тот ещё характерец выработался, сама сознаю.

И при этом профессией музыка всё-таки не сделалась.

В шестом классе я готовила к полугодовому экзамену двенадцать «Бирюлек» Майкапара. Среди них «Мотылёк».

Играю перед уроком, жду Гину Алексанну, учительницу. Врывается в класс незнакомая девочка, спихивает меня со стула и говорит:

— У тебя не мотылёк, а бегемот какой-то! Вот как надо!

И большими, мягкими, пластичными руками играет порхающую бабочку.

— Я Неля. Папу сюда перевели из Балтийска, так что… Привет.

И убегает. Упорхнула мотыльком.

Родителям стоило больших трудов уговорить меня не бросать занятия.

Если я такая бездарность, зачем тратить время?! Уговорили.

Но «мотылёк» вселился навсегда.

В конце третьего курса училища начинается подготовка к выпуску.

Мы выбрали этюд Шопена No14 — мелкая техника у меня хорошая.

Выученные, отработанные вещи мы, пианисты и скрипачи, сегодня играем в большом зале. Завуч записывает исполнение на студийный магнитофон. Прослушиваем.

Вот Клара играет Листа. Блестяще, это же Клара. Дальше скрипка, Брамс.

Теперь Шопен.

Эх, мне бы такую технику! Чисто, музыкально, аккуратное ritardando*. Надо ж, помарка именно там, где и я чуть лажанула…Генриэтта смеётся: «Сашка, это же твоё исполнение! Не узнала?»

Я ошеломлена. А как же «мотылёк»?!

И вершина — четвёртый курс, незадолго до выпускных экзаменов концерт с оркестром.

У меня есть склонность форсировать звук*. Превосходный педагог Генриэтта Александровна Северская выбрала произведение Георгия Мушеля, современного советского композитора, не самого известного. Такая музыка могла превратить мой недостаток в достоинство: prestissimo, forte fortissimo…

Как раз для моей маленькой сильной руки и исполнения очертя голову.

И вот концерт. Партер уж полон. Ложи блещут… Да ладно, большой училищный зал, какие ложи…

Студенты, преподаватели, родственники. С удивлением вижу половину моего десятого «Б» общеобразовательной им.Пушкина! Кто-то организовал, а мне и не сказали.

Играем. Всё нормально, летим, грохочем. Дирижёр Карл Бунка, старый, в благородных сединах и чёрном костюме. Всё видел, всё знает. Вот он меня и спас.

Играю сложный пассаж, далее оркестр, теперь мне вступать…

Мамочки (я тогда ещё не материлась), куда вступать-то?! Не помню!

Пусто, тихо, становится темно и очень спокойно…

Бунка поворачивается ко мне и полушёпотом командует:

— Саша! С пятой цифры!

Вот где мой форсированный звук пригодился!

Это Латвия — выстраивается очередь с цветами для солистки. Европейские манеры, европейские обычаи. Небольшие элегантные букеты — это хорошо: вязанку я бы дрожащими руками не удержала.

Пианистка-третьекурсница целует и тихо спрашивает, о чём это мы болтали с Бункой.

Красавец-одноклассник поздравляет с успехом и добавляет, что никак не ожидал такого темперамента…

В общем, «мотылёк» размером с птеродактиля.

Так что же, совсем ничего хорошего годы серьёзных занятий музыкой в характер не привнесли?

Врать не буду. Есть кое-что. Не считая развитой зрительной памяти, чувства отрезков времени и умения держаться на сцене.

Скрябин, «Ноктюрн для левой руки». Как же мне нравится это произведение! Но рука маленькая, дециму* не беру.

Нет преград для настоящего желания! Не получается в лоб — возьмём с тылу.

Не хватает руки на широкий аккорд? А мы его арпеджируем*!— заявляет Генриэтта.

Это тоже осталось на всю жизнь — не бояться неординарных решений.

С такой рукой, без абсолютного слуха, даже при полученной рекомендации, в консерватории делать нечего.

Ладно, пошли в МАИ. А там знаменитые на всю Москву фестивали. Играем! «Мотылёк» трепыхается за пазухой. С переменным успехом изживаем животное из характера. Не только из музыкальной его составляющей…

***

Не люблю я музыку. Потому что не могу её не слушать.

Не могу писать под музыку.

Не могу читать.

Работать совершенно невозможно, а это приводило к конфликтам с сослуживцами. Для них музыка по радио — «белый шум» между выпусками новостей.

Если музыка появляется в пространстве, ни для чего другого места уже не остаётся.

А ещё иногда звучат мелодии, которые никто, кроме меня, не слышит…

---

* Ritardando — замедляя.

* Форсировать звук — играть слишком быстро, слишком громко, напряжённо.

* Децима — интервал в десять ступеней, например, «до» первой октавы — «ми» второй. Маленькой рукой не возьмёшь.

*Арпеджировать — играть звуки аккорда не вместе, а один за другим. Допустимая хитрость, если очень хочется, а как написал Скрябин — не получается.

Виктор Орешкин. Тени Невского проспекета. Стихи

Виктор Георгиевич Орешкин — петербургский поэт, педагог, музыкант. Член Российского межрегионального союза писателей. Преподаватель вузов Санкт-Петербурга, руководитель творческих мастерских и педагогических семинаров. Режиссер и участник литературно-музыкальных программ, объединяющих лирику и русский романс. Сборники стихотворений: «Навеяно тобой», «Обратный отсчет» (2006), «…И мой садик камней» (хайку, 2007), «Платок Дездемоны» (2007), «Четырнадцать строк о любви. Сонеты» (2010), «Тринадцатый этаж» (2011), «Под крылом грифона» (2014), «Этюды и пассажи» (2016), «Цветные сны» (2017).

Старый Питер. Петербург — Петроград — Ленинград...
Жизнь канувшая. Жизнь минувшая.
И — жизнь нынешняя, время сиюминутное — драгоценное, как все проходящее и преходящее.
Виктор Орешкин — поэт памяти. Его лирика безыскусна и правдива.
Его муза гуляет по Невскому проспекту, бродит по достоевским дворам, где "Истории настойка / И свиданья горькое драже". Она бежит по улицам детства, катит в троллейбусе, что "усталую память везет в Ленинград".
Эта память ласкает и будоражит. В ней — явный привкус горечи, в ней тени и призраки войны и улыбки мимохожих людей.
Это та лига, что связывает мотив воспоминаний и мелодию нынешней радости.

Елена Крюкова

***

Нам не понять прогулочную спесь
Теней былого Невского проспекта,
Когда бурлила ядерная смесь
Желаний, флирта, чести, интеллекта…

Мы стали как бы старше, и важней
Становится укрытие от ветра,
С годами преодолевать сложней
Четыре с половиной километра.

За домом дом — по списку имена,
Но лица в окнах видятся неясно,
И каждая, по сути, сторона
По-прежнему печальна и опасна.

Адмиралтейский компас так же крут,
Как идеалы и былые споры,
Однако рядом терпеливо ждут
Объятия Казанского собора.

Тогда организуем свой досуг,
А платежи долгов пока отложим.
Ах, Невский, ты несносный старый друг!
Позволь мне снова быть твоим прохожим.

***

Старый фонд, железные ворота,
Город остается за спиной.
Магия дворового прохода,
Что опять ты делаешь со мной?

Путь несложен, но пройти придется,
Бросив беглый взгляд на письмена
Серых стен, и в глубине колодца
Ощутить судьбу свою сполна.

Кем ты был снаружи — здесь неважно,
Это дно не знает суеты,
На тебя внимательно и страшно
Смотрят с подоконников коты.

И незряча стекол глаукома,
Дух портьер колышется слегка,
Чтоб намек о жизни в недрах дома
Легкие узнали облака.

Где-то их щекочут новостройки
Бликами высотных этажей,
Ну а здесь — истории настойка
И свиданья горькое драже.

Книги, чай, фиалки, фортепьяно,
Надо всем словесности полёт –
Так живет неспешно и упрямо
Питерской культуры старый фонд.

***

Я больше о нем не грущу, не мечтаю,
По улицам прежним теперь не пройти,
И ногтем замерзшие стекла трамвая
Тревожить не буду на долгом пути.

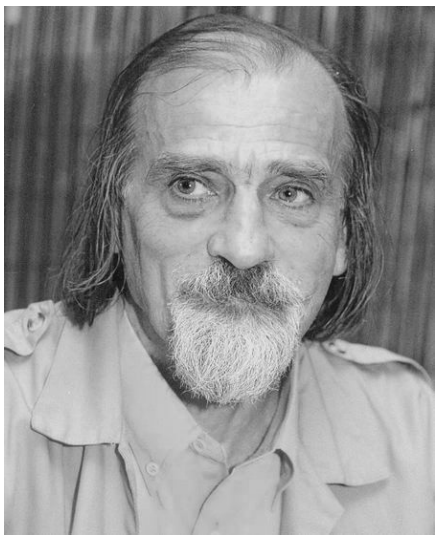
А улицы детства звучат по-иному –
Историкам в радость, а нам невдомек,
Теряется в прошлом дорога до дома,
Где вечером поздним горел огонек.

Черемухам старым пришлось потесниться,
Теперь вместо них дорогие авто,
Мы делаем вид, что как будто столица,
И зябнем по-прежнему в старом пальто.

Осталось прожить, ни на что не надеясь,
Чтоб солью не стать, обернувшись назад.
Последней пчелою пузатый троллейбус
Усталую память везет в Ленинград.

Ефим Гаммер. Хронпас. Мозаичная повесть мятежного столетия

Окончание. Начало в № 12 (42) 2017



Ефим Аронович Гаммер — член правления международного союза писателей Иерусалима, главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» — радио «Голос Израиля» — «РЭКА», член редколлегии израильских и российских журналов «Литературный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские зори». Член израильских и международных Союзов писателей, журналистов, художников — обладатель Гран При и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии. Живет в Иерусалиме. Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), впоследствии жил, работал, закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге (Латвия), автор 23 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Среди них — Бунинская, серебряная медаль, Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Петербург. Возрождение мечты, 2003». Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Белый ворон», «Новый журнал», «Встречи», «Побережье», «Слово\Word», «Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писатель», «Вестник Европы», «Время и место», «Стрелец», «Венский литератор», «LiteraruS — Литературное слово», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», «Сура», «Приокские зори», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Литературные кубики», «Дон», «Ковчег», «Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», «Дерибасовская — Ришельевская», «Мория», «Наша Канада», «Новая реальность», «Под небом единым», «Меценат и мир», «Дальний Восток», «Экумена», «Наше поколение», «Белый ворон», «Русское литературное эхо», «Новый свет», «Флорида», «Студия», «Кругозор» и т.д.

Жизнь жестока и ярка.

Жизнь велика, и трудно уложить ее в рамки.

Это всеобщая жизнь; а каждая, отдельная?

Из кусочков смальты складывается гигантская мозаика.

Человек молча несет лепту свою — себя самого, — кладя в историю, в ее уникальную копилку.

Ефим Гаммер жизнь свою сопрягает, сочетает с огромной жизнью огромной страны; и внятно ему в ней все — трагедия и ужас, безобразие и красота, героизм и боль, непонимание и бесчестье.

А в чем святость? В чем тайна?

Быть может, в детстве, откуда мы все родом?..

Елена Крюкова

63

Мы, дети Победы, рождённые в 1945-ом, с малолетства играли в войну.

Для нас, рождённых евреями, самым обидным было — «евреи воевали в Ташкенте».

О том, что произошла Катастрофа европейского еврейства, нам не говорили. Но многие из нас, в отличие от ровесников, не досчитывались дедушек и бабушек, нашедших свою могилу в Бабьем Яру, Освенциме, Саласпилсе, Румбульском лесу, под Ригой. И если мы вспоминали о них, убитых только за то, что родились евреями, нам тут же в очередной раз давали понять: евреи воевали в Ташкенте и никто их там не убивал.

Такое было у нас детство.

Мы играли в войну.

Враги убивали нас «понарошку» и бежали домой — похвастаться перед дедушкой и бабушкой о своей победе.

Мы тоже убивали наших врагов «понарошку». И тихо радовались между собой, сидя на парковой лавочке. Нам некуда было бежать к дедушкам и бабушкам. Их, прежде нас, навестила война.

64

Жили-были… Искали свою «правду жизни». Пусть босоногую. Но непременно боевитую, скроенную по росту и без обмана. Подстать пиратскому символу, выцарапанному ножичком на сырой стене нашего подвала. Ни ушей, ни носа. Голова — череп с пропалинами вместо глаз. В руке абордажная сабля, за поясом пистолет, над Кащеевыми костьми-плечами вскинута бурка Чапая.

Эх, и хороша была правда жизни! Кто устоит — не сдрейфит, в особень, если вражиной попрет в наши пределы? Никто! Как встанем против! Как двинем по мозгам! И беги от нас — драпай, не оглядываясь! Били мы рыжих, били мы чумазых, били тех, кто в крапинку. И верховодили в Старой Риге, на территории от Главного универмага — «Асопторга» до набережной.

Хорошо-то как! А когда «хорошо», ищешь чего-то еще. Чего? Того, чего не хватает.

У нас было все. Офицерские погоны и самокаты. Ножи, рогатки, динамитные шашки. Невосприимчивость к боли, бесстрашие и драчливые кулаки в придачу.

Все у нас было. Не хватало только славы. Газеты о нас не писали. Радиоточки о нас помалкивали.

Стыдно подумать, какой-то сопливый шалопай, с рожей, что фингала просит, остановил поезд на подъезде к лопнувшей пополам рельсе. И вот — пожалуйста! — растекся по плакатам, в журнале о нем пропечатали: «Так поступают советские люди!» А мы — что? Не советские? Мы бы тоже поезд остановили. Только бракованных рельсов на всех не напасешься. А подпиливать их боязно, да и во «вредители» можно невзначай записаться вне очереди.

Как же быть?

Мы собрались на совет в нашем штабе, под босоногой, но боевитой «правдой жизни». И стали соображать на пятерых.

Первым сообразил Жорка.

— А если гайку сбоку от рельсы отвинтить?

— Было! У Чехова! — вспомнил самый образованный из нас на тот исторический момент Гриша Гросман, старший брат Леньки. Это он после читки романа «Петр Первый» присвоил себе звание «бомбардир», а потом, закончив начальную школу — четыре класса, перестал с нами водиться и передал «бомбардира», как титул по наследству, Эдику Сумасшедшему.

Эдик Сумасшедший «артиллерийским отличием» очень гордился, хотя Алексея Толстого не читал. Он и Чехова не читал. Он вообще никого не читал. Но разве от этого меньше будешь гордиться, когда тебя величают на царский манер «бомбардиром»? Нет, меньше не будешь! Поэтому, преисполненный великой гордости, он подумал и сказал. Почему — «подумал и сказал»? Потому что, он или думал, или говорил. А тут — гордость не тетка! — у него случился форменный свих мозги, и он подумал и сказал одновременно.

— Мы живем не на том свете! — подумал и сказал в нашем подвале Эдик Сумасшедший.

Гриша Гросман, перешедший в пятый класс как раз сейчас, в пору разоблачения «врачей-отравителей», тоже подумал и тоже сказал:

— Ребята, живите себе дальше. Где хотите, там и живите. А я двину к бабушке. Есть у нас еще дома дела.

И, удивительно, таки ушел.

Ленька, его младший брат, пояснил:

— Бабушка Ида просила мусор сегодня выбросить.

Мусор — не мусор, но теперь нам пришлось соображать на четверых, без самого образованного и башковитого — выпускника начальной школы Гриши Гросмана, который запоем глотал книжки, одну за другой, чтобы поумнеть к старости.

Мы вновь уставились на Эдика Сумасшедшего. Эдик Сумасшедший вновь раскрыл рот и сказал:

— Мы живем не на том свете! На том свете, как мне говорила мама, полный порядок. Там всем хорошо. И у всех, значит, слава. Божья слава, — поправился он. — А здесь — советская власть. Значит, Бога нет, и Божьей славы нет тоже. Как же нам здесь добыть немножко славы для себя, если Бога нет?

— У меня предложение, — сказал Жорка.

— Ну?

— Рыбу мы глушим?

— Ну?

— Предлагаю расщедриться на одну шашку динамита и…

— Ну?

— И подложить под этот барахольный примус-паровоз, чтобы о нас уже один раз написали в газете.

— В какой? — психанул я. — Какая выходит в детской колонии, да?

Жорка смущенно пожал плечами.

— Нет, нет, нет! Нам такой подвиг не нужен! — заволновался Эдик Сумасшедший.

— Подвиги на улице не валяются. Придумай другой, — пробормотал Жорка.

— А чего придумывать? Чего? Сдадим нашу типографию в музей — и всех делов! В этой типографии и напечатают про нас в газету! — завелся Эдик Сумасшедший.

— Эдик! Да ты, чокнулся! — взвыл я от душевной боли. — Куда нам без типографии? А если завтра война, если завтра в поход и нас опять оккупируют? Кто будет за нас печатать прокламации, если отдадим типографию в музей? Рыжие? Чумазые? Те, кто в крапинку?

— Рыжие не будут, — сказал — не подумал Эдик Сумасшедший.

— И чумазые не будут, — уныло согласился Жорка

— А те, кто в крапинку…

Про них и слышать никто не желал.

— Сдаем типографию! — вздохнул я. — Слава дороже.

Типография не упала к нам с неба. Типографию мы отыскали в земле. Вернее, под землей, когда подле нашего дома, во дворе, у заднего входа в булочную, хлебный фургон провалился колесом в какое-то безвоздушное пространство. Фургон счастливо избежал поломки, уехал себе по добру-по здорову. А мы сунулись в пролом, и — о, чудо! — там типография, точнее сказать, небольшой по размеру печатный станок, набор шрифтов и вразброс листовки на латышском языке. Кому принадлежало все это богатство? Мы посовещались и решили: разумеется, главному в Риге борцу с фашистами — подпольщику и Герою Советского Союза Иманту Судмалису. Кому же еще? Вот оказывается чью, так и не разысканную гестаповскими ищейками типографию, отыскали мы прямо у себя под боком, в собственном дворе, на Аудею, 10. Вот, оказывается, что предстояло сдать по инициативе Эдика Сумасшедшего государству — на добровольных началах, когда вольному воля, но под расписку о неразглашении нашей тайны.

В чем же тайна? Тайна, понятно и мухе, отныне уже не в типографии, раз мы сдаем ее государству, а в дырке от колес автофургона. Ведь там, на дне секретной дырки, кроме печатного станка и шрифтов, мы изыскали еще кое-что. Что? Не скажу. Лишь намекну. Подумайте сами, что можно найти там, где подпольщики штамповали свои листовки? Догадались? Вот и оставайтесь со своими мизерными догадками, скажем, об одном пистолете системы «Вальтер», пяти динамитных шашках и двух русских гранат РПГ, которыми тоже сподручно глушить рыбу. Отдавать все это заодно с типографией? Не слишком ли жирно будет музею? Музею это было бы слишком жирно, нам — в самое то! И мы, не привлекая ничьего внимания, аккуратно замаскировали дырку от автомобильного колеса, чтобы взрослые не обнаружили наш клад. Но как быть с печатным станком? Как сдать его в музей, чтобы вышло без подозрений по нашу душу? И я догадался — «как»

Сейчас и вы догадаетесь.

— Давайте, — говорю пацанам, — придумаем обходной путь.

— Какой?

— Обходной. В обход музея. И зашуруем нашу типографию сначала в лавку утильсырья. Металл? Металл! Потянет на полный карман денег.

— А что скажем?

— Скажем, нашли в подвале.

— А утильщик?

— Утильщик — не лох. Сразу увидит: ценная вещь и потащит нас в музей. А оттуда уже и до газеты рукой подать.

План всем понравился. Леньке и Жорке во второй своей части, когда я упомянул о газете. Эдику Сумасшедшему — в первой, когда я сказал — «потянет на полный карман денег». Он и взвалил печатный станок на загривок, загрузил холщовый мешочек шрифтом и поволокся на улицу Малая Калею, к утильщику на прием.

Утильщик принял его, как и положено, с полным уважением.

— Здравствуй, если не шутишь.

— И мы к вам с приветствием.

Эдика Сумасшедшего утильщик знал и ценил за старательность и физическую силу, а также за то, что попусту глаза человеку он не мозолил — всегда приходил с «товаром на продажу».

— Что принес? — спросил и на сей раз. — Ого! — восхитился. — Клади на весы.

Утильщик взвесил печатный станок, взвесил мешочек со шрифтом. Взял карандашик, почиркал им в блокнотике, умножая килограммы на копейки. И вывел какую-то умопомрачительную цифру — в пятнадцать рубчиков.

— Довольный? — поинтересовался у Эдика Сумасшедшего, который был, несомненно, довольным. Но довольным не полностью. Почему — не полностью? Потому что смотрел в проем двери и видел наши насупленные физиономии.

— В чем дело? — снова поинтересовался утильщик, но теперь не только у Эдика Сумасшедшего, а у нас всех вместе.

— А музей? — сказал я от дверей.

— Какой музей? — удивился утильщик.

— Типография! — пояснил я. — Подпольная — не хухры-мухры!

— Ишь ты!

— Да там листовка имеется!

Эту листовку, одну из тех, что валялись у кассы со шрифтами, мы специально вложили в печатный станок, чтобы утильщик обратил на нее внимание. Вот он, по моей наводке, и обратил на нее внимание. Взял в руки, поелозил пальцем по строчкам и вдруг как-то странно стал озираться по сторонам: не подсматривает ли кто-то, не подслушивает?

— А вы, ребятки, по-латышски кумекаете?

— Еще нет. У нас латышский, по новым правилам, с третьего класса.

— А у меня всю жизнь, — сказал утильщик. — По старым правилам.

— Так что там написано? — наседали мы в нетерпении.

Утильщик поскреб себя по затылку.

— Я вам прочитаю. После этого, конечно, надо идти в музей. Но не вам. Если вы пойдете с этой листовкой в музей, за вами придут из музея с милицией.

Утильщик посмотрел на нас, будто мы все сумасшедшие, хотя превосходно помнил: сумасшедших много не бывает — достаточно и одного на всю честную компанию.

— Слушайте и запоминайте!

И он начал читать вслух, сначала по-латышски, потом в переводе, по-русски.

«Братья, латыши! — читал он, близоруко щурясь. — Все, как один, на борьбу с оккупантами! Кто расстреливает нас по ночам? Оккупанты! Кто превращает нас в рабов? Оккупанты! Смерти — смерть! Вставай на борьбу латышский народ! Мы победим! Латвия будет свободной!»

Сквозняк героических слов потянул Эдика Сумасшедшего наружу.

— Годи! Годи! — придержал его за рукав утильщик. — Твой папа, сказывают, сидел, а?

— Мабуть, сидел…

— По какой статье?

— Ни по какой статье он не сидел. Он вообще никуда не пишет. Даже кассационных жалоб прокурору. Он вор. За воровство и сидел.

— А тебя — будешь выступать — потянут по пятьдесят восьмой. Знаешь такую?

— Я ничего не знаю! Я Эдик! Я Сумасшедший! Спросите у каждого. У меня даже справка есть.

— И у меня справка есть.

— И вы? — удивился Эдик.

— Спроси у каждого, — усмехнулся утильщик. — Так ты хочешь еще в музей?

— Не пугайте меня тюрьмой! — взвизгнул Эдик Сумасшедший и рванул сквозь нас, прижимая к сердцу пятнадцать честно заработанных рублей.

Мы переглянулись: не пора ли и нам делать ноги?

— Идите-идите, мальчики, — сказал утильщик, складывая бумажку пополам и пряча ее в боковой карман пиджака. — Вам лучше не ходить в музей с этой подозрительной полиграфией, иначе за вами придет милиция и спросит: а где остальное? Я сам схожу в музей, объясню им… принесли, мол, сдали, салаги… и на свободу убегли с чистой, так сказать, совестью. А кто — что? Не знаю. Мое дело — сторона. Я утильщик. У меня и справка есть…

И остались мы без славы и публикаций в газете, хотя наша типография и попала в музей. Зато милиция за нами из музея не пришла, и Эдика Сумасшедшего не посадили в тюрьму, куда передачи носить не самое большое удовольствие, ибо в магазинах ничего нет, кроме очереди. В тюрьму же малолеток без паспорта не пускают на променад, а если и пускают, то сразу на три года за «хулиганку» или «поножовщину».

Кому это хочется? Ни мне, ни Леньке, ни Жорке этого не хотелось. А Эдику Сумасшедшему тем более. Папа у него сидел. Брат у него сидел. Зачем же еще сидеть и Эдику? Лучше ходить в сумасшедших, чем сидеть. Тюрьма — не слава! Обойдется и без нее!

Жили-были… Искали свою «правду жизни». Пусть босоногую. Но непременно боевитую, скроенную по росту и без обмана. Подстать пиратскому символу, выцарапанному ножичком на сырой стене нашего подвала. Ни

ушей, ни носа. Голова — череп с пропалинами вместо глаз. В руке абордажная сабля, за поясом пистолет, над Кащеевыми костьми-плечами вскинута бурка Чапая.

Жили-были, верховодили в Старой Риге, как памятники на кладбище, к которым без цветов и не подходи — страшно.

Жили…

65

Сталина разоблачили. Ленина не тронули. «Мы на правильном пути». «Коммунизм строить молодым».

Папу, поэта — разоблачил. Маму, домохозяйку — не тронул. Зубрил моральный кодекс строителей коммунизма. На торжественной линейке вместе со всей красногалстучной пионерской гвардией захоронил в металлическом ящичке брошюрку до восьмидесятого года, когда, согласно захороненной брошюрке, построят коммунизм. Наступил восьмидесятый, выкопал брошюрку — самому припомнить, да и деткам прочесть о том, какой рай на земле отгрохали.

Читает. Строчки пляшут, в глазах двоится.

«Четырехчасовой рабочий день!»

«Бесплатный общественный транспорт!

Ни тебе жилищной проблемы!

Ни тебе нехватки продуктов на душу населения!

Ни тебе того! Ни тебе этого!

Так ничего-то и нет. Кроме очередей.

— Братцы-люди! Строили, строили! А ничего-то и нет, ничегошеньки! Что же это такое мы построили? Очереди?

Набежали люди. Зырк глазом туда, зырк сюда. Что дают? Видят: «Программу строителей коммунизма». Набросились на духовную пищу. Чтобы хоть чем-то червячка заморить.

Заморили. Смехом.

Правда, и людишек потом заморили. Уже не смехом. Лекарствами, от которых не до смеху... Ибо читая книгу, должен видеть фигу. А видишь нечто иное, не верь глазам своим!

66

Новый 1957 год Симона Синьоре встречала вместе с Ив Монтаном в Кремле. В полночь, под звон курантов, она удостоилась жарких лобзаний руководителя партии и правительства Никиты Сергеевича Хрущёва.

Потом Симона Синьоре вспоминала: «Никто меня так страстно никогда не целовал!»

Понятно, что после такого признания, прошедшего по страницам газет многих стран, завидки взяли верного соратника Хрущёва, которым, как известно из истории предательств был Брежнев.

Через несколько лет, сменив на посту хозяина, Леонид Ильич принялся усердно целовать всех генсеков братских партий, принимая их в аэропорту по пьяной забывчивости за Симону Синьоре. Но никто из вкусивших аромат брежневских губ впоследствии не обмолвился о его поцелуях столь же восторженными словами.

Может, целовал он не тех, кого следовало?

67

Вспоминается, в детстве, когда я читал книгу Бунина, папа говорил мне, что ходил с ним, Иваном Алексеевичем, по одним улицам в Одессе. Было это в девятнадцатом году.

— Бунин был совсем взрослый и знаменитый, — говорил папа, — и ходил напротив моего дома по той улице, что вела в гостиницу и ресторан.

— А я был совсем еще маленький, — говорил папа, — и отирал клешами тротуар в обратную от Бунина сторону, так как мне надо было поспеть в «хедер» — еврейскую школу для начинающих.

— Бунин писал «Окаянные дни» в Одессе, — продолжал папа, — а я в Одессе примерял на себе эти дни окаянные: по росту ли? тут не жмут? там не тянут? И убедился, сшиты они на вырост. До скончания века. А если и на размер меньше, то — ничего: голову отсечешь, и в самый раз покажутся.

— Папа, — поинтересовался я. — По твоему рассказу выходят, что все люди после примерки оставались без голов?

— С головой сынок не придумаешь, что при нашей бедности по части питания и одежды, но при наличии воровства и хамства можно коммунизм построить за двадцать лет.

— А за сколько можно, если с головой?

Папа, тогда промолчал. Слишком неожиданным был для него переход из голодного девятнадцатого года к Хрущёвским утопиям шестидесятого. Он близоруко сощурился, подняв на меня глаза. И, казалось бы, взглянул в день сегодняшний из своего детства, из того, памятного всей еврейской (и не только еврейской) Одессе октября 1919 года, когда в городской газете «Южное Слово» были опубликованы заметки Ивана Алексеевича Бунина.

«Опять еврейские погромы, — писал он. — До революции они были редким, исключительным явлением. За последние два года они стали явлением действительно бытовым, чуть не ежедневным. Это нестерпимо. Жить в вечной зависимости от гнева или милости разнузданного человека-зверя, человека-скота, жить в вечном страхе за свой приют, за свою честь, за свою собственную жизнь и за честь и жизнь своих родных, близких. Жить в атмосфере вечно висящей в воздухе смертельной беды, кровной обиды, ограбления, погибать без защиты, без вины, по прихоти негодяя, разбойника — это несказанный ужас, это мы все — уже третий год переживающие «великую русскую революцию», — должны хорошо понимать теперь. И наш общий долг без конца восставать против всего этого, — без конца говорить то, что известно каждому мало-мальски здравому человеку и что все-таки нуждается в постоянном напоминании. Да, пора одуматься подстрекателям на убийство и справа и слева, революционерам и русским и еврейским, всем тем, кто уже так давно, не договаривая и договаривая, призывает к вражде, к злобе, ко всякого рода схваткам, приглашает «в борьбе обрести право свое» или откровенно ревет на всех перекрестках: смерть; смерть!» — неустанно будя в народе зверя, натравливая человека на человека, класс на класс, выкидывая всяческие красные знамена или черные хоругви с изображением белых черепов».

68

— Высшее счастье для революционера — это месть, — говорил Сталин.

Поэтому был извлечён из Мавзолея и сожжён. Тем, кто изображал себя шутом перед ним, а у зеркала революционером.

Сталину выдалось жить 73 года и несколько месяцев. Характерно, что Нострадамус предсказал Советскому Союзу тот же срок существования — 73 года и несколько месяцев.

Будь Маяковский преклонных годов, то написал бы: «Мы говорим Сталин, подразумеваем — Советский Союз. Мы говорим Советский Союз, подразумеваем — Сталин».

Но мы не говорим. Мы думаем. В особенности о «высшем счастье революционера», в понимании товарища Сталина.

И вспоминается. Осенью 1944 года вся редакция газеты «Правда Востока» во имя «высшего счастья революционера», в данном случае именно счастья товарища Сталина, пошла под расстрел. За что? Всего лишь за одну пропущенную букву из опубликованного в переводе на русский 25 октября личного послания Иосифа Броз Тито руководителю Советского Союза.

В адресном обращении в слове «Главнокомандующему» корректоры пропустили букву «л». И на первой полосе возникло «Гавнокомандующему».

Просуществовало это непотребство в печатном виде совсем недолго, хотя память о нем сохранилось на десятки лет. Тираж изъяли без промедления. Редакционный коллектив расстреляли. Однако историческую память не удалось исказить. Шесть экземпляров крамольного издания неведомыми путями попали на волю. Один из них впоследствии, в пору разоблачения культа личности, был обнародован.

69

С незапамятных времен, почитай с года, так сказать, двадцать четвертого, постоянные посетители ещё деревянного Мавзолея с пристроенными весной, вскоре после смерти Ленина, трибунами поговаривали:

— Вечный — увечный, попахивает…

Солдаты караульной службы, слыша номенклатурные речи, помалкивали в тряпочку, то бишь в рукав шинели. А меж собой переговаривались взглядом:

— Труп на то и труп.

— В землю бы его, а вы под колпак.

Никого из них не посадили, не расстреляли, хотя мысли их телепатически передавались по кругу. И посетители Мавзолея подозрительно посматривали на сопровождающих.

Товарищ Сталин, как известно, обладал очень тонким нюхом. То ли нюхом ищейки, то ли нюхом борзой. Он зажимал нос, когда пахло. В особенности на лекциях Ленина, основоположника и учителя.

Из-за застарелого сифилиса учение провозвестника сопровождалось выхлопами отвратительных миазмов.

Ильич говорил о духовном разложении царской России.

Сталин думал о телесном разложении Ленина.

Ленин говорил о призраке коммунизма, гуляющем в кандалах по экономически развитой Европе.

Сталин превращал в живых призраков Троцкого, Бухарина, Рыкова, а следующую за ними кандальную группу пролетариата в фекальную массу, необходимую для удобрения колхозных полей в годину головокружения от успехов.

Стой, не колеблясь, после этого на Мавзолее и приветствуй рукой марширующих мимо людей. Надышишься гадостей, не отличишь полезного человека от зловредного, подпишешь, не глядя, чёрт знает какой пакт о ненападении,

расстреляешь уйму послушного народа, сошлёшь на Соловки все работоспособное население.

Не лучше ли вынести Ленина из Мавзолея и закопать где-то на Новодевичьем кладбище, чтобы не травиться гнилостным запахом мумии?

Но вынести Ленина непозволительно — диалектикой возбраняется.

Остаётся? Да, то самое! Руководить под влиянием тлетворных испарений, отравляющих разум. И чтобы вокруг пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

И что? А ничего — справился! Руководил-руководил, пока не присоседился к Ленину, чтобы на пару с ним портить Кремлёвский воздух, дыша которым наследники его власти пообещали голодному люду построить коммунизм за двадцать лет.

Мечтать — не вредно.

70

Князь Тамерлан, служивший революции и Наполеону, а потом ставший, как и в юности, монархистом, говорил:

— Штыками можно добиться многого. Но сидеть на них неудобно.

71

Однажды, когда Диоген по обыкновению сидел перед своей бочкой, к нему подошёл Александр Македонский и предложил сделать для философа всё, что он ни попросит.

Диоген попросил Александра Македонского отойти в сторону, чтобы не заслонял солнце.

72

И вот расскажу я вам, значит, историю, каковая явилась со мною на ниве культурного моего развития и губительной тяги к нуждам народным.

А было это в году, каком и запамятовал, но не раньше, как вознамерились мы построить коммунистическое общество за 20 лет, что позволило бы нам ни в чем не нуждаться, работать всего по четыре часа в сутки, жить сытно и радостно, смотреть в телевизор и видеть своего благодетеля в анфас и профиль.

Выдался об ту пору мороз преждевременный, но крепкий, как первач натощак. Северные реки легли под ледовой смирительной рубашкой тихо, мертво, надежно. Воздух замер по стойке «смирно». Ветер вовсе и не колышется, а с ним — жизнь, тоже ни с места, и как бы ждет повелений судьбы.

Судьба — штука, конечно, для жизни пригодная. Но гвоздя ею в стенку не вбить. И с лица ее водицы, особливо живой, не попьешь. Куда податься? Некуда. Наказали: «Сиди, паря, и не рыпайся». Все в зимний отпуск, а я — «сиди». Белый свет в копеечку, а в кармане, даже на грошовый мой интерес — ни целкового. Только и всего достояния, что народное, — судно по кличке «Смерть скарабеям». Чем оно груженое, Бог ведает.

Было мне холодно. Было мне гадко. Жить не хотелось. Мороз пробирал до костей. Но что костям моим за польза, если они не для холодца? Газеты меня не восхваляли. Писем никто мне не слал. Был я невидим и неслышен, как боец незримого фронта.

Бррр, как вспомню. Противно! Печально! И поучительно!

Однако, жить надо. Долго я думал, как быть. Наконец, додумался. Собрал остатки сил и отдал им на растерзание газетные подшивки, которые пылились в кают-компании. Вспомнилось мне на голодный желудок, что пресса бдительно стоит на страже здоровья и сытости. Если, скажем, неурод с замороженной птицей, то отыщут журналисты ученого мужа, который с апломбом докажет малообразованной своей аудитории, что картошка питательней и полезней. Если картошка сбежит от урожайности, то пропишет он массовому читателю березовую кашку. Народное, мол, средство, и очень полезно для пищеварения.

Я бы в охотку березовую кашку. Но куда ни посмотри, ни единого деревца. А о картошке или битой птице и думать не смей. Эх, тьма-таракань!!! Жрать нечего, а жить-то хочется!!! Я за газеты, и ну их пальцем слюнявым, скорей, скорей!

«Один грамм никотина убивает ломовую лошадь».

Не для меня. Лошади нет поблизости. Я бы ее — никотином — вмиг.

«Алкоголь на службе здоровью».

О! Алкоголь! На службе!

«Сухое вино содержит в себе питательные ферменты, насыщающие организм...»

Ах ты, Боже мой! Выпили ведь, все выпили, еще до первых признаков голода!

«Морская капуста ничем не уступает мясу ни по калорийности, ни по количеству белков. Японцы, питающиеся ею издревле, всегда жизнерадостны, трудолюбивы и приветливы».

Еще бы, раз не стоят в очереди за мясом!

Пойдем дальше. Мне что капуста, что мясо, все равно далеко. И вдруг!

«Ведро воды способно заменить десять грамм... масла».

Как? Целых десять грамм? Ур-р-ра!

«В последние годы повышения благосостояния и улучшения жизненных благ нашего народа пытливая мысль советских диетологов неоднократно обращала свое пристальное внимание на питьевую воду, как на удивительный по своей неисчерпаемости и витаминноемкости источник энергоснабжения человеческого организма...»

«Что показательно, без пищи человек может существовать более сорока дней, без воды, за малым исключением, всего лишь пять-шесть. Не зря ведь пелось в старой песне: «И выходит, без воды и не туды и не сюды».

«И вот диетологи под руководством Председателя Президиума совета директоров по санаторному и водоминеральному лечению, автора монографии «Жизнь после смерти» профессора Вешниеводы провели важный эксперимент. Он превзошел все ожидания...»

Каждый второй выжил, что ли?

«Эксперимент показал, что питьевая вода располагает полезными свойствами всей таблицы Менделеева, как-то: «аш-два-о» находится в ней в неограниченных количествах. Помимо того, в воде, в зависимости от того, дождевая она, колодезная или речная, наличествует калий, водород, натрий, урановые соединения…»

Будьте вы прокляты, не томите! Где масло?

«Исходя из всего вышеизложенного, вода успешно соперничает с маслом по экономическим показателям. Изготовление одного кубометра воды — дождевой, колодезной, речной — несравненно дешевле, чем бруска масла. А если учесть, что вода не только насыщает, но и дезинфицирует каждодневно кишечник, то, по всей видимости, лучшего продукта питания для прогрессивной части всего человечества еще не придумано в орденоносных лабораториях наших славных ученых»

Прочел я все это, и слюнки у меня потекли. Что за чудо вода, когда колодезная, студеная, до звона в мозгах. Витамины в ней, хлебай их ложкою, и насыщайся, прибавляй в весе, как на курорте. Даром что ли те, что посановитее, трескают «Нарзан» и «Боржоми», да не чураются прочих минеральных, с бутылочкой и без, удовольствий. Не дураки ведь, с понятием. Знают, о чем газетам лишь предстоит по указке сверху догадаться. И с каких пор! Лермонтов — не за так, почитай, прогрессивным слыл человеком — пил только ее, водицу, в Пятигорске. В ней, в родимой, выискивал все запретные для народа элементы Менделеевой таблицы, чтоб опосля обнародовать. Дать понять непутевым и страждущим собратьям, мол, за мной, за прогрессивным, человечество! А его застрелили. Прислужники царские да наймиты иностранных разведок! Все бы им, чтоб народ масло лопал и не приобщался к передовым элементам таблицы Менделеева. Чтобы жил старыми понятиями и деклассированными элементами.

Вот ведь как! А жрать хочется! С витаминами и калориями или без, но хочется. Очень.

И попер я с ведром брезентовым к проруби, что брательнику моему Емельке и не в столь голодные времена щучку выдала. «Везет дуракам», подумал, и, подумавши, зачерпнул чего-то там на счастье.

«Не повезло. Умный!» — констатировал я, вытащив полное ведро воды с разбавленной в ней нефтью, тоже, видать, из таблицы Менделеева. Обидно стало, но делать нечего. Пошел назад. Вскарабкался по обледенелому трапу на борт, да прямиком на камбуз. Вылил воду в котел. И опять новым рейсом к проруби. Ходил-ходил, пока не набрал воды вровень, по полезной емкости, с килограммом масла.

Набрал этого добра. И заскучал, на котел глядючи. До краев в нем и больше. Как напитать себя? Не насос ведь, разорвусь, калориями не докормленный. Но тут стукнул мне по башке героический лозунг: «Живым не сдамся!» И пока из глаз сыпались искры, накренил я котел, присосался, и почувствовал себя всамделишным китом.

Стал я необъятных размеров, вырос в животе до того, что живот во все стенки уперся, не пускает меня во внешний мир. Стою запечатанный в камбузе, а из разжиженного мозга фонтанчиком брызгает. Что за содержимое в том фонтанчике, непонятно. А знать очень хочется, как и кушать. Вдруг мой мозг брызжет чем-то питательным? Но чем? Во всяком случае, не марксистско-ленинской философией, потому что она не в мозгу, а в сердце. Значит… Подожди, а что у меня в мозгу? Серое вещество, извилины. И еще что-то. Недаром же вдалбливали мне всякие прогрессивные знания, чтобы через мозг напитать сердце. Но ошиблись. Чем сердце не корми… оно все равно смотрит в нужном направлении, сейчас — на входную дверь. Кто бы ни вошел, и чего бы ни вышло.

Таки вошел… И вышло…

Вошел он. Вышла она. Вода. Но это потом — со всеми калориями и в собственном соку.

Кто же вошел? Присмотрелся я — человек. Глядит на мой живот и головой покачивает. За ним вошел кот и сказал: «Мяу». Пригляделся я — кот при усах и коготочках, но почему-то с человечьей мордой. Как еврокоммунизм, должно быть.

— Паря, — сказал человек, и кот облизнулся.

— Паря, — сказал человек, — каждой твари по паре, а кот у меня одинешенек.

— Буль-буль, — закапало из меня, покатилось. И на камбузе началось наводнение.

Кот вскарабкался на котел. Человек на плиту. Я за ними. Но куда там! Воды уже по пояс. Мне никак не пробиться — не Ной. Тону.

— Спасите! — хлынуло из меня.

Кто-то руку мне протянул, то ли человек, то ли кот. Ухватился я, вполз, изловчившись, сам не знаю куда. И очутился в котле. Сверху крышкой меня — раз! — придавили, голову не поднять. Чую, огонь заиграл в плите.

— Буль-буль, — из меня.

Сварят меня в этой вонючей воде, что льется и льется из глотки.

Отравятся ведь, паразиты. Здоровья своего не сберегут.

Эх, тьма-таракань! Жить не хочется, а помирать страшно. Еще спросят всякие там с крылышками на том свете: «Чего явился?» Что скажу? Как оправдаюсь? Назад попрошусь, не отпустят.

Ой, горячо! За что мне такие страдания!? Я ли не…

О чем это я? Где моя, как ее?.. Ах да, мысль? Была? Была! Сплыла? То-то и оно!!! Сплыла-выплыла. Русалкой… из мозга — в гортань. Из гортани — в котел. Вот она, плавниками машет, мечется в воде. Знать, припекает и ее, родимую. Ну, держись, мысль-русалка! Я тебя сейчас…

Вдруг — гляди-ка, чудо — нырнула в котел кошачья лапка, исхитрилась, зачерпнула во все коготки русалку, и нет ее, мысли моей. Хрустнули надо мной русалочьи косточки и послышалось полнозвучное: «Мур-мы-у-ррр!».

Жизнь моя остановилась, хотя это безобразие и продолжалось. А потом у меня кончились мысли. Я очнулся от голодного обморока. Глядь, в руках газета, а во рту ни былинки. И возжаждал я с душевным трепетом кота, пусть он сто раз и гад.

Сожрал бы!

Собрал я последние силы и пополз в неизвестном направлении — на звук «мяу». Ну, думаю, котик, сойдешь мне за кролика.

Ползу, ползу. Вроде бы еще по палубе, а уже по мостовой. И упираюсь в очередь.

— Что дают, а?

— Мясо.

— Кошатину?

— Обалдел?! Говядину!

— Пустите к прилавку!

— Только инвалидам войны без очереди.

— А-а-а!

Легче грудью закрыть амбразуру дзота, чем пищей рот.

— За что боролись?! А-а-а!!!

Выбросили меня из очереди — за пределы сознания. Пришел в себя — вот те раз! — опять на судне.

Бррр, как вспомню.

Противно! Печально! И поучительно!

73

В 866 номере израильского еженедельника «Секрет» я прочитал заметку Владимира Иткинсона «Я видел Фаню Каплан». И мне вспомнилось, что еще в первой половине пятидесятых годов, тетя Фаня, сестра моего папы Арона Гаммера, рассказывала нам, что на последних гастролях во время поездки на Урал она видела живую Фаню Каплан.

Тетя Фаня была известная артистка цирка, в тридцатые годы — «человек-оркестр», затем — музыкант-эксцентрик. Работала в цирковых бригадах, сформированных Московской филармонией. Выступала на самых разных манежах и сценических подмостках. От крупных городов до глухой провинции — дальних сел и таежных поселков. Однажды в Усольлаге, в районе Соликамска — это в трехстах с лишним километрах от Нижнего Тагила, где она жила до войны.

Но прежде, чем артисты дали концерт, им устроили нечто вроде экскурсии, поводили по огороженной территории. Для чего? Наверное, для того, чтобы они увидели женщину, идущую им навстречу, с табличкой на груди «Я стреляла в Ленина!».

— Кто это? Кто? — спрашивали туристы поневоле у сопровождающей их женщины-надзирательницы.

И она ответила.

— Это Фаня Каплан.

— Но ее ведь расстреляли!

— Нет! Пощадили. По личному распоряжению Ленина ей подарили вторую жизнь, дабы она своими собственными глазами увидела, что дело его правое и коммунизм — светлое будущее всего человечества — победит.

Интересно, «какими это глазами» можно увидеть в концлагере светлое будущее всего человечества — коммунизм? Над этим не задумывались советские мастера пропаганды и оболванивания масс, распускающие благоприятные для режима слухи даже таким «визуальным», я бы сказал, способом. Им надо было убедить всех — от мала до велика — что «дедушка Ленин» был самым человечным из людей. Вот с этой мыслью я и должен был вступить в пионеры.

Вступил. Носил красный галстук, не догадываясь, что в ту пору, в 1954 году, сразу же после смерти Сталина, во многих городах Советского Союза объявились «живые» Фани Каплан. Своим появлением, наверное, в соответствии с логикой Хрущёва, они должны были намекать народу, что ленинский социализм был очень гуманным. Не даром же «самый человечный»

пощадил подслеповатую террористку с револьвером, начинённым отравленными пулями. Следовательно, оставайся Ильич в живых, страна пошла бы иным курсом, строя «социализм с человеческим лицом» без попутного уничтожения в лагерях и в застенках десятков миллионов людей.

А ведь тогда, в первой половине пятидесятых, до разоблачения культа и реабилитации родственников, практически в каждой семье был свой «сиделец», «враг народа» или «наймит вражеской разведки».

74

Полдень двадцатого века.

Мир литературы.

Самая популярная книга в СССР.

И. В. Сталин «Марксизм и вопросы языкознания».

«Ко мне обратилась группа товарищей из молодёжи с предложением высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма в языкознании. Я не языковед и, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей. Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому я имею прямое отношение. Поэтому я согласился дать ответ на ряд вопросов, поставленных товарищами».

(«Правда» — М., 1950, 20 июня)

Время, трудноватое для пера. Из глубины эпохи слышится сталинское: «Других писателей у меня для вас нет!».

И то!

Одни отправлены в закордонное забытье. Марк Алданов, Константин Бальмонт, Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Евгений Замятин, Дмитрий Мережковский, Владимир Набоков, Игорь Северянин, Марина Цветаева, Саша Чёрный.

Или — на расстрел. Николай Гумилёв, Борис Пильняк, Михаил Кольцов.

Или — в ГУЛАГ. Осип Мандельштам, Александр Солженицын, Варлам Шаламов.

Ретроспектива семидесятых, начала восьмидесятых годов — времён полного построения социализма в СССР и обещанного партией и правительством коммунизма.

Мир литературы.

Самое популярное в Советском Союзе произведение.

Леонид Брежнев «Малая земля. Возрождение. Целина» — трилогия.

Каждая книга издана тиражом в 15 миллионов экземпляров.

А время опять-таки трудноватое для пера. Куда ни повернись, выявляются карательные психушки для диссидентов и неподконтрольных власти покорителей Парнаса. А не хочешь подсесть на лекарства, выпрямляющие мозговые извилины в правильную сторону, уходи в эмиграцию.

И уходили, надеясь, что это не изгнание, а послание. Василий Аксёнов, Иосиф Бродский, Владимир Войнович, Александр Солженицын.

Они и вернулись.

А где же главный литератор семидесятых Брежнев, удостоенный членского билета Союза писателей СССР нового образца №1?

Справка из «Википедии» — «Летом 1987 года книги трилогии были изъяты из книжных магазинов и списаны в макулатуру».

75

В Риге я довольно часто писал об эстраде, брал интервью у известных советских певцов. Однажды Эдуард Хиль рассказал такую историю.

Концертную бригаду, в которую, само собой, входил и он, пригласили на «Малую землю». А затем, после выступления на стадионе, организовали для них банкет.

Понятно, не за тем, чтобы пить и кушать, а по прямой своей обязанности — петь и плясать перед товарищем Брежневым и прочими, приближёнными к его телу хозяевами жизни, многие из которых были при лампасах и боевых орденах.

Как обычно, с очень большим успехом выступила народная артистка Клавдия Шульженко.

Закончив петь, она поклонилась откормленной компании партийных чиновников и высокопоставленных военных. При этом, не сгибая колен, достала кончиками пальцев до пола, будто позвоночник у нее резиновый.

Аплодисменты — оглушительные, это понятно. Но совсем непонятно, почему вдруг товарищу Брежневу вздумалось открыть рот. Впрочем, и не такие глупости он совершал, когда ему что-то вздумалось. Итак, он открыл рот и сказал присутствующим в его свите советским генералам и адмиралам:

— Учитесь кланяться у Клавдии Николаевны Шульженко.

Было это недавно, было это давно. В то, рекордное по количеству выдаваемых орденов время.

76

«Человек человеку — друг, товарищ и брат».

— Выучился! Следующий!

Человек выучился. И тут к нему, как к человеку, по-дружески, по-товарищески, по-братски:

— Дан приказ тебе на Запад!

— Что?

— С дружеским расположением, по-товарищески нелицеприятно, с братской миссией... ша-а-гом арш! В Чехословакию!

Дело было в Риге. Человек бросился к памятнику Свободы. Облился бензином — заполыхал факелом.

Набежали дружинники. Кинули человека в речку. Едва-едва потушили.

Все сделали оперативно, мастерски, как надо. По-дружески, по-товарищески, по-братски. О них потом в газете писали, под рубрикой: «Так поступают советские люди».

О человеке не писали. Он сам писал.

Объяснения. Под диктовку следователя в белом халате.

77

Другой человек, но тоже в Риге, заседал в жюри. Десятого Всесоюзного кинофестиваля.

Был ребёнком — снимался у Эйзенштейна в фильме «Бежин луг». Был взрослым — смотрел фильм «Дорогой Никита Сергеевич». Вышел в люди — задался вопросом: «Доживём до понедельника»? Стал маститым, возглавил жюри.

Поднялся на трибуну, задумался. До понедельника недалеко, но, поди, доживи — оглашать результаты надо сейчас.

Огласил.

Гран-при лучшей ленте фестиваля — документальному фильму «Повесть о коммунисте», про родного и любимого Ильича — товарища Брежнева, ещё не лауреата Ленинской премии по литературе, но к литературе очень приспособленного. Он ещё свое напишет! Он ещё получит билет члена Союза писателей СССР за самым первым номером и билет члена КПСС за самым вторым номером — самый первый номер навечно закреплен за вечно живым Лениным, тоже Ильичом, и тоже за номером первым в нашей партийной истории.

И товарищ Брежнев потом написал. Все что по тем временам требовалось для вступления в Союз писателей. Не подвёл товарищей.

И товарищ председатель жюри Десятого Всесоюзного кинофестиваля, который проходил в Риге, не подвёл товарищей, приехавших с ним вместе из Москвы. Огласил.

Лауреатские звания и государственные награды впоследствии они поделили полюбовно. Любовь правит миром, когда всё полюбовно.

В психушку их за это не упекли.

78

Человек работал на конвеере. (Завод «Саркане Звайгзне» — опять-таки в Риге.) Собирал мопеды отличного качества — в период завершения пятилетки повышения благосостояния трудящихся.

С конвеера его вызвали в отдел кадров.

Человек думал о премиальных, а ему подсовывают на подпись совсем не платежную ведомость.

Человек сощурился близоруко: о неразглашении!!!

Чего? А того, что сын этого человека погиб в Афганистане.

Подписал человек бумагу.

Отпустили его назад к конвееру — не разглашать. А сын-то ведь «смертью храбрых»...

Человек не разгласил.

Стало ему у конвеера дурно. И он — в обморок.

Конвеер остановился. Люди над несчастным склонились. И прочитали у него на губах: «Сын!!!»

За остановку конвеера человека лишили прогрессивки.

А за то, что в обморок упал, дали — до полного излечения — санаторий.

Вылечился или нет — неизвестно. Об этом только его второй сын знал. Но и его убрали в Афганистан — чтобы не разгласил.

79

На углу стоят двое.

Подходит третий, точно такой же занюханный, но с университетским ромбиком.

— По рублику?

— Ты что? Сумасшедший?

— Какой сумасшедший, когда я кибернетик! — обиделся человек.

— А-а-а! Вон оно что! Вредное твое учение, реакционное. К ногтю его!

— Бедные, да неужто вы тут стоите с самого пить-десятого года?

— Ну и стоим! А что?

— Так я же, получается, из вашего светлого будущего!

— Разве?

— Да, братцы! Скинемся по рублику. За встречу!

— По рублику? Ты, правда, из будущего?

— Да!

— По руб-ли-ку? Значит, по-стро-и-ли?! Живём теперь, братцы! По рублику!

(Бедолаги, не догадывались о денежной реформе 1961 года, снизившей на один ноль стоимость поллитровки попутно с уменьшением зарплаты в десять раз.)

— Ну, так сообразим?

— А как же иначе, если теперь «по рублику».

Время — вперед!

И рванул за бутылкой. Но пока бегал, наступила перестройка. А с ней и антиалкогольная кампания. В результате борьбы с пьянством, новой бутылки не оказалось на старом месте. Потом и материальные накопления улетучились вслед за бутылкой. Прощай, зарплата! Привет дефолт!

80

Было так: пришла Фемида Убогая, сказала слово.

А слово такое:

— Завтра явится Мессия. Да убойся его, Человек!

Назавтра...

Назавтра евреи поехали в Израиль. А с ними братья и сестры, друзья и приятели разных национальностей, включая Фемиду Убогую. Больше миллиона человек. А кто не в Израиль, тот покатил в США, Германию, Канаду.

За пределами России, как говорит статистика, проживает теперь более 30 миллионов бывших наших соотечественников.

Мир, оказывается, резиновый — всех вместит и примет, главное, чтобы не превращали его в пороховую бочку.

81

Когда Бог вывел евреев из Египта, то по малости опыта общения с ними, жестоковыйными, оставил в заспиньи у невольников родину их рабовладельческую — в целости и сохранности. В виде соблазна для маловерных и искушения для слабых духом. А в пищу рабам тем, нагуливающим аппетит в пустыне, дал манну небесную.

Но объелся народ на халяву небесной кормёжкой и возроптал: мясо ему подавай в котлы да рыбу нильскую. В Египет его возверни, к фараону, пирамидам, кнуту и прянику. Сфинкс, видите ли, ему — народу еврейскому — понадобился. Затосковал он, понимаете ли, по сфинксу с загадочной душой его заегипетской.

Когда Бог вывел нас из Советского Союза, по гематрии, к слову, равнозначному древнему Египту, то опыта общения с нами, жестоковыйными, у Него было уже предостаточно. С присыпочкой, так сказать, из пота и соли. И Он убрал у нас за спиной Советский Союз. Только и оставил, в память о нём, Мавзолей, откуда, если настроиться на загробный голос, доносится:

— Какую страну профукали!

82

И что? Да ничего, живём. Строим отдельно взятое еврейское государство на песках взрывоопасного региона, засеянного террористами, как прежняя родина социалистическими обязательствами. Помним об обязательствах, помним о террористах. А в минуты ностальгических приступов перечитываем вот эту повесть о жизни нашей, начатую в незапамятном году, под чашечку кофе, и заканчиваемую сейчас, в двадцать первом веке, у привезённого из Москвы пузыря с любовно выведенной цифирью — 40 градусов.

Чок — чок!

Хорошо пошла?

Хорошо! Как в те достопамятные времена, когда мечтали о социализме с человеческим лицом.

Да, тогда…

У них тогда был Хрущёв.

А у нас?

У них тогда была программа строителей коммунизма.

А у нас?

У них тогда были временные трудности по производству молока и мяса, но в отношении догнать и перегнать Америку всё обстояло превосходно.

А у нас?

А у нас, здесь в Израиле, нас самих еще не было. Мы были тогда у них, хотя думали, что мы у нас. И считали: у нас Хрущёв, у нас программа строителей коммунизма, у нас временные трудности по производству молока и мяса, но в отношении догнать и перегнать Америку всё превосходно.

И таки да. У нас — таки да! В Израиле мы догнали Америку по производству молока и мяса на душу нашего населения и перегнали её часов на десять, ведь наше солнце восходит у них в Америке, когда мы уже ложимся спать.

Гуд-бай, Америка!

83

Один человек, назовём его Недогрёбанный, сообщил по приезде в Израиль русскоязычной газете в письменном виде о том, что сам он еврей по национальности мамы, жена его русская по национальности папы, а сын будущий солдат израильской армии. И по этой удивительной причине он собирается учредить на Земле Обетованной Союз равноправных деятелей под названием «Славянский базар перманентной революции».

При этом решении Письмописец уточнил свою мысль. Цитата: «В задачу общества ни в коем случае не будет входить свержение существующего строя в стране».

Как не вспомнить фильм «Подвиг разведчика» с незабвенным Кадочниковым.

— У вас продается Славянский шкаф?

— Шкаф уже продан. Остались только тумбочки.

84

Когда в феврале 1992 года я приехал в Ригу на открытие своей персональной выставки, знакомый преподаватель истории из университета говорил мне:

— Вторую мировую войну начали разом с двух фронтов. Но не 1 сентября 1939 года — в день и час немецкого вторжения в Польшу, а 23 августа, при подписании Пакта Молотов — Риббентроп о ненападении, означающий раздел Европы.

В 1970 году на своих лекциях в универе он говорил, что 22 апреля мы вступаем в фазу столетия со дня рождения Ленина, которая знаменует построение развитого социализма и прихода коммунизма уже через десять лет.

85

Отрываю листок календаря. И с какой-то щемящей грустью вспоминаю: пропасть лет назад, в такой же пасмурный день 1978 года, я был в Москве, сидел в ресторане Дома журналистов, напротив Голландского посольства, и смотрел за тем, как за окном движется моя очередь. Еще минута, еще две, я встану из-за стола, выпью на посошок последнюю рюмку водки, пересеку улицу и войду в те двери, за которыми начинается моя эмиграция. Для евреев это — репатриация, возвращение на историческую родину.

Но как ни называй, все равно невозможно уехать туда, за горизонт, не взяв с собой свое российское небо, под которым я появился на свет в Оренбурге, тогда Чкалове, свои извилистые улочки Старой Риги, где прошло мое детство, свое таежное приволье журналистской юности, сибирские реки Лену, Киренгу, Ангару.

Невозможно уехать на третью Родину, не взяв с собой Первую и Вторую. А как же быть с четвертой? Четвертая — это русский язык и мое творчество.

Независимо от того, легко или трудно дается жизнь, русский язык и творчество всегда со мной. Так же, как те мои, скрытые от постороннего взгляда рукописи, которые я тайно вывез через границу. Рукописи, в которых до сей поры сохранился воздух России, сибирская стойкость и осознание исторической цикличности происходящего в мире.

Вообще-то, как это показывает фантастическая реальность жизни, я и мои друзья в Израиле, Франции, Германии, Бельгии, Канаде, Соединенных штатах Америки оказались не в изгнании от русской литературы, а в послании. Непечатные прежде стихи, рассказы и более объемные произведения, увезённые за рубеж, также как и написанные сегодня, превратились в книги и теперь возвращаются в Россию, как очевидный фактор становления и развития международной русской литературы.

Это понятие — «Международная русская литература», придуманное мной и звучащее в моих передачах по радио «Голос Израиля» с конца семидесятых годов минувшего века, мало-помалу завоёвывало сознание людей, независи-

мо от того, в какой стране они проживают — в России, Израиле, Франции, Германии, Англии, Бельгии, Соединенных Штатах Америки, Канаде или в бывших советских республиках. Произошло то, о чём я писал еще в начале восьмидесятых годов в книге стихов и прозы «Круговерть комаров над стоячим болотом», совершенно свободной от цензуры. Тогда и помыслить было нельзя, что наша диссидентского толка литература, прежде создаваемая в России, а потом под рефрен «Мы не в изгнании, мы в послании» в Иерусалиме, Париже, Нью-Йорке, спустя годы вернется в Россию и будет себя комфортно чувствовать в своем родном доме. В том отчем доме, из которого мы, теперь уже писатели и поэты разных континентов, некогда вышли в кругосветное путешествие.

Имя этому дому — Русская литература! А мы — международная команда корабля, которая, подняв однажды творческие паруса, не изменила намеченному курсу. Не бросила якорь на полпути к заветному берегу.

Вспомним, экипаж библейского ковчега стал родоначальником всего современного человечества. Кто знает, может быть, и о нас впоследствии будут говорить как о родоначальниках новой русской литературы, не имеющей уже никаких географических границ.

Я уехал из Советского Союза в Израиль, когда лидеры государства торжественно провозглашали, что «создана новая общность советских людей — советский народ». Уже тогда было ясно, что народы искусственно не создаются. Но что можно, так это создать творческое содружество людей различных национальностей, объединенных общностью языка и культуры. Для этого достаточно того, что в этом мире есть русский язык. И есть мы.

Словом, стоит не заболеть ностальгией, и приходит осознание: родина всегда с нами.

Поэтому:

Поэму «Мёртвые души» Н. В. Гоголь написал в Риме.

Роман «Идиот» Ф. М. Достоевский создал во Флоренции. В этом городе на площади перед палаццо Питти на стене одного из домов прикреплена табличка, извещающая о том, что именно здесь Ф. М. Достоевский написал «Идиота».

Роман «Отцы и дети» И. С. Тургенев писал, в основном, во Франции — в Париже, хотя замысел произведения ему явился в Англии, когда он отдыхал летом 1860 года в маленьком приморском городке Вентноре. В сентябре того же года он пишет П. В. Анненкову о своей задумке: «Намерен работать изо всех сил. План моей новой повести готов до малейших подробностей — и я жажду за неё приняться. Что-то выйдет — не знаю, но Боткин, который находится здесь… весьма одобряет мысль, которая положена в основание. Хотелось бы кончить эту штуку к весне, к апрелю месяцу, и самому привезти её в Россию».

Получилось не совсем по задуманному, и свой роман Тургенев заканчивает уже в собственном имении — Спасском. Но как оказалось, последнюю отделку рукописи ему ещё предстояло совершить. И это он сделал в Париже после читки романа В. П. Боткину и К. К. Случевскому, чьим мнением очень дорожил. В марте 1862 года «Отцы и дети» были опубликованы в «Русском вестнике».

Роман Владимира Набокова «Лолита» написан в США, на английском языке и опубликован в 1955 году в парижском издательстве «Олимпия Пресс».

Можно продолжить, если внимательно проследить за творчеством наших современников — будущих классиков русской литературы, которая ныне не знает географических границ.

И действительно, русская литература, кроме России, создается сегодня единовременно по всему Земному шару. В Израиле, США, Франции, Бельгии, Канаде, Австралии, Германии, Финляндии, Дании, Латвии, Литве, Украине, Эстонии — везде, где вместе с нами пребывает в эмиграции русский язык.

Что касается Израиля, здесь она почти не имеет ностальгического оттенка, так как евреи не эмигрировали из «страны берёзового ситца», а сознательно ехали на свою историческую родину. При этом считали, что Россия, покидаемая навсегда, уместится в их сердце и будет вывезена в обход таможни, чтобы любовь к ней унаследовали их дети. Недаром я написал в одном из стихотворений: «Где Израиль, там Россия в миллион еврейских душ».

86

Общество при Сталине — Хрущёве — Брежневе работало не для того, чтобы сытно есть, красиво одеваться, ездить на европейские курорты. А ради мифического будущего, когда сытно есть, красиво одеваться и ездить на европейские курорты будут их внуки и правнуки.

И что? Вроде бы так и получилось. Едят — одеваются — ездят. А обществу дедов даже памятника не поставили. Да и как его поставишь ныне, при развитой рыночной экономике с бандитским уклоном, если он, согласно представлениям Маяковского, выглядит так:

«Пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм».

87

В статье «Поможем любимым актерам», напечатанной 20 июня 2001 года в 108-м номере «Комсомольской правды», прочитал я о трудной, материально не обеспеченной рублями и гривнами старости знаменитого в прошлом Николая Олялина. На фоне парадного полковника Брежнева, вдохновителя наших побед, сыграл он роль бесстрашного капитана Цветкова. «Популярность обрушилась на Олялина после киноэпопеи «Освобождение», — пишет «Комсомолка». — Его узнавали на киевских улицах, обнимали, скрипя костылями: «Пошли, выпьем, капитан!» Он не отказывался...

Ну и... Отсюда и проистекают различия между знаменитыми американскими и знаменитыми русскими актерами.

Знаменитый американский, ну, допустим, Кирк Дуглас или Джеймс Никольсон, или юный красавец Леонардо ди Каприо, снявшийся в «Титанике» в анфас и профиль, пьёт себе, пьёт и гребёт миллионы. И по пьяной лавочке гребёт миллионы, и на трезвую голову. Гребёт — в «ах» и «ох», гребун этакий. Потому что знает, капитализм с волчьим оскалом, и если ты не гребёшь миллионы, значит, кто-то другой их прикарманит и оставит тебя без средств к существованию.

Знаменитый русский артист, в данном случае, в советском своем эквиваленте, тоже пьёт и тоже гребёт деньги. И на трезвую голову пьет. И по пьяной

лавочке. И под квашеную капусту. И под огуречный рассол. А когда опрыснется одеколоном с похмелья, то и вовсе теряет дух бодрости и противления подлому поползновению алкоголя на организм. Пьёт — в «ах» и «ох», трибун этакий. Потому как твёрдо знает, что социализм — самое справедливое общество на земле, и ему, сыну и внуку революции, всегда будет обеспечен прожиточный минимум, хоть пропей он все свое имущество.

Знаменитый американский актер, отодвинутый от Славы в закуток на пересчет бабок, пьёт, конечно, по-прежнему, когда не лечится в наркологическом диспансере. И гребёт с прежней сноровкой доллары, выпадающих на его долю в виде процентов от проката фильмов с его участием. А также за воспоминания о дурных наклонностях некоторых режиссеров. За шелковые штанишки с попки несравненной Мурлин Мерло, снятые на память в ходе сексуальной разминки. А на аукционе Сотсби — за пробки от выпитого на пике славы шампанского. Гребёт, гребёт — даже под старческое слабоумие — доллары, как, например, актер и президент Рейган.

Знаменитый русский актер, отодвинутый от былой известности в закуток Дома призрения, гроши уже не гребёт. Никто не платит ему проценты за прокат некогда популярных советских фильмов. Никто не покупает на аукционах его старые одежды, снискавшие на пару с ним славу в кинотеатрах социалистического Отечества. Но пьёт. Крепко пьёт. И под капусту, и под рассол. А на возрасте — болезный! — и под кефирчик с валерьяанкой. Пьёт и с тайной завистью к своему заокеанскому коллеге думает: «Почему это так? Знаменитый американский актер, отодвинутый от былой известности, тоже пьёт, но доллары гребёт. А он, русский актер, игравший главные роли в сериалах «Так поступают советские люди», теперь, когда на практике столкнулся с тем, как поступает советская власть и её наместники, деньги не гребёт, хотя тоже пьёт. Почему такая несправедливость?»

Так думает на языке Пушкина наш человек. И на трезвую голову думает, собирая на опохмел. И по пьяной лавочке, оседая на парковую скамеечку. Так он думает на языке Пушкина, пока не догадывается. Дело в том, что он думает просто о деньгах, а американец думает о долларах. В том-то, наверное, и различие, если довериться подпольной логике времен развитого социализма. Когда думаешь о долларах, появляются деньги. Но не наоборот.

88

Один умник написал книгу на основе протоколов допросов, которые вели следователи ГБ, отправляя арестованных в ГУЛАГ по знаменитой 58 статье.

Выяснилось, этот и впрямь шпион, работал на США, тот и впрямь личный враг товарища Сталина, обещал жене на кухне плюнуть ему отравленной слюной в лицо.

Умник успешно торговал книгой, уверял, что все факты лично им проверены в архивах карательных органов. А когда на встречах с писателем ему намекали: «Следователь просто шьёт дело и пишет, что от него требуют сверху», утверждал: «Э, нет, батенька! Под каждой страницей протокола личная подпись подследственного».

«Это оговор» — говорили ему дети и внуки «шпионов», «врагов советской власти», «убийц в белых халатах» и прочих обитателей казематов, некогда признавших себя политическими преступниками.

Но умник не соглашался. Он больше верил мёртвым бумагам, пахнущим кровью. Вернее сказать, заказчикам, оплачивающим его труд во имя альтернативного завтра, когда, вполне возможно, наступит время для превращения

его книги в учебное пособие по новейшей истории. Живые свидетели, знал из житейского опыта, мало-помалу переходят в царство небесное, а что написано пером, то не вырубишь и топором.

89

Диоген просил подаяние у статуй, «чтобы приучить себя к отказам». И жил в бедности. Поэтому, а может быть, и по другой причине, философ Аристипп, наживший состояние восхвалениями царя, сказал ему:

— Если бы ты прославлял царя, тебе не пришлось бы питаться чечевицей!

Диоген усмехнулся.

— Если бы ты научился питаться чечевицей, то тебе не пришлось бы прославлять царя!

Жили-были люди в древности.

Говорят, и сегодня живут.

90

Шлюха-история, крутится-вертится, и на каждом повороте ложится под власть имущего. А потом шпыняет бывших своих фаворитов. Сталин — деспот! Хрущёв — глупец! Брежнев — маразматик!

А в старых учебниках, на основе которых нам выдавали аттестаты зрелости, всё по иному: «лучший друг детей», «провозвестник коммунизма», «пламенный борец за мир и автор бессмертных литературных произведений «Целина» и «Малая земля». Да и в тех учебниках, что будут издавать завтра, тоже всё будет иначе. Вот так история…

91

Ленин получил Россию с сохой.

Оставил без веры в Бога, но с Советским Союзом.

Сталин получил Советский Союз без веры в Бога.

Оставил с атомной бомбой, разорённой страной и полунищим населением, запуганным непрекращающимися репрессиями.

Маленков получил Советский Союз с атомной бомбой, разорённой страной и полунищим населением, запуганным непрекращающимися репрессиями.

Оставил с кучей разоблачённых шпионов английской разведки, возглавляемых Лаврентием Берия, если довериться протоколу допроса от 10 ноября 1953 года, проведенного Генеральным прокурором Романом Руденко.

Хрущёв получил Советский Союз с атомной бомбой и кучей шпионов английской разведки, приговорённых к смертной казни.

Оставил с разоблачением культа личности, освобождением политкаторжан и поднятой целиной.

Брежнев получил Советский Союз с разоблачением культа личности, освобождением политкаторжан и поднятой целиной.

Оставил с репатриацией евреев в Израиль и «Малой землей».

Андропов получил Советский Союз с репатриацией евреев в Израиль и «Малой землей».

Оставил без репатриации евреев в Израиль, но с большими очередями и арестом тех, кто в рабочее время шастал в кино.

Черненко получил Советский Союз без репатриации евреев в Израиль, но с большими очередями и арестом тех, кто в рабочее время шастал в кино.

Оставил с запутанной историей болезни, как своей, так и всей страны.

Горбачев получил Советский Союз с запутанной историей болезни.

Оставил с Беловежской пущей, откуда есть и пошла современная Россия к возвращению веры в Бога.

92

А чего я хотел? Да практически ничего. Социализма хотел, с человеческим лицом. Под лицом человеческим, думал, сущность волчью не спрячешь. Ну и... пару-тройку слов здесь, пару-тройку слов там. Разоблачал-разоблачал... Пока во имя свободы не разворотил весь Советский Союз до основания, а затем... Свободы стало навалом. А Советского Союза не стало вовсе. И разоблачать некого.

А чего я хотел? Да практически ничего. Пару-тройку слов свободных... разоблачительных... на кухне... Без огласки.

Да промашка вышла с оглаской. Третье ухо оказалось подслушивающее. Второй язык доносительский. Вот я и вышел в разоблачители. Пару-тройку слов здесь, пару-тройку слов там. Разоблачал-разоблачал, пока не разворотил всё, не разнёс по камушку. Ни града отчего, ни веси, к пуповине привязанной. Ни адреса. (Помните? «Мой адрес — Советский Союз»). А кухня? Где уж ныне кухня моя стародавняя? Маленькая, спокойная, рассчитанная на пару-тройку слов свободных, разоблачительных. В чужой стороне, в запредельном государстве обретается кухня моя. А те, кто собирался в ней втихую, по-добрососедски, раскиданы по разные берега мирового океана и копят старательно доллары, чтобы, оплатив импортные визы, вновь потолкаться на прежней своей жилплощади, туристического соблазна ради. Вдохнуть дым Отечества, горький, прекрасный и как встарь чадливый от пригоревшего масла. И ностальгически вспомнить: а чего я хотел? Платить деньги за посещение собственной квартиры? Нет, не этого я хотел. Да практически и ничего не хотел. Пару-тройку слов свободных хотел, разоблачительных. Хотел как лучше. А вышло как всегда. И разоблачать некого.

93

Это случилось неожиданно и самым волшебным образом. Волшебнее и не придумаешь. Я сказал сам себе:

— Не валяй дурака!

И услышал в ответ:

— Я уже встал.

Гляжу, действительно, передо мной дурак. Золотая цепь до пупа, на каждой руке часы Ролекс с платиновыми стрелками, красный пиджак, чековая книжка, торчащая из накладного кармана.

— Кто не с нами, тот против нас! — сказал дурак.

— А кто вы?

— Не валяй дурака! — сказал дурак.

И услышал в ответ:

— Я уже встал.

Гляжу, перед первым дураком, действительно, возник второй дурак. Голова в жёлтом колпаке, на рубашке яркие звёзды, рот в улыбке до ушей, и в каждом кулаке по нокауту.

— Мир хижинам, война дворцам! — сказал, не подумав, что первый дурак из олигархов будет.

Что тут случилось! И пером не описать. Впрочем, и не буду. Зачем мне валять дурака? А то еще один выявится и упечёт всех нас в каталажку.

94

Вольтер сказал:

— Свобода — это не то, что вам дали.

Человек ответил:

— А мы никогда ничего ни у кого не просили.

— Это — то, что у вас нельзя отнять.

— Если мы никогда ничего ни у кого не просили, значит, у нас никогда ничего и отнять нельзя.

Вольтер сказал:

— Поговорили.

— А то! Будто не ясно: если ничего нет, то ничего и не отнимешь. Подумаешь, великая философия!

95

Герцен сказал:

— Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы.

Человек ответил:

— А я о чём? Мы не рабы, рабы не мы — это для букваря. В житейской буче всё круче. Как? Да как в армии: не можешь — научим, не хочешь — заставим. И все дела!

96

— Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, — сказал Карл Маркс, обрастая львиной гривой.

После этого высказывания прошли Первая мировая война, Вторая мировая, разгром «тысячелетнего Рейха», развал Советского Союза.

А мы смеёмся, когда не плачем кровавыми слезами.

Или плачем кровавыми слезами, когда не смеёмся.

И, «оглядываясь, видим лишь руины», — как широковещательно подметил Иосиф Бродский.

Впрочем, иначе и не могло быть, ведь революцию лепили по наитию. А вылепили в образе и подобии греческого бога Крона (Кроноса), пожирателя собственных детей. При рождении ему была предназначена роль бога земледелия и плодородия, но впоследствии его стали отождествлять с Хроносом — богом, персонифицирующим время и обладающим непомерной властью над человеческой жизнью, прервать которую в любой момент для него просто детская забава: аппетит звериный и никакой брезгливости — дети ли собственные, либо дети друзей его. Вот он и воцарился на все времена. Вот и пре-

вратился в своеобразный Хронпас — нечто вроде лукавого компаса времени, ведущего в будущее, способное обернуться прошлым.

97

Ленин сказал:

— Без насилия по отношению к насильникам нельзя избавить народ от насильников.

Человек ответил:

— Мудро и доступно, имей хоть одну извилину. Попробую и я: без масла нельзя кушать хлеб с маслом, а хочется ещё и с сыром. Но бесплатный сыр — сказано по другому случаю — завсегда в мышеловке. Кто за сыром? В очередь!

Сталин сказал:

— То, что завтра становится реакционным, сегодня может быть революционным.

Человек ответил:

— Получается, до завтра лучше не доживать

98

Приговоренному к казни Сократу предложили бежать из тюрьмы.

— А куда? — спросил он. — Разве есть такая страна, где не умирают?

И ему преподнесли чашу с ядом.

Такая в древнем мире была гуманная казнь.

А в нашем?

99

Пришла старуха зубастая.

— Кто ты?

— Чай, Революция.

— Чего тебе надо?

— Психолога

— Зачем?

— Поделиться наболевшим.

— Не понял.

— Как не понять! Снедает меня одиночество. Самого страшного свойства. Не перед кем похвастаться своими достижениями.

— Но ты ведь всех сожрала!

100

— Когда придёт Мессия, хватит ли у нас ума узнать его?

— Узнаем! — говорят мне русские репатрианты. — Ведь быть такого не может, чтобы перед уходом Оттуда он не выпил на посошок.

— Ну и?

— Опохмеляться-то среди нас придётся. Признаем!

© Ефим Гаммер, 2017

Михаил Стригин. Замерзшие ладони. Стихи

Михаил Стригин родился в 1969 году в удмуртском городе Сарапуле. "Название в переводе означает желтая рыба, стерлядь, — поясняет Стригин. — Триста лет назад, когда был основан город, ее водилось там достаточно". После переезда в Челябинск окончил Южно-Уральский государственный университет. Михаил Стригин — кандидат физико-математических наук, автор семи научных публикаций, в том числе в зарубежных журналах. В 1990-е годы отошел от науки и занялся предпринимательством. Один из соучредителей челябинской "Инжиниринговой компании", которой уже 17 лет.

Стихи начал писать в 2008 году. Окончил литературные курсы ЧГАКИ. Михаил Стригин — отец четырёх детей, он стал учредителем детского поэтического конкурса "Как слово наше отзовется". Второй масштабный проект, в котором участвует Стригин, Южно-Уральская литературная премия. Он член жюри конкурса.

В 2012 году в Германии вышел сборник стихов М. Стригина "Ступени". В серии "Карманная книга" сборник получил диплом областного конкурса "Южноуральская книга-2013". Стихи недавнего времени вошли в новую книгу Михаила Стригина "Рискнуть — замедлить время" (2014 г.). Публиковался в электронном альманахе «Причал». Опубликован в литературных альманахах "Светунец" № 7 в 2013г. и "Звёздный голос" №6 в 2014г. Опубликовано эссе в литературном альманахе "Светунец" № 8 в 2016г. Опубликован в сборнике "Заповедная строка" в 2016г. Диплом "За мастерство" в конкурсе "Решетовские встречи" в 2017г. Лауреат челябинского областного конкурса "Прекрасен наш союз" учреждённый союзом писателей челябинской области в разделе Проза.

Удивительный поэт.
Ему нужно и важно, необходимо все: и любая мелочь жизни, и осмысления крупных процессов — эпох, космических констант, — он делает попытку соединить, сшить безжалостный к человеку Космос и горячую, пусть сиюминутную, маленькую, в масштабах бездонной Вселенной, судьбу человека — песни и кухню, объятия и кормление ребенка, полные впечатлений путешествия и обжигающие слезы по невозвратному.
Часто ощущение, что он ищет путь, вот находит его, нашел, ура! — но коварное бытие уводит тропу в стороны, и, быть может, к обрыву; художник не боится обрыва, он смело идет навстречу ему. В этом философия художника: в смелости. В этом творческая установка Михаила Стригина: ему внятно все, он храбро обнимает мыслью и сердцем свой окоем, и не видит он вины во всем, что человека окружает; мир человеческий и мир равнодушной природы слишком тесно соприкасаются. Их нельзя разрезать никаким скальпелем мысли: они изначально — сиамские близнецы.

И вот все эти множества, подробности, приметы реального мира в поэзии Михаила Стригина собираются в единство его мира — поэтического. Это ли не счастье?

Елена Крюкова

Реальная золушка или Free health service.

Убого-жёлтым сном моргает лампа,
Постель у девочки не белая давно,
Кровать, обвисшая, стальною рампой
Корёжится, окно дождём искажено.

Лютует осень, дохлый радиатор
Воюет с холодом — чугунный дон Кихот.
Ушла с родимой мачеха в театр,
Оставив падчерице дел на целый год:

Сменить бинты, почистить солью утку,
Диагнозы забрать в хоромах у сестры.
Попить чайку с больными в промежутке
И получить от них нежданные цветы,

Разношенные на прогулке туфли
Вернувшейся сестре преподнести...
Фуршет устроят в министерстве пухлый,
От феи смс придёт: прости.

***

Апрельские замерзшие ладони
Густому солнцу протянулись жадно.
Весна огонь по жилам к верху гонит,
Тепло земли усилив многократно.

На тёплые морщинистые пальцы
Зелёных мотыльков орда слетелась.
В каком миру крылатые скитальцы
Полгода созерцали жизнь без дела?

И мотыльки расправят крылья-листья,
Прикроют наготу ствола стыдливо.
Как золушка, переодевшись быстро,
Вглядится в лужу, изумляясь, ива.

***

Аптеки таращатся рыбьими глазами,
Одни окнами навыкат, другие щёлочками из-за угла.
Молчат, они уже всё сказали,
Отнерестились, дозорных разбросали.
И теперь охотятся до утра.

А эти сутки тянутся ледяным годом,
Заполярным — промозглым, как конура.
Холодно, глухие рыбины атакуют сводом,
Перекрывая свет, искажают, делают его уродом,
Безнадёгой, проникающей до нутра.

Ты безропотно к нему жмешься, надеясь согреться,
Получаешь плацебо тепла.
Когда иллюзия раскрыта, замешиваешь водку с перцем,

Но эта микстура не наполняет сердца -
Колбы из аптекарского стекла.

***

Когда в маме рождается бабушка?
Когда на кухне спектакль, там лепят оладушки
С внучкой. В гостиной как на работе,
Только руководство отделом сведено к заботе.
И те же процессы: строительство с внуком
автомастерской, ремонт машин,
(Нужно заправить борщ луком
Между перебортовкой шин.)
А починив ферарри, восторгаться друг другом.
...С внучкой отладить пошив новых костюмов,
Так, чтоб у детского флота не хватило трюмов
Для отправки изделий в соседнюю область,
В прихожую.
В трюмах с последней рыбалки хранится вобла,
Она пластиковая, на селёдку похожая.
На пошив пожертвовать вельветовые шторы,
Поскольку в восемь вечера не купить ткани новой,
А накрытые окна — это шоры.

И звонить, звонить регулярно.
Эта любовь материнской полярна,
Контролировать каждый пробел в этом мире,
Разместить пункт досмотра в квартире,
Дать отпор скарлатине,
Поиграть с террористами в ладушки.
...Жаль не все настоящие бабушки.

***

Злобно блестит колючая проволока,
Лязгает зубами.
Стоят, сидят, лежат, купившие втридорога
Билет на раскладушку в спаме.
Они застряли в шлюзах,
В корзине, без обратного адреса,
Будучи себе и всем обузой,
Висят в сети без настоящего статуса.
Глядят во все глаза на модератора,
Богатого.

Палатки, глаза, палатки, глаза, палатки
Мир сжался до пёстрой заплатки
Пришитой к телу колючкой...
Уходя от свободы тяжёлой и шаткой,
К подачке, лежащей безадресной кучкой
На протёртом бетоне гладком.
А вокруг воздух тяжёлый гадкий...
Запах горелого мяса, горелого пластика -
Пакетов, опустошенных до отрицательной толщины...

...Из чёрного дыма вокруг рождается чёрная свастика -
И марши по правильным паркам слышны.

Вершины гор как старички изрублены морщинами.
Холмы как юные качки натянуто спортивные.

В горах недюжинная стать и ледники папахами.
Холмы спешат повыше стать — засиженные птахами.

Вершины гор наверняка Венере улыбаются.
Холмы не любят слабака и шумно упражняются.

Земного выше перейти горам дано с рождения.
А на холмах цветут репьи и пахнут упражнения.

***

Дурное прошлое под вечер налетает
То стаей, то вороною одной.
Чтоб не повеситься хлебнуть бы из Грааля
Но шьёт мне дело разгалдевшаяся стая,
Пока покой пасётся за стеной.

Шьёт пострaнично, с вензелями, небо в клетку,
Так крепко, что ребёнок не порвёт.
Я в карканье, как на цепях марионетка
И птицы страхи пришивают к сердцу метко,
Закручивая мыслей хоровод.

Одна, случается, опустится пониже,
Усядется на ветке допоздна,
И взглядом острым начинает совесть крыжить,
До желваков, до скрежета, до грыжи...
Фемиды неподкупнее она!

И неизменно наступает в мыслях утро,
Из-за стены покажется пастух,
Ворон разгонит, успокоит нервы мудро,
Присыплет соль на сердце сахарною пудрой...

На сладкое слетится стая мух!

Гипермаркет

Ощерился недостроенный гипермаркет
Стальными колоннами, бетонными монолитами,
Его шкура, словно клопами, полна грязными клонами -
Малярами небритыми,
Усохшими, бурыми, как старые шкварки.
Он плотояден. Соки рабочих в тело его влиты,
Замешаны гудроны, слёзы, керамзиты...

...А когда ему доделают make up и гриву прилижут
И фасад заблестит неоновыми глазами,
Он станет не так страшен и даже как-то пониже,
Но сущность его проявится там, низами,
Где разгрузка, погрузка, не так припудрено,

Он заглотит сотни камазов, каждый в свой черёд.
А с парадного входа манят шары вплетённые в кудри, но
Вдруг на выходе плащ твой зацепит зазубрина
И надорвёт.

Дача Пастернака

В Подмосковье горела свеча,
Освещая Руси закоулки.
Шли вагоны тяжёлые гулко,
Мимо дома поклажу влача.
Неизменно скрипело перо,
Посчитав поездов протяженье,
Революций рисуя броженье
Вдоль обрыва судьбу провело...

...Сад. Берёзы без ласки грустны,
Хулиган распоясался рваный.
Как на службе монашки-герани
От окна гонят тень новизны.

В дом струится поток прихожан,
Там для них, что не вещь то икона:
Стол лохматый стоящий в наклоне,
Он склонился к его падежам,

Знавший Скрябина старый рояль
И сапог с утолщённой подошвой,
То падение с лошади в прошлом
В кабинет заточило печаль,

Но в печали пера за столом
Так вся жизнь поездов отражалась,
Что до сути, до самой, лишь малость
Остаётся над белым крылом.

Имбецил

В справедливость высших сил не верил,
Очередь за счастьем пропустил:
В космос не летал, не видел прерий -
В общем, я уральский имбецил:

Позабыл про важное свиданье,
Поздно дёрнул в небе парашют -
Вписано в учебники преданье,
Как я опоздал на высший суд.

Дали срок — покрасить рай поярче.
Я смешал палитру в пёстрый ком.
Ангелы от счастья в небе плачут -
Беспредел сменился бардаком.

Ну а я глаза в стесненье пряча,
Пусть на небе вышел чудаком.

***
Интуитивно чувствуешь, сколько прошло времени
По привычным нюансам: по сердцебиению,
По дыханию,
По октавам сверчка, пылинки порханию.

Но внутри колышется более тихое —
Паутинка натянутая портнихами,
Трещинка в монолите течения
Из которой исходит глухое свечение.

Время рушится в стороны с бешеной скоростью,
Зависаешь с ним над гигантской пропастью —
Звёзды кружат меняя свечение -
Что, ныряем к корням, как ныряет растение?!

Ипотека

Корнями проросли счета
Сквозь потные, тугие спины,
И свет сосут из середины,
Где перевёрнута мечта.

Мечта о комнатке уютной,
Где детки крошат поролон.
Куда бы луч проник под утро
Рисуя потолка наклон.

Теперь кредитов ствол железный
Пробил безжалостно хребет.
Ждут у окна, согнувши чресла,
Банкир собрался на обед.

Туда где свечи в канделябрах,
Где на душе пуховый плед,
Где лимузинов терпкий след,
Где свет просеян через жабры...
И где луча в помине нет.

***

На заседании затянутого дня
Поймал твой дальний взгляд, как пас футбольный.
Прошло мгновеньем совещанье сквозь меня,
А след гудел от передачи больно.

Пришлось поспешно вспомнить правила игры
И мяч отправить вдоль площадки пасом,
Потом ворота, гол, объятия, призы...
Сбежал, в себе учуяв ловеласа.

Поковырявшись в буднях, птичью жизнь спустя
Я растерялся, как росток в асфальте.
Игра не клеилась, о пасе том грустя,
Простое, словно небо, видел платье,

В нём ты играла нападающей легко,
Оно дерзило голубым отливом...
И через поле я пошёл к тебе пешком,
Теперь пасуем взгляды бережливо.

Кормленье

Впотьмах насупленные губы
С усильем сделали глоток,
Сопя, вдыхая воздух грубый.
Струится ожиданья ток.

В ответ под тканью нетерпенье
Прольётся белою слезой
И губы в сладком напряженье
Раскроются к звезде слепой.

Кольцом свернётся тёплый космос
И заземлится через грудь,
И исподлобья бросит косо
Свою звезду на млечный путь.

Костелоризо

Вдоль скал, как сильный дождь, отвесных,
Точимых мокрым наждаком небесным,
Вдоль боевых скульптур стоящих строем,
В лодчонке плыли, как скорлупка, тесной:
Грек на моторе, нас, приезжих, трое.

На нём щетина каменным налётом
Темнела; он как берег, пахнул йодом...
Я закричал, смотря на камень. Он сорваться
готов сейчас на нас, ветрам в угоду.
Грек указал на пострашнее братца —
Валун гигантских, словно слон, размеров.
Над ним погонщик из небесных кхмеров
Занёс свой кнут. Я камеру поднял от страха,
И объективом расстояние отмерив,
Представил, что останется от краха.

Его ничто на месте не держало,
Замки и путы безнадёжно ржавы.
Но нас привлек спокойный голос грека:
"Я здесь с отцом рыбачил парнем малым,
И камень так лежит не меньше века..."

Покой пришёл в восторге пониманья:
Что это мы — есть кадр в жизни камня.

Мантра

Не выдался сегодня день, всё валится из рук!
Таращится старуха-тень, собравшая подруг,
Влекут меня толпой во мрак, почти без сил борюсь,
И крутятся: вино, кабак, обиды, нервы плюс
И бормотанье оплело тенётою своей –

Нудит и крутит помело, скорей бы в свет, скорей!
Костюм как вырос, не по мне, ещё тепло хранит
Вчерашних баек о добре и пустоте обид.
На кой трезвонит телефон? Нервозно режет звук.
Дурною вестью рвётся звон, распространив испуг.
Ну вот в машине за рулём, подрезать норовят.
Вперёд! Крыло и жизнь помнём! Самоубийству рад!..
Добравшись с чудом пополам, до старого стола,
Пью интернета сорок грамм, тоска не прибрала.
Расставив фото на столе, в ТВ бросаю взгляд:
Валюта, войны, президент, уж много лет подряд!..

Не задался у мира век, всё валится из рук,
Мир злится, чёрный человек, с брюзжанием старух!
Вулканы расправляя вздох, махнут на жизнь рукой.
О нас расскажет только мох в расщелине глухой.

Роддом

На впалых щеках старого роддома
Щетиной пророс многолетний мох.
Роддом до бетонных рёбер в груди усох.
Кто-то торопится, ставит диагноз — саркома,
Ему живучесть наших роддомов незнакома.
(За последним — не один ещё вздох.)

Роддом больше волнует старая глаукома.
Он щурится сквозь чугунные решётки-пенсне.
Смотрит на парк, благородно старый.
Там на лавочках сидят молодые пары,
Как в прошлом... Он пил с ними чай во сне.
А недавно он получил пенсию, купил кашне,
Поменял чугунную на стальную оправу,
Мгновение чувствовал себя на коне.
Но деньги быстро кончились, как дождь в июле.
Их не хватило даже на шляпу,
Старую уже не один ворон обляпал...

Ему не раз хотелось, чтобы свечу задули,
Но слыша детский крик, дедуля
Забывал обо всём: о тромбе, о простудном кляпе,
И дежурил до рассвета на потёртом стуле.

***

На невском ресторан ютится "Дачный",
Редис, нарезка, винегрет,
Настойка злая — мыслей прачечная
Не разбирает эполет...

...Там итальянцы щедро уплетали
Пельмени, поминая грех.
Им важно знать — зачем из южной дали
Летит на Русь гнездиться стерх.

Там англичанин, после крепкой стирки,
Потёртый шарж напоминал,
Хотел узнать: откуда в этой дырке
Такой прекрасный персонал?

На шум официантка прибежала,
Смеялась люстра у виска
И на мгновенье села в центре зала
Неразделённая тоска.

Она хватала жизнь большими кусками,
Жадно глотала, сократив горизонт.
Ночь выстужая, ела закат руками,
Предпочитая приборам хороший понт.

Я собирал за ней крупные крошки,
Протирал стол, ставил на место луну,
Был саблезубым ветром, ласковей кошки,
Думал, лет двести так протяну.

Утро налил, нету в супнице мяса,
Что подвернулось, то накромсал —
Душу пожертвовал с прошлым, не мялся...
Стол ждёт накрытый в подножье Валгалл!

***

Порвалась ведущая стропа, ослабла тяга.
В городе, где тесно для крыла, пропал бродяга.
Видел поле, но не дотянул до края тени.
И теперь вокруг тяжёлый гул стальных растений.
Шёл он в горы... в интернет — сети, согнув колени,
А в дыму пытались зацвести кусты сирени,
И пока стропу на чердаке латал годами,
Переулками трусил шакал, скрипя зубами,
Пожирал высокие слова, сирень и горы
И чернела рваная стропа гнилым укором.

Регата

Берег взглядом проводил, выбрался на пирс,
Есть ли в безрассудстве смысл? Ну-ка соберись!
Руки небом заняты — ставят паруса,
Мысли страхом стянуты, губы искусал.

Ели к мачте кренятся: ты куда, чудной?
Буря неба пленница, бьётся надо мной.
Озеро расправилось в море Увильды,
Сквозь оскал грозы с дождём не видать волны.

Гонка "в одинокого" в море предстоит,
Ты пути жестокого ищешь ли, пиит? -
Голос неожиданный рынды прозвучал.
Сжалась вся земная твердь в маленький причал.

Крылья вмиг расправились! Гонка началась.
Будь что будет! Эта мысль зародила страсть.

Вихри с треском леера пыжатся согнуть,
Но просвет сквозь облака обозначит прорисует путь!

Ответ Людмиле Клочко

Стучали колёса: Вперёд! Вперёд!
Я думала только: Уснуть... Уснуть...
Людмила Клочко

Скрипели пружины: вздремни, вздремни,
Скрипела и мысль: нужен отдых, прошу.
Меня отстегнула ты, бросив ремни,
Закончен полёт и обвис парашют.

Билет на твой поезд я взять не успел,
Боялся наверно и думал, что слаб.
Попутчики скажут, что я мягкотел,
А я не люблю их снедающий храп.

Чеширской улыбкой одарят они
И выпьют тебя, как вагонный чай.
Скрипели пружины: вздремни, вздремни.
Я дома весь мир ощущаю. Прощай.

***

Ты говоришь: любовь не бывает вечной,
Конечно нет, это не прямая.
Это точки, знаки восклицания, касания плеч, но
Жесть, когда говоришь в марте, пока до мая.
Это не просто прерывистость, это сингулярность.
Это не цветаевская любовь — встреч и расставаний,
а чёткая полярность, крайность —
Полгода зима и неделю лето. Наш сын Ваня
Старше стал на три сантиметра, добавилась морщина,
Наши встречи можно измерять перебортовками машины
И обычно это делает чужой мужчина...
Я частенько вешаю твой пиджак новый
На трюмо, разговариваю с ним громко.
Он новый уже три года, приталенный, клёвый.
Я его разглаживаю, чтобы была идеальной кромка,
Но он, зараза, всё равно в шкафу мнётся,
А где то на тебе любовь рвётся…

***

Ты шла ко мне, себе не веря,
Шла только глянуть, в убежденье —
Он там один! Там не пикник, не день рожденья!
Пульс ускорялся приближения
По мере.
Прогулка в центре диких прерий
Не так волнительна. А вот и двери -
Сомненья обездвижили: на полотне читается "нельзя",
Какая тонкая стезя
И оглянувшись осторожно,
Приметила в окне сквозь сумрак "можно".

Встречая, я волнуюсь также —
Две кружки чая, нечаянная сигарета,
Мечтая о грядущем, что кончится оно не пошлой опереттой...
Стук в дверь. Мы будто встретились в исповедальне,
Ты вся в волнении слова срывала с веток дальних:
Нельзя! Попытка! Пропасть! Спальня!

***

Хорошие стихи — как дом уютный,
К ним возвращаешься, протаптывая вечер,
Через сугробы разговоров многолюдных,
Высматривая свет дороги млечной.

Окно в ночи глубинным светит смыслом.
Иные строчки сложены как стены.
А на крыльце забыли коромысло,
Пойду по воду, валенки надену.

***

Этюд набросила на простынь
Луна, мощеная листвой.
Твои черты сквозь ночи просинь
Раскрыли тайный смысл с лихвой.

Прочтением тех знаков пьяный,
Вознёсся я к твоим ногам!
Внутри этюда на поляне
Построили мы лунный храм...

...Неделю, месяц ненароком
Волною накрывало вновь.
Воспоминанья — руны Бога,
Помогут вычитать любовь!

***

Я научил её любить, быть сукой верной,
Она в иглу вдевала нить и ту манерно,
Жила по нотам, напоказ, изнанку пряча.
И время распрямилось враз в коня из клячи,
Цвета раскрылись из семи в сто семь оттенков,
Но мы и доброе смели, ломая стенки...

Конь выдохся без фуража, цвета поблекли,
И не осталось ни шиша, сгорело в пекле.
Тоска в глазах, хотелось выть, прощались пышно.
Я научил её любить, но жить не вышло.

Мария Купчинова. Подобно тому, как произрастают фиалки…

Купчинова Мария Федоровна родилась в Ростове-на-Дону, в 1972 году окончила Ростовский-на-Дону институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне РГУПС) по специальности промышленная теплоэнергетика. С 1974 по 2012 год работала в Институте тепло-и массообмена им. А.В. Лыкова Академии наук Беларуси. Писать начала сравнительно недавно, публикуюсь на сайте Проза.РУ. Один рассказ опубликован в электронном журнале «РЕЛГА». Это — моя третья публикация в «Зарубежных задворках».

Не каждый может увидеть бытие и анфас, и с изнанки.

Не всякий может разгадать его вечную загадку.

Мария Купчинова берется это делать.

Она прекрасно знает, о чем пишет; как бы сказали ученые и исследователи, она знает материал.

А душа летит дальше и выше.

Искусство — один из способов новой жизни души.

Воссоздать живых людей... увидеть их глаза, их лица... услышать их речи, быть свидетелем их деяний... видеть их победы и ошибки, угадывать мечты и чаяния... и, главное, улыбаться их улыбками и любить их любовью... перевоплощаться в них...

Мария Купчинова умеет все это.

Она — так — живет.

Елена Крюкова

На стене актового зала университета три больших портрета в массивных рамах. Слева — темноволосый круглолицый юноша в военном кителе; густые брови, чуть раскосые черные глаза, крепко сжатые губы. Справа — мужчина лет сорока с правильными чертами лица, одетый по моде девятнадцатого века: наглухо застегнутый сюртук, из-под шейного платка выглядывают отогнутые уголки воротника рубашки. В чем-то эти двое похожи. Быть может, это всего лишь вольность, которую позволил себе художник, но кажется, проницательные глаза обоих смотрят сквозь время и пространство. Только к взгляду юноши примешивается обида и недоверчивость, а у старшего в глазах — усталость и понимание. Посередине — портрет мэтра. Седой, благообразный, он спокоен и полон уверенности в себе.

Профессор, пожилой солидный мужчина в несолидных вытертых джинсах и клетчатой рубашке с закатанными рукавами, рассеянно слушает докладчика и рассматривает портреты на стене. Интересно, как повели бы себя эти трое, окажись они сейчас здесь, на конференции, посвященной применению неевклидовой геометрии в физике и математике? Младший Бойяи наверняка обрадовался бы признанию, Николай Иванович воодушевился бы, глядя на молодежь, продолжающую его исследования, а король математиков… ну, на то он и король. Сказал бы: «Я предвидел это. Но вон тот, стендовый доклад слева — очень смело».

В перерыве пленарного заседания, когда участники конференции, словно малые дети, гурьбой устремились к столам, на которых гостеприимные хозяева выставили бутерброды, печенье и разливали по чашкам чай-кофе, профессор подошел к стендовому докладу, еще раз вчитался, посмотрел фамилии авторов и улыбнулся.

***

Десятый «Б» мог вывести из себя ангела.

Невысокого роста, начинающий лысеть, в турецком свитере с растянутой горловиной и ботинках, старость которых не могла скрыть обувная щетка, Михаил Сергеевич на ангела походил мало. Доктор физико-математических наук, он пришел работать в школу, когда развалилась страна, казавшаяся незыблемой.

Предприятия, которые еще продолжали работать, расплачивались с работниками производимой продукцией. Академия Наук тоже продолжала работать. Но что она могла предложить своим сотрудникам? Несколько новых гипотез? Пару научных статей, объясняющих устройство мира? В 90-ые годы прошлого века это был неходовой товар. Зарплату давали очень и очень нерегулярно, а дома Михаила Сергеевича кроме жены ждали двое детей и двое стариков. Торговать Михаил Сергеевич не умел; в школе хоть и мало, но все-таки платили.

Еще Михаил Сергеевич не умел халтурить на работе. Поэтому днем он ходил в школу, гордо назвавшуюся гимназией, а после занятий до ночи задерживался в институте, решая вопросы устройства мирозданья. К счастью, физику-теоретику для работы необходимы лишь ручка и лист бумаги. На огонек в кабинет часто забегал первый аспирант Михаила Сергеевича, худющий, с волосами, вечно торчащими в разные стороны, Миша Петровский и робко просил:

— Михаил Сергеевич, можно я посижу с вами? В аспирантском общежитии так холодно…

Положим, в зданиях Академии Наук тоже практически не топили, но жена Михаила Сергеевича проявляла чудеса изобретательности, собирая из «ничего» «ссобойку», и старалась сделать ее чуть больше, зная, что муж все равно поделится с тезкой.

Ночь оставалась для подготовки к урокам и проверки тетрадей.

Все бы ничего, только постоянно хотелось спать.

Вот и сейчас Михаил Сергеевич оглядывал класс и больше всего боялся стоя заснуть, так тянуло закрыть глаза.

Десятый «Б» как обычно бурлил. На двух последних партах играли в морской бой, остальных броуновское движение гоняло с места на место в поисках выплеска энергии.

Вообще-то мальчишки эти Михаилу Сергеевичу нравились. Школа находилась в «спальном» микрорайоне, и большинство учеников были из семей чернобыльских переселенцев. В гимназию они поступили не после занятий с репетиторами и не по блату, а благодаря собственным светлым головам. Правда, учиться эти светлые головы не слишком рвались — реальность за школьными дверями формировала другие приоритеты.

— Смоляков, не жаль время на игрушки тратить? — преподаватель подошел к игрокам в морской бой.

— Да ладно, Михал Сергеич, — лениво приподнялся с парты круглолицый паренек и взмахнул длинными, девчоночьими ресницами, — можно подумать сами на уроках никогда не играли.

— Нет, — честно ответил Михаил Сергеевич. — Я на всех уроках пытался построить треугольник, у которого сумма углов меньше ста восьмидесяти градусов.

— Идите, — восхищенно выдохнул сосед Смолякова по парте, рыжий, веснушчатый Сашка Денисов, — вы, что ли, геометрию совсем не учили?

— Учил, — вздохнул Михаил Сергеевич, — но надеялся: вдруг получится?

— И как? — засмеялся десятый «Б».

— Не построил, зато начал книжки читать о тех, кто сумел. Вот скажите, что вы знаете о Трансильвании?

— Там Дракула жил, — радостно сказала первая красавица класса Верочка Радкевич, изящно выставив в проход ножку в огромном ботинке на толстой рифленой подошве. Это был последний писк подростковой моды. Обе дочки Михаила Сергеевича мечтали о такой обуви, которую их бабушка, прошедшая войну, называла «ботинками пленного венгра».

— Кроме Дракулы, в начале девятнадцатого века, в небольшой крепости Темешвар в Трансильвании служил молодой артиллерийский офицер, закончивший военно-инженерную академию в Вене. Ты, Ковальчук, сколько языков знаешь? — обратился преподаватель к верзиле, на голову выше его, увлеченно жующему жвачку и пускающему пузыри.

— Это… полтора, б… ь — добродушно улыбнулся Юрка, вызвав хохот в классе.

— Половина — это русский, — уточнил Денисов, — только мат — целиком.

— А тот офицер знал девять языков, был прекрасным танцором, играл на скрипке.

— И не было ему скучно в крепости? — скептически улыбаясь спросила Верочка, поигрывая ботинком. — С кем он там танцевал?

— С кем танцевал, не знаю, но сохранились записки современников, что однажды он был вызван на дуэль двенадцатью офицерами. Принял все вызовы, поставив условие, что в перерыве между поединками ему предоставят возможность поиграть на скрипке, и из всех поединков вышел победителем.

— Двенадцать человек убил? — жалостливо вздохнула Наташа Лукьяненко. Она всегда всех жалела, за что в классе именовали ее «мать Тереза» и посмеивались.

— Нет, у них там действовали другие правила: до первой крови. Но скучно в крепости действительно было. И блестящий офицер нашел себе занятие, о котором его отец писал: «Я прошел весь беспросветный мрак этой ночи, и всякий светоч, всякую радость жизни в ней похоронил. Ради бога, молю тебя, оставь эту материю, страшись ее не меньше, нежели чувственных увлечений, потому, что и она может лишить тебя всего твоего времени, здоровья, покоя, всего счастья твоей жизни…».

Михаил Сергеевич, сам удивленный тем, что вдруг вспомнил давным-давно прочитанные строчки, покачнулся несколько раз с носка на пятку, оглядел класс. Вроде слушают с интересом.

— А теперь угадайте: о чем шла речь.

— Бухал, что ли? — буркнул Смоляков.

— Нет, он вообще не пил и не курил.

— Наркота?

— Думаете, в жизни больше ничего не существует? Нет, отцом офицера был известный венгерский математик Фаркаш Бойяи, по сочинениям которого в те времена обучалась вся Венгрия, и писал он о пятом постулате Евклида.

— Это про параллельные линии, которые не пересекаются — проявила свои познания Верочка.

— Темнота, — снисходительно бросил Андрюша Немкович, — признанный лидер класса. — Через точку, не лежащую на прямой, проходит только одна прямая, лежащая с данной прямой в плоскости и не пересекающая её.

— Верно, — кивнул Михаил Сергеевич, — но Янош Бойяи предположил, что таких прямых может быть по крайней мере две.

— Так это же геометрия Лобачевского, — Андрюша пожал плечами.

— Да, но Янош Бойяи ничего не знал о работах Лобачевского. Отец его, тоже выдающийся геометр, пытался в свое время взять эту неприступную крепость, потому и отговаривал сына от занятия, казавшегося ему бесплодной игрой мозгов.

***

В маленькой комнате полумрак. Худощавый молодой человек в расстегнутом военном мундире склонился над листом бумаги. Давно надо зажечь светильник, но жаль терять время. Чертежи налезают один на другой, буквы все мельче, мельче… Юноша раздраженно отбрасывает темные пряди волос, падающие на глаза, тянется за чистым листом, но вместо него в руку попадает письмо отца:

«Не пытайся одолеть теорию параллельных линий ни тем способом, который ты сообщаешь мне, ни каким-либо другим. Я изучил все пути до конца; я не встретил ни одной идеи, которую не разрабатывал бы» …

— Вздор! — письмо отца летит в угол, а вместе с ним на пол с грохотом падает чертежный прибор.

Хочешь — не хочешь, приходится вставать, с трудом возвращаясь в реальность.

Дверь в комнату открывается:

— Господин младший лейтенант, быть может…

— Вон!!!

Янош Бойяи вздрагивает, испугавшись собственной вспышки гнева. Все чаще проявляются раздражительность и несдержанность, унаследованные от матери. Так он и правда восстановит против себя весь гарнизон крепости. Потом будут ходить легенды о его поединках… Но что он может поделать? Мир, который живет в голове — похож на фантастическую сказку, однако, Янош точно знает — это не бред умалишенного. Все его пространственные образы соединяются логикой, создавая новую геометрию, в которой нет изъяна. Лишь в музыке — столько же гармонии. Янош бережно достает скрипку.

***

Михаил Сергеевич сам увлекся. От возбуждения он говорит все быстрее, по-прежнему покачиваясь с носка на пятку и бросая короткие фразы ученикам:

— Десять лет потратил Янош Бойяи на то, чтобы довести исследования до конца. Отец не понимает работы сына, но соглашается помочь с публикацией. В 1832 году он публикует свой курс математики, приложением к которому печатает работу сына, так называемый «Аппендикс». Книгу старший Бойяи посылает другу детства, профессору Геттингенского университета Гауссу с просьбой сообщить мнение о работе сына: «Мой сын ставит на твое мнение больше, чем на отзыв всей Европы».

Михаил Сергеевич вдруг ненадолго замолкает и отвлекается от рассказа:

— Кто помнит, откуда строчки: «С душою прямо геттингенской,/ Красавец, в полном цвете лет,/ Поклонник Канта и поэт./ Он из Германии туманной/ Привез учености плоды…»

— Ну, Михаил Сергеевич, вы всегда так, на самом интересном месте прерываетесь, — недовольно бурчит Сашка Денисов.

— Потому, что, друзья мои, книги читать надобно. Ибо сказал классик: «Вдохновение нужно в поэзии не менее, чем в геометрии».

— Это Пушкин, — робко произносит Наташа Лукьяненко.

— Он о Ленском писал: «Вольнолюбивые мечты,/ Дух пылкий и довольно странный, /Всегда восторженную речь / И кудри черные до плеч».

— Умница, — Михаил Сергеевич улыбается, а Юрка Ковальчук смотрит на Наташу так восхищенно, что она краснеет и опускает глаза.

— В начале девятнадцатого века Геттингенский университет был популярен среди либерального дворянства России. Там учились братья Тургеневы, правовед Куницын. Помните пушкинское: «Куницыну — дань сердца и вина, он создал нас, он воспитал наш пламень»; вот поэтому Пушкин и отправил туда Ленского. А осенью 1808 года в университете прочитал свою первую лекцию о применении астрономии в мореплавании и в службе точного времени Карл Фридрих Гаусс. С этих пор имя его словно магнит притягивало в Геттингенский университет молодых людей, дерзнувших заняться математикой.

***

Тусклая свеча освещает небольшой стол, конторку, выкрашенную белой масляной краской, узкую софу да единственное кресло, в котором сидит, слегка наклонившись вперед, еще крепкий немолодой мужчина. Легкая черная шапочка прикрывает седые волосы, из-под длинного коричневого сюртука топорщится жилет и белая рубашка с отложным воротником.

Профессор Геттингенского университета, директор астрономической обсерватории, тот, кого уже давно называют «королем математиков» — непритязателен к быту. После смерти второй жены его мучает бессонница, и лишь наука дает возможность отвлечься.

На столе — пара неоконченных писем да книга Фаркаша Бойяи, доставленная с оказией. Когда-то, студентами, они принесли друг другу клятву в вечной дружбе… Каких только глупостей не наделаешь в молодости. Часами тогда они беседовали о доказательстве пятого постулата Евклида, но Фаркаш ошибался в расчетах.

Гаусс отложил в сторону начатое письмо коллеге, пробежав глазами последнюю строчку: «Вот уже несколько недель, как я начал излагать письменно некоторые результаты моих собственных размышлений об этом предмете... никогда мною не записанных...». Вздохнул и неохотно распечатал сверток с присланной книгой. Судьба давно развела бывших друзей, странно, что Фаркаш упорно не хочет понять этого.

Читать чужой курс математики? Право, у него нет для этого ни времени, ни желания. Перелистнул страницы, собираясь закрыть, но в глаза бросилось: «Приложение, содержащее науку о пространстве абсолютно истинную, не зависящую от истинности или ложности аксиомы Евклида…».

Король математиков не оторвался от книги, пока не дочитал Приложение до конца. Теория молодого Бойяи содержала именно те результаты, которые Гаусс начал записывать. Что же, теперь необходимость в этом отпадает…

Гаусс сидит в излюбленной позе: кисти рук на коленях, локти опираются на подлокотники кресла, туловище слегка наклонено вперед. И не поймешь, куда устремлены пронзительные голубые глаза: то ли на неведомого автора теории, то ли вглубь себя.

«Несомненно, Юный Бойяи — гений первого ранга» — так в тот же вечер напишет Гаусс в письме своему другу Герлингу.

***

За окнами гимназии обыкновенная городская жизнь. Выпавший ночью снег выбелил улицы, широкой бахромой повис на ветках деревьев. Ивы, березы, рябины, обступившие гимназию, из сморщенных старых дев превратились в красавиц, лукаво поглядывающих из-под расписных снежных шалей. Впрочем, зима не торопится утвердиться окончательно: под ногами прохожих, под

колесами машин снег превращается в бурую грязь, начисто забыв о своем первоначальном стремлении украсить город.

Чавкая в растаявшем снеге, подплывают к остановке автобусы. У младших классов занятия уже закончились: кто-то штурмует транспорт, а кто-то не торопится домой, скатываясь на кусках фанеры и обрывках картона с едва покрытых снегом горок.

Десятый «Б» не обращает внимания на шум и крики, доносящиеся со школьного двора.

— Да не тяните же, Михаил Сергеевич, что дальше-то, — почти подпрыгивает неугомонный Денисов.

— Дальше…

Учитель вздыхает. Он слишком хорошо знает: в научной деятельности разочарование — частый гость.

— Король математиков долго не отвечал на послание друга юности, а пришедший ответ радости не принес: «Хвалить работу твоего сына — значит, хвалить самого себя, ибо все содержание этой работы, путь по которому твой сын пошел и результаты, которые он получил — почти полностью совпадают с моими, которые я получил уже лет тридцать — тридцать пять назад. Я действительно крайне поражен этим...»

— Десять лет жизни коту под хвост, — расстроенно комментирует Сашка Денисов.

— А Лобачевский? — ревниво спрашивает Немкович. — Значит, он тоже не был первым?

Михаил Сергеевич всматривается в лица учеников. Давно он не видел таких горящих глаз, даже Ковальчук сидит, приоткрыв рот, забыв про свою жвачку.

— Лобачевский… — Михаил Сергеевич улыбается, — знаете, он бы пришелся вам по душе. В гимназии — прибил гвоздем к столу дневник задремавшего на уроке преподавателя латыни, удостоившись предсказания: «Из этого только разбойник вырастет»; в университетские годы в городском саду прокатился верхом на корове. Вы только представьте себе: публика чинно гуляет по саду: фраки, смокинги, на дамах — платья с пышными юбками до земли, шляпки, зонтики. И вдруг наперерез прогуливающимся несется во всю прыть корова, верхом на ней, вцепившись в рога, сидит Лобачевский, следом — с гиканьем и криками бегут студенты, подгоняя перепуганную корову хворостинами…

Не успел десятый «Б» отсмеяться, а Михаил Сергеевич продолжает:

— В тридцать четыре года одиннадцатью голосами против трех Лобачевского избрали ректором Казанского университета. Скажу по секрету: сегодня ни одному молодому ученому это не светит, будь он хоть трижды гением. Впрочем, гением быть во все времена непросто. За год до этого, в феврале 1826 года, Лобачевский выступил на заседании физико-математического факультета Казанского университета с докладом «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». Текст доклада не сохранился, да профессора университета, присутствовавшие на заседании, и не пытались его понять. Какие постулаты, какие теоремы… После подавления декабрьского восстания на Сенатской площади со старой геометрией не загреметь бы куда Макар телят не гонял, а этот, неугомонный, все с классиками тягается…

***

Перед зеркалом, обрамленным золоченой резной рамой, стоит высокий, чуть сутулый мужчина в сером сюртуке и с удивлением рассматривает седую

прядь в копне темно-русых волос. Когда же она появилась? Может, когда вместе с доктором Фуксом в «дехтяных» халатах вынесли из университетской больницы первую жертву холеры и положили в костер.

Ректор университета гонит прочь воспоминания о недавних событиях: по пустынным улицам Казани, объятой холерой, ветер разносит чад и золу костров — там сжигают умерших. А на его плечах — ответственность за жизни студентов, профессоров, чиновников университета и их родственников. На полтора месяца прекратили всякое общение с городом, над университетом день и ночь клубились облака пара: здоровых и больных заставляли париться в бане, превратив в парильни все подсобные помещения университета, и удалось-таки не допустить распространения заразы. Из шестисот человек заболело всего сорок и умерло тринадцать.

Николай Иванович рассеянно крутит на пальце золотой перстень с бриллиантом — награда императора Николая I за действия во время холеры.

Уже не раз он обещал прийти к Фуксам на литературный вечер, устраиваемый женой доктора, поэтессой. Наконец, верный слову, собрался, оделся, но… как жаль терять время, и как же трудно будет удерживаться от смеха, выслушивая стихи доморощенной поэтессы. Он и сам когда-то баловался стишками, пока, прочитав Пушкина, не забросил. Беда не в том, что стихи Александры Андреевны откровенно плохи, а в том, как настойчиво выспрашивает она его мнение, ожидая похвал… Пожалуй, лучше держаться от греха подальше… И так говорят, что он превышает свои полномочия, заносчив с профессорами, снисходителен со студентами, которые потихоньку рассказывают истории о его приключениях, вроде скачек на корове. Ну, что поделаешь: у матери не было средств, чтобы учить сыновей. Повезло: взяли учиться за казенный счет, вот и поспорил с одним из богатых студентов на деньги, что прокатится на корове. Зато сколько нужных книг сумел купить…

Лобачевский снимает сюртук, педантично прячет в шкаф: матушка приучила к аккуратности и бережливости. Бог с ним, этим литературным вечером: не так уж много времени выпадает для занятия тем, к чему лежит душа.

Когда-то Николай Иванович верил, что его работы если не осчастливят, то хотя бы заинтересуют человечество. Но все более им овладевает скептицизм. «Казанский вестник» еще в 1929 году опубликовал мемуар «О началах геометрии». Прошли годы, никто из коллег не пожелал вникнуть в суть. Быть может, в Москве или Петербурге… Ходит много разговоров о математике Остроградском, преподающем в столице. Если бы хотя бы один человек понял…

***

— Остроградский понял? — с надеждой спрашивает Наташа Лукьяненко.

Михаил Сергеевич вздыхает:

— Тщеславие, как и обычную зависть, в научной среде никто не отменял. Остроградский, один из основателей Петербургской математической школы, с неприязнью отнесся к работе казанского коллеги. Его отзыв часто цитируют: «Автор, по-видимому, задался целью писать таким образом, чтобы его нельзя было понять. Он достиг этой цели; большая часть книги осталась столь же неизвестной для меня, как если бы я никогда не видал её». Более того, с подачи Остроградского появилась статья в журнале «Сын Отечества», дабы обратить внимание государя императора на того, кому он доверил воспитывать в Казани студентов. В статье анонимные авторы работу Лобачевского объявили сплошной нелепостью, отказав ему даже в наличии здравого смысла.

— И никто-никто не поддержал Лобачевского? — на глазах у Наташи слезы.

— При жизни — нет. Хотя известно, что изданная в Берлине в 1840 году книга Лобачевского «Геометрические исследования по теории параллельных прямых»

произвела большое впечатление на Гаусса. Однако лишь в письмах к друзьям король математиков позволял себе восхищаться автором книги. В 1842 году Гаусс даже представил Лобачевского к избранию в Гёттингенское королевское научное общество как одного из выдающихся математиков российского государства. Но признание идей Лобачевского в научном мире произошло спустя почти десять лет после его смерти, когда была опубликована переписка Гаусса.

— Но почему Гаусс не поддержал ни Лобачевского, ни Бойяи? Он, быть может, единственный, кто сумел понять, — недоумевает по-юношески прямолинейный и открытый Денисов.

— Корону боялся потерять, б…ь, — рявкает обычно добродушный Юрка.

— Ковальчук! Здесь девочки, — Михаил Сергеевич не расстается с надеждой перевоспитать Ковальчука, но сейчас делает замечание скорее по инерции.

— Слишком революционны были эти идеи. Гауссу не хотелось спорить, доказывать… Он поклонялся лишь чистой науке, а полемика могла отвлечь от работы.

— Просто Гауссу это было не нужно. И никому это не было нужно: какая разница окружающим, сколько линий можно провести через ту или иную точку? У людей другие проблемы были тогда и есть сейчас, — спокойно резюмирует Смоляков. Кажется, он единственный из всего десятого «Б» остался равнодушен к истории открытия.

— Тебе интересно лишь то, что можно купить или продать на рынке, — голос Наташи Лукьяненко звенит, поражая несвойственной ей запальчивостью.

— Да нет, по-своему, Смоляков прав, — учитель огорченно вздыхает. — С точки зрения многих разумных людей, возможно, действительно не стоило тратить жизнь на какую-то там воображаемую геометрию.

Михаил Сергеевич зачем-то вынул носовой платок, растерянно тут же засунул в карман, продолжил негромко, медленно подбирая слова и вглядываясь в лица сидящих перед ним:

— Не знаю, поймете ли вы… Есть идеи, которые приходят и овладевают человеком. Они не спрашивают, подходящее ли для этого время, выгодно ли развивать их, и вспомнит ли автора благодарное потомство… Просто если уж оно тебя посетило — невозможно перестать думать об этом. Бойяи принадлежат слова: «Подобно тому, как фиалки весной произрастают всюду, где светит солнце, многие идеи имеют свою эпоху, во время которой они открываются одновременно в различных местах». Как невозможно запретить фиалкам цвести, так невозможно запретить человеку думать.

Михаил Сергеевич помолчал, задумчиво улыбнулся.

— Вы только вдумайтесь: больше двух тысяч лет поколения за поколениями верили в пятый постулат Евклида, и вдруг сразу три человека, живущих в разных странах, допускают, что есть условия, когда он не исполняется, предполагают, что сумма углов в треугольнике может быть меньше 180 градусов, и на основе этого создают геометрию, положения которой парадоксальны, но, тем не менее, не содержат ничего невозможного. А что касается практического применения… Одна из наиболее популярных космологических моделей представляет Вселенную как трехмерное пространство Лобачевского, с меняющейся во времени кривизной; уравнения гравитации Эйнштейна в значительной степени воплощают в себе идеи неевклидовой геометрии; эксперименты по столкновениям элементарных частиц блестяще подтвердили, что углы, под которыми разлетаются частицы и их скорости предельно точно могут быть рассчитаны на основе формул геометрии Лобачевского… Простите, ребята, я увлекся, — смущенно прервал себя учитель.

— А Бойяи смирился с тем, что не был первым? Что с ним было потом? — Верочка Радкевич нервно накручивает на палец падающую на глаза прядь волос, позабыв про свой титул красавицы.

— Потом все было плохо, — вздыхает Михаил Сергеевич. — В руки Яноша Бойяи попала книга Лобачевского. Он не поверил в существование такого ученого где-то в далекой России и решил, что это «геттингенский скряга» выпустил работу под псевдонимом, тем самым украв труд всей его жизни. Нервное потрясение привело к тому, что Бойяи оказался на грани помешательства.

Михаил Сергеевич грустно усмехнулся:

— Занятия наукой бывают небезопасны для здоровья.

— Лучше бы отца слушал и жил, как другие, — бормочет себе под нос Димка Смоляков.

Звонок с урока возвращает всех в реальный мир, живущий по своим законам.

В коридоре у окна нервно потирает ладони аспирант Михаила Сергеевича.

— Миша, что вы здесь делаете?

— Уезжаю я, попрощаться зашел. Отец настаивает, говорит: «Наука — баловство, а семье выживать надо». У нас и правда дома мал-мала меньше…

Михаил Сергеевич понимающе кивает головой:

— Чем собираетесь заниматься?

— Тем же, чем все. Буду ездить в Польшу, торговать…

— Удачи. И помните, Миша, надумаете вернуться — буду вам рад.

Михаил Сергеевич не отрываясь смотрит, как размахивая руками, длинный, нескладный, словно Гулливер в стране лилипутов, Миша пробирается по коридору сквозь толпу малышни, высыпавшей из продленки.

***

— Михаил Сергеевич, дорогой! — на щуплого профессора в вытертых джинсах обрушивается двухметровый гигант. — Как я рад вас видеть!

С трудом освободившись от объятий, немного помятый, Михаил Сергеевич улыбается представительному молодому мужчине в отлично сшитом черном костюме:

— Здравствуй, Юра. Видишь, изучаю твой доклад. Оригинальное решение задачи, эти трое одобрили бы, — Михаил Сергеевич кивает в сторону портретов.

— Правда? — видно, что собеседник искренне рад. — Мы с Наташей часто вспоминаем вас. Помните, я в гимназии мог отвечать урок, только матерясь через слово, а вы заставляли меня писать ответы в тетради и красным карандашом исправляли грамматические ошибки. Я ведь, Михаил Сергеевич, благодаря вам, русский язык выучил.

— Приму к сведению и буду гордиться, — смеется профессор.

— Подождите, я вас сейчас с соавтором познакомлю.

Ковальчук отходит и через минуту возвращается, ведя за руку стройную молодую женщину. Узкая серая юбка и нежно-розовая блузка, туфли на высоких каблуках, строго закрученные на затылке волосы, умелый макияж так изменили нескладную девочку-подростка, что Михаил Сергеевич не сразу узнает Наташу Лукьяненко.

Опять начинаются объятия.

— Ну, вообще-то я так и подозревал, что фамилия соавтора «Лукьяненко» — не случайное совпадение, — улыбается бывший учитель, — но даже представить себе не мог, что ты, Наташа, станешь такой красавицей. Повезло Юре.

— Ага, еще как, — Ковальчук, как обычно, добродушен, — а помните, Михаил Сергеевич, как я пришел к вам совета просить перед первым в жизни свиданием? Я ведь к ней тогда и собирался.

Михаил Сергеевич смотрит на Наташу, и по губам пробегает лукавая улыбка:

— Извини, Юра, совсем забыл, начисто.

— Простите пожалуйста, — к оживленно беседующей троице подходит мужчина лет сорока с небольшим. — Михаил Сергеевич, мы с вами не знакомы, извините, что прерываю ваше общение, но, к сожалению, сразу после заседания я вынужден уехать, а очень бы хотелось передать вам одну вещь. Вы помните Мишу Петровского?

— Да, конечно, — Михаил Сергеевич мгновенно стал серьезным. — Ребята, вы извините, еще поговорим. Что с Мишей?

Незнакомец вместо ответа расстёгивает папку, достает журнал американского физического общества.

— Я — однокурсник Миши, сейчас работаю в Иллинойском университете в Чикаго. В последнем номере Physical Review опубликована статья, вызвавшая большой интерес. Но я-то помню, Вы с Мишей еще двадцать лет назад работали над этой темой, и вроде даже статью публиковали…

Михаил Сергеевич быстро листает журнал, вздыхает:

— Работали. Выступили с докладом на республиканской конференции, но тезисы доклада так и не опубликовали: у института не было денег, бумаги, типография бастовала. Остается радоваться, что были на правильном пути. Но что с Мишей? Где он?

— Насколько я знаю, он перегонял машины из Польши и однажды не вернулся из поездки. Время такое было…

— Да, время…

Они какое-то время молчат, потом однокурсник Миши уходит, а Михаил Сергеевич еще долго стоит в опустевшем фойе, вертит в руках журнал, вспоминая своего первого аспиранта.

В актовом зале университета под пристальным взглядом трех гениев Наташа Лукьяненко тормошит мужа и шепотом спрашивает:

— Юрка, что он тебе сказал, когда ты просил совета перед свиданием? Ты же помнишь?

— Помню, — вздыхает респектабельный молодой ученый, отвлекаясь от слушания доклада и наклоняясь к уху жены. — Не забудь вымыть ноги и надень чистые носки. Дома, сама знаешь, меня этому учить было некому.

Анатолий Ливри. Обряд. Стихи

Анатолий Ливри, эллинист, поэт, философ, автор пятнадцати книг, опубликованных в России и Франции, бывший славист Сорбонны, а ныне доктор наук, преподаватель русской литературы Университета Ниццы — Sophia Antipolis. Ливри — обладатель ряда престижных международных премий, в числе их «Серебряная Литера» и «Эврика!», Лит. премия им. Марка Алданова. Анатолий Ливри — корреспондент «Литературной газеты» в Швейцарии.

Поэзия не для всех

Когда начинаешь читать стихи Анатолия Ливри, то сначала возникает ощущение чего-то неуловимо знакомого, но вместе с тем нового, неизвестного. То ли это происходит за счет вечных античных образов, то ли благодаря аллюзиям к русским поэтам и европейским философам и писателям… Однако по мере чтения понимаешь, что перед тобой самобытный, ни на кого не похожий автор-интеллектуал, впитавший всю мировую культуру — от античности до современного постмодерна. Поэтому и поэзия его — своеобразный диалог с мировой литературой, причем, в качестве собеседников Ливри выбирает самые знаковые фигуры: Гомер, Свифт, Пушкин, Ницше… Хотя есть у автора и безусловные «фавориты» — Древняя Греция и русский Серебряный век. Кажется, что Анатолий Ливри пытается поверить современность античным инструментарием, ввести ее в эллинскую систему координат.

Вместе с тем стихи автора живут в контексте постмодернистской реальности, причудливо переплетающей первоисточники. Поэтому иногда в почти есенинское «октябрь золотом струится между пальцев» вторгаются броские, сюрреалистичные образы («Эйфеля ходули», «планетный сколиоз», «тень бахромы безумья») и оксюморонные тропы («смерторадостные данайцы», «исчадье дивное небес», «дифирамб прозы»), высокая книжная лексика («вакхантов рать», «и в ритм трепещет ей», «сбирающий каменья») сталкивается с просторечной («попутал бес», «пупырчатой березе», «свихнувшийся мальчонка-музагет», «и сиганув сквозь рай»), в полотно поэзии Ливри органично вплетаются русские березовые рощи и южная мандрагора, французский плющ и японский тополь, скандинавский молот соседствует с ветхозаветным Вельзевулом, горгона с Вальгаллой, прекрасная чухонка и Калевала с вакханкой и Асклепиадом, свифтовские еху с ницшеанским «халкионическим предтечей Бога смеха».

Подобно раннему французскому сюрреализму, зародившемуся в атмосфере послевоенного разочарования и принявшему форму всеобъемлющего протеста против устоявшихся ценностей, творчество Ливри, бунтарское по своему духу, тоже восстает против реальности, против знаковой системы и знаковости окружающей культуры. Особая эстетика коллажа иногда позволяет автору ставить рядом логически несвязуемые между собой образы. Поэтому постичь поэзию Анатолия Ливри способен только интеллектуально искушенный читатель.

Елена Коломийцева
доктор филологических наук,
зав. кафедрой журналистики
Московского государственного института культуры

Обряд

Я молния, прорезавшая хаос,
Я зело злой зелот первоогня.
Чёрт немец мне приказ шепнёт: «Geist, raus!»,
Дух прочь, — и Вакх нисходит на меня.

Бог выжмет мне в лицо ночное Солнце,
Вся патока вселенского добра
Польётся по губам. Святой пропойца,
Из чащи Один смачно гакнет: «Bra!».

И цепкие неистовые пальцы
Светила чёрного ухватят прядь волос,
Потянут посолонь (себе вослед!). Скитальцам,
Засев во мне, Вакх крикнет: «Eἰς ὅροϛ».

Рёккен, 15 октября 2017

Поэт
Паяц и вор, свирепый пересмешник,
Певец понтийских златорунных струн,
Скрижалей чтец, птенец, яйцо, скворешник,
Сколоченный гравером готских рун,

Засумраченных Азией-могилой.
Замогиканен ложью да молвой,
Заперт как перс на ключ у Термопилов,
Заворожён тюрьмою да сумой,

Распахнутой в предчувствии разбоя
Да кистенёвских барских кистеней,
Заклан, как Ифигения в Джанкое
За лань почти Латоновых кровей.

Базель, 6 ноября 2007

Ливри акушер
Давай, любовь моя планета,
Взрыдай о Сыне, пропляши
Сквозь сочный мрак своей души
До бледнокожего рассвета.

И волглый иволог напев
Зарю омоет в одночасье
Багрянцем рудным. Алый зев
Зевеса блещет новой расе,

Что нарождается, как хмель,
И сорубежными грядами
Из чрева Терры прёт: «Ммммы сссами!
Нам Митра — Бог, нам кровь — купель!»

Èze-sur-Mer, 11 февраля 2012

Мистраль
Как звонок плач весенний чаек,
Восторжен дикою тоской —
— Правдивости порукой. Зной.
Вихорь сотнею нагаек

По станам гибким хлещет пальм,
Дерёт чубы до чёрной крови,
Им распушив седые брови.
Над бухтой ухнет вдруг напалм,

Торжественно, по-африкански,
Над изумрудом тяжких волн
Прокатит эхо и в полон
Гарем Нарциссов с гузном тряским

Возьмёт. Драгой залог!
И снова жжёт своим дыханьем
Гиперборейский Митра-Бог
Брюшко Европы. И рыданьем

Вторит ему крылатый сонм,
Прожорлив, похотлив и злобен,
Ночи-коршуннице подобен,
Индиге звучной в унисон.

Канны, 1 апреля 2011

Корабль Дураков
Средь луврских мраморных полов,
Колонн и запахов буфета
Плывёт *«Корабль дураков »*.
Известна вам картина эта?

Без якорей, без парусов,
Без кормчего и капитана
Двенадцать дурней-моряков
Летят навстречу дальним странам.

А ты, турист усталый и больной,
Заложник орд, исполненных очей
Японских кинокамер, узник тех речей,
Что изрыгает гид, плюющийся слюной,
6
Остановись, друг мой, и внемли:
Причалил уж корабль тот, а земли,
Дотоле дароносны и пышны,
В залог потомству дурней отданы.

Покинь дворец! На пирамиды –
Безвкусицы и пошлости гибриды,
Ты не смотри, уж душу пощади,
И к набережной выйди. Погоди!

Бездельный день уж к ночи клонит,
И затаился город-монстр,
А Сена волны к морю гонит,
На ней кораблик — носом востр.

Узнать его не сложно,
Ведь экипаж — как встарь:
Монах вопит истошно,
Да шут — как пономарь.

Кровавым флагом гордый
Уж боле двух веков
Буравит Сены воды
«Корабль дураков».

Март 2003 *Следственный изолятор кантона BASEL-STADT*

Лариса Петрашевич. Из тюрьмы да с сумой. Рассказ

Лариса Петрашевич. Родилась в 1967 г. во Львове. В возрасте 8 лет вместе с семьёй переехала в Москву. В 1990 г. окончила филологический факультет Московского Государственного Университета по специальности "Славянские языки и литература". Работала переводчиком с македонского и сербскохорватского языков, сотрудничала с издательством "Иностранная литература". С 2010 живёт в г.Монреаль, Канада. Выпускница Литературной школы "Хороший текст" и Литературных мастерских Creative Writing School (курсы прозы и драматургии). Работает автором-фрилансером в русскоязычной газете «Место Встречи Монреаль», публикует художественные тексты, культурологические и литературоведческие статьи.

Проза Ларисы Петрашевич изобилует точнейшими подробностями жизни, ее живописными деталями, и в то же время цельна и психологична; почему так, а не иначе, ведет себя в жизни человек? Где граница между оригинальностью и странностью? Где живая красота уступает место неизбывной тоске по ней?
Где простые люди внезапно становятся непростыми, и даже — очень, очень сложными?
...Всякий человек сложен. И неоднозначен.
И соткан из противоречий.
И одновременно и ясен, и загадочен.
Так, как ясна и таинственна проза Ларисы Петрашевич...

Елена Крюкова

Она стояла у плиты и наблюдала за кофе, поднимавшимся над ободком турки аккуратной золотисто-дырчатой шапочкой. Как только шапочка начинала угрожающе нависать — надо было тут же приподнимать турку над газовой конфоркой и ждать, пока пена чуть упадёт. Затем снова ставить на конфорку и неотступно наблюдать за пузырящимся кофе. И так три раза дать подняться и упасть — только тогда кофе получался насыщенным и ароматным, как она любила. И обязательно две ложки сахара на турку: настоящий кофе должен быть крепким и сладким.

Раздался звук дверного звонка. Такой немного беспардонный, напоминающий школьный звонок, рубящий детское разноголосье перемены. От неожиданности она вздрогнула, кофейная шапочка сбежала плотными коричневыми ручейками по блестящему боку турки и небрежно закапала вокруг конфорки. Нежный кофейный аромат сменился резким запахом жжёного, вокруг конфорки — рванобокие коричневые кляксы.

Она с досадой отставила кофе на соседнюю холодную конфорку и пошла открывать дверь.

На пороге стояла диковатого вида женщина в коротком кротовьего цвета пальто, толстых тёмно-бордовых штанах с лоснящимися коленками и потерявших форму клеёнчатых сапогах. На голове женщины плотно сидела кроличья коричневая шапка-ушанка из слипшегося меха, а на плече висела неожиданная для такого мужского наряда сумка: местами потёртая, но определённо дамская, цвета морской волны, с длинной золотистой цепью вместо ручки.

— Ну, здравствуй, Надежда! — сказала женщина и улыбнулась широко и радостно, как будто рот у неё был полон крепких и ровных зубов. На деле же они были тускло-жёлтыми, а верхних резцов и вовсе не хватало.

— Здравствуйте…вы кто? — Надя недоумённо смотрела на эту бомжиху и не могла сообразить, откуда та могла знать её имя.

— Да Люба я, Курбатова. Люба Курбатова, — по-прежнему улыбаясь нездоровым ртом сказала женщина. — Что, не похожа? Вот, нашла тебя, хоть и не сразу: район у тебя какой-то путанный. Я-то ведь и не знала, что ты в Москву перебралась. Ну да что мы вот так, на пороге? Зайти-то хоть дашь или сама на площадку выйдешь? Перекурим, что ли?

***

Эта история приключилась так много лет назад, что Надежда даже и подумать не могла, что теперь у неё может быть какое-то развитие. В её жизни, по крайней мере.

В ту пору она только окончила пединститут и приступила к работе в начальной школе. Ей невероятно повезло устроиться в школу, находившуюся в тихом, благополучном центре. «Распределиться», как тогда это было принято называть.

На окружающих школу улицах располагались дома, во все времена называвшиеся «дорогим жильём». Во дворе росли каштаны, учителя были лучшие, дети — из интеллигентных семей. Родители охотно записывали их в спецшколу «с углублённым изучением французского языка со второго класса».

Надежда пришла туда устраиваться наобум, совершенно не рассчитывая на то, что её — только-только закончившую институт, фактически без опыта, — возьмут. А случилось так, что взяли, потому что отработавшая немало лет учительница начальной школы вдруг незадолго до первого сентября сообщила, что получила разрешение на въезд в Израиль и по этой причине оставляет работу, город и страну. Директор школы не был готов к такому осложнению, а поэтому когда пришла молоденькая девушка с хорошими манерами и свежим, ещё пахнущим типографской краской дипломом, рискнул принять её сразу, без опыта и без рекомендаций. И вот же, повезло: Надежда Ивановна оказалась педагогом «от бога» — дети её любили, а дирекция довольно скоро начала проводить в её классе «открытые» уроки для районных педагогических комиссий, а спустя какое-то время даже и для Министерства образования.

В школе Надежда находилась значительно больше времени, чем требовалось, занимаясь в том числе и внеклассной работой. Ближе к вечеру бежала домой со стопкой тетрадей на проверку, до глубокой ночи составляла подробные конспекты и готовилась к открытым урокам, а с утра — снова в школу.

Впрочем, такая её тяга к профессии объяснялась ещё и тем, что была она в тот период совершенно одинока. Её мама умерла в возрасте пятидесяти с небольшим, промучившись несколько лет тяжёлым заболеванием сердца. Все эти годы Надя разрывалась между институтом и домом, а потом между институтом и больницей. То есть когда однокурсницы вовсю крутили романы и вы-

ходили замуж — ей было не до женихов. Женихи появились, куда уж без них, но только гораздо позже. Не в первые годы её работы, во всяком случае.

Дом, в котором она жила с детства, располагался на тихой улочке, названной в честь известного украинского поэта. Соседей своих она знала прекрасно, во всех квартирах на трёх этажах, и они её любили за беспроблемность — наиболее ценное качество для проживания в многоквартирном доме. Ближайшей соседкой была Вера Николаевна — бездетная медсестра со стажем, жена капитана дальнего плавания, находившегося в командировках чаще чем дома.

Этажом выше жили уже немолодые Соня и Харитон, но в отличие Веры Николаевны у них было трое детей, двое из которых прочно обосновались в Штатах и периодически звали туда родителей, но те никак не решались. Тем более, что работа у Харитона была перворазрядная: поди плохо быть мясником на рынке со своим строго закреплённым местом? И нет никакого смысла куда-то рваться, если и здесь всё налажено. Правда, Соня с того момента как вышла на пенсию — а до того работала маникюршей в лучшем салоне-парикмахерской города, — иной раз грозилась всё бросить и уехать в Израиль (Америка её пугала рассказами о синтетической пище), но дальше разговоров дело не шло.

А на первом этаже жила семья Курбатовых, вот она-то и выбивалась из общей слаженной картины соседского сосуществования тем, что *было там много нервов и неблагополучия*.

***

Люба и Миша Курбатовы въехали в дом, заняв квартиру стариков Ковальских, умерших один за другим в течение полугода. Миша работал музыкантом в областной филармонии, но дома никогда не репетировал. *Арфист, видать*, пошутил однажды ненадолго заглянувший в родной дом капитан дальнего плавания.

Арфист не арфист, но фамилия его ни на каких афишах не значилась, и был он, похоже, далеко не первым в списке оркестрантов. Миша был не то что бы красавец, но недурён собой: роста выше среднего, аккуратного телосложения, с довольно длинными светло-русыми волосами, расчёсанными на прямой пробор. При этом ресницы и брови наоборот — чёрные, почти смоляные. Впервые увидев его Надя вспомнила, что в «Печорине» Лермонтов писал, что светлые волосы и темные брови — признак породы. Так вот, породист был Михаил, это уж точно, а какой музыкант на деле — этого в доме так никто и не узнал.

Люба же была простушкой, не было в ней ровно никакой изюминки: стандартная фигура, не толстая и не худая, без каких-либо изгибов, лицо как лицо — незапоминающееся, смазанное, не городское. Волосы, правда, длинные, довольно густые, но какого-то невыразительного цвета, как будто припылённые. Соня однажды в порыве сочувствия предложила отвести Любу в салон, где она раньше работала, к «гениальной» мастерице, которая перекрасила бы Любин *войлок* (Сонино определение) в цвет *глаз не отклеить* (ещё раз Сонино).

Но Люба не оценила такого шикарного предложения и сказала, что Миша ею и такой доволен. «Доволен или довольствуется?» — полюбопытствовала Соня, но Люба не ответила.

Состоялся тот разговор про «войлок» в начале жизни пары в новом доме, а потом уж действительно стало не до ухода за собой. Спустя два года у Любы

родилась девочка, назвали Таней. Младенец орал денно и нощно так, что Вера Николаевна вставляла в уши ватные турунды, лишь бы не слышать. Замечаний Курбатовым никто не делал — надо отдать должное соседскому терпению. Впрочем, какие тут могут быть замечания, молодые родители же не виноваты, что *такое вот родилось*? Ну разве что иногда им напоминали, что иным детям укропная вода помогает, если животик, скажем, или же спать укладывать не в обычную кроватку, а в коляску, и качать её, всё время качать…Но все эти советы на самом деле были пустыми, потому что ребёнок кричал совершенно ненормально: сутками напролёт, практически без перерыва. «Спит ли она вообще?» — иной раз интересовались соседи друг у друга.

Люба была измотана маленькой Таней настолько, что превратилась в сухую серую тень самой себя. Миша же, как это иной раз бывает у молодых отцов, вдруг начал неожиданно много времени посвящать работе и репетициям. Иногда Танин крик бывал чуть потише (она умела орать «бурно» и «спокойно», хоть и отличие было практически неуловимо для ненатренированного уха), и тогда Надя, живущая прямо над ними, слышала, как Люба что-то нервно выговаривает Мише. А тот то ли не реагирует, то ли отвечает совсем тихо — лишь бы соседи не слышали.

Когда Тане исполнилось два года, Люба на всё лето уехала к своей матери в деревню. И это было, безусловно, правильным решением, потому что по возвращении Таня перестала кричать без продыху, а только временами, не больше двух-трёх раз в день. Жильцам так вообще показалось, что она молчит — настолько ощутимой была разница.

Но в то лето, когда ребёнок восстанавливался на свежем воздухе и натуральных продуктах, Миша — что было неожиданностью для всех, — повёл себя дерзко, проигнорировав недвусмысленное соседское осуждение.

Он стал приводить в квартиру совершенно постороннюю женщину. Эффектную, чего уж там, — крутобокую, броско накрашенную и беззастенчивую. Она, ничуть не смущаясь, заходила и выходила из квартиры, двигалась неспешно, без особого интереса оглядывая двор. Иной раз могла и вовсе остановиться на полпути и закурить, а Миша то ли не умел, то ли не хотел тому противостоять. Так он и топтался рядом с ней на глазах у всех живущих в их трёхэтажном доме.

А потом вообще, как сказал Харитон, *Мишка выпрыгнул из семейников.* Появилась другая женщина, и все решили, что ту, неспешную и фигуристую, он бросил. Но нет же — та тоже вернулась, и ходили они обе к нему в разное время. А потом ещё одна…В итоге тем летом застывшая на своём посту у окна Соня насчитала двух приходивших более-менее регулярно и трёх случайных, после первого раза не вернувшихся. *Селекционер наш*, сказала она в конце августа, *из количества выбрал качество*.

Люба вернулась в первых числах сентября, и в доме Курбатовых начался натуральный ад. Конечно же, кто-то сразу доложил ей и о количестве, и о качестве (Соня божилась, что не проронила ни слова, но верить в это всё-таки не стоило бы), и у Любы начался период истерик и скандалов. Как только Миша возвращался с работы, она начинала выразительно и громко выкрикивать вариации одного и того же текста: *самец, предавший свою семью, а музыкальный инструмент у тебя промеж ног торчит и ты даёшь всем на нём подудеть, но погоди, будет и тебе наказание, когда я его отрежу и брошу твоим подстилкам — пусть сожрут и подавятся*, ну и всё в таком духе.

Слушать это было неловко и даже противно, но всё равно все слушали — как Танькин ор раньше — только с бóльшим вниманием. Накричавшись, Люба начинала рыдать, а Танька по старой памяти тотчас же к ней присоединялась с отрывистым, нервным подвыванием.

Спустя месяц-другой среди набора обычных обвинений начало проскакивать что-то новое. Оно выкрикивалось по частям, а затем сложилось в полноценную картинку: до того как пожениться, она один раз уже была беременна от него — *дура, дура бестолковая*, как оценила этот факт прошлого сама Люба. Миша настаивал на аборте, но она всё же решилась рожать вопреки его требованию (*тебе же дети не интересны, тебя же хлебом не корми — дай посношаться*). Беременность закончилась трагически: родился мальчик с тяжёлой формой порока сердца, не протянувший и недели, *ангел неповинный*. А женился Миша на ней из жалости, теперь она точно знает, *музыкантишка фигов, соблазнил доверчивую*. В этом месте жильцам стало ясно, что когда-то Люба работала в билетной кассе филармонии, откуда вся история и взяла начало. Музыкант-неудачник, вскруживший голову билетёрше и сам завязший в этих случайных отношениях? *Каких только глупостей не творится в среде артистов-музыкантов!* — вынесли вердикт соседи.

Пока Люба плакала и кричала, Таня либо возилась со своими немногочисленными игрушками, либо выступала с матерью в семейном дуэте. Впрочем, длилось это хоровое пение недолго: Таня внезапно замолчала. То есть вообще замолчала. Это было так неожиданно, что жильцы дома решили, что она заболела или даже при смерти. Но нет, она просто словно лишилась голоса, а в остальном — *нормальный дикий ребёнок,* как констатировала Соня.

Миша терпел почти год, а потом собрался и ушёл совершенно неожиданно для всех следящих за свистопляской в семье Курбатовых.

Дело было так: однажды воскресным утром он появился во дворе с брезентовым рюкзаком на спине (чемодана в той семье не водилось), а за ним с воем выскочила Люба, совершенно обезумевшая, в грязном халате поверх ночной рубашки, в одних носках на босу ногу (а было только начало мая, совсем холодное и дождливое) и, догнав его, упала и вцепилась в брючину. Он брезгливо оттолкнул её ногой, и от этого острого движения она ударилась ртом об асфальт, губы мгновенно распухли и сделались уродливо-малиновыми. Но она как будто даже не заметила этого и почему-то вместо того, чтобы встать, ползла на животе, как огромная умирающая ящерица: *Миша, Миша, любимый мой, не бросай меня, я больше ни слова, имей кого хочешь, только не уходи от меня!*..

Миша в дом больше не вернулся. Приходил какой-то его сослуживец из филармонии, забрал зимние вещи и ещё какую-то мелочь. Люба не возражала, отдала всё безропотно. Она вообще вскоре после ухода Миши как окаменела, и спокойствие её даже стало отдавать каким-то психическим расстройством. Таня тоже впала в транс социофобии, становясь всё более угрюмой и откровенно дичась людей. Отец её хоть и не навещал, но после официального развода начал присылать жалкие алименты, какой-то достаточный в соответствии с законом минимум. *Да уж какие там алименты от арфиста!* — вздыхал Харитон. Летом того же года он видел Мишу на рынке с молодой женщиной (*той самой первой, наглая которая*) идиллически толкающих двухместную коляску, в которой находились, соответственно, два младенца. Миша, ничуть не смущаясь, подошёл к Харитону и, памятуя былое соседство, попросил килограмм паровой телятины. Харитон вздохнул, забрался под прилавок и выбрал кусок по-

лучше — молодой кормящей матери нужно хорошо питаться, *хотя она и сука последняя, это же ясно, но я же мясник, а не судья*.

***

В год, когда Миша ушёл из семьи, Люба в очередной раз отправила Таню на всё лето в деревню, а сама устроилась работать на кондитерскую фабрику расфасовщицей. Зарплата не бог весть какая, но им на двоих хватало, тем более, что Люба потихоньку подворовывала шоколад и продавала его на сторону по привлекательно-заниженной цене. Плюс опять же жалкая подачка в виде алиментов.

Соседи заметили, что как только Люба устроилась на работу, так сразу стала меньше *психической*, а больше *с какой-то тайной*. Приходила с работы часов в шесть вечера, спешно кормила Таньку и уходила. Каждый вечер причём, а в выходные так иной раз с самого утра. Возвращалась часа через два-три, быстро заныривала в квартиру.

Всё это время Таня была предоставлена сама себе — и днём сидела взаперти, и вечером. Когда ей исполнилось пять лет, мать разрешила выходить во двор, предварительно повесив ключ на шею. Во дворе она возилась со своими игрушками (*до слёз убогими*) или копала совком землю, но людей по-прежнему не признавала. Несколько раз Вера Николаевна и Соня звали её пообедать или чаю попить, но она никогда не соглашалась — *мычит в ответ, как последний беспризорник*, сетовала Вера Николаевна.

Люба пыталась было пристроить девочку на пятидневку, но ничего из этой затеи не вышло. Во-первых, она была совершенно некоммуникабельной, а во-вторых, как обнаружилось, страдала тяжёлым энурезом. Воспитатели и няньки наотрез отказывались возиться с её простынями, так что в конце концов заведующая попросила мать забрать ребёнка и вызвалась помочь ей устроить Таню в *специализированное лечебно-воспитательное учреждение*. Люба молча собрала Танины вещи и даже не поинтересовалась, что же это за такое спецучреждение. С тех пор Таня так навсегда и осталась неприкаянным дворовым ребёнком.

В семь лет, как и полагается, Люба записала Таню в школу по месту жительства. Девочка была не подготовлена к учёбе вообще и, в отличие от других детей, не умела ни читать, ни писать, ни сложить два и два. Она сидела на уроках и тупо смотрела либо в окно, либо на дверь. На доску же — никогда. Все попытки учительницы привлечь внимание были безрезультатны. Таня молчала, пока её не трогали, а стоило тронуть — начинала огрызаться: *не буду, не хочу, отстань*, с впечатляющим упорством отказываясь усвоить обращение на «вы».

Люба же по-прежнему убегала по вечерам, а в какой-то момент по возвращении начала прикладываться к бутылке. Не то чтобы напивалась вусмерть, нет, а только так, чтобы уснуть. А иной раз, не дожидаясь ночи, выходила во двор и была в таком состоянии достаточно общительной и совсем не такой заторможенной как «на сухую». Тем, кто дышал воздухом на сон грядущий или просто проходил по двору, она предлагала «по одной», а также шоколадные конфеты в качестве закуски. От водки жильцы, как правило, отказывались, — *и тебе, Люба, не советуем,* — а по конфетке нет-нет да и перехватывали. *Они же Любке за бесплатно достались, так и к чему этот «цирлих-манирлих»*, говаривала Соня.

Один Харитон конфетами не угощался — он вообще сладкое игнорировал, предпочитая мясо хорошей прожарки (*Сонечка волшебно делает*) и крепкий солёный огурец. Причём чтоб бочковой непременно и только от Гали из второго ряда — у неё соленья лучшие на рынке, а для «своих» так и вдвойне лучшие (кто сказал, что «лучшее» не бывает возведённым в степень?), то есть из отдельной бочки. Денег Галя от «своих» не брала — только по бартеру, а это значило, что Харитон обменивал огурчики на мясцо. В разумном соотношении, одобренном обеими сторонами.

А ещё Харитон знал всех «ключевых» милиционеров, поскольку они по очереди навещали рынок и наводили там порядок в соответствии с личными потребностями. Милиционер Щур был *вразумительный мужик*, по мнению Харитона, то есть предпринимал попытки следить за порядком и дары торговцев брал чуть ли не по их доброй воле, грубым вымогательством не занимался.

Однажды Щур явился к Харитону прямо в дом. Соня сделалась как мел, решила, что Харитоша проворовался и что его в камеру и под суд, и… Не успела додумать, как Щур достал бутылку не самого дешёвого коньяка и предложил всем выпить, потому как имелся разговор. Тут у Сони сразу и отлегло: явно не забирать пришёл, а *обсуждать* — а это уже *совсем, совсем другой расклад*.

Шур, как выяснилось, имел два дела сразу: по работе и личное. Начал с личного, заключавшегося в том, что в скором времени его дочь выходила замуж, и Щур был очень заинтересован в закупке хорошего мяса по разумной цене, потому как жена сказала, что *никаких ресторанов, дома и только дома*. Чтоб еда домашняя, чтоб потом гости не говорили, что кормили-поили *хило*.

А второе дело — то, что по работе, — касалось Любы. Напряжённо сосредотачиваясь на разных пространственно-временных подробностях, Щур стал расспрашивать, как живёт она, в какое время приходит-уходит *и вообще*.

Харитон с Соней отчитались. Главным образом Соня, которая была в курсе всех соседских передвижений. Рассказала, что Люба только придёт с работы, только покормит Таньку — и *несётся куда-то, как полоумная*. А в выходные так и вообще с утра убегает.

Щур учащённо кивал головой, что-то помечал в замусоленном блокноте, а на вопрос зачем ему это, ответил, что поступила жалоба от Миши и его новой супруги на то, что она не единожды была замечена подглядывающей за ними — то в парке на прогулке, то возле дома, то у магазина. Цели не ясны, может, и угрозы-то никакой нет, но уж очень они беспокоятся за маленьких Боречку и Никитку: не хочет ли она неровён час причинить им какой-нибудь вред или, не приведи бог, *совершить похищение* с целью…в общем, непонятно с какой целью, но всем и так ясно, что с ужасной.

Щур был обязан отреагировать на заявление, а поэтому собрал свидетельства жильцов и провёл беседу с Любой, после чего вопрос был закрыт: во-первых, никакого ущерба новой семье Миши от преследования Любы не было причинено, во-вторых, она стала исправно оставаться дома после работы, а выходные так и вовсе целиком проводила с дочкой.

***

По окончании второй четверти второго класса педагогический комитет принял решение о переводе Тани в школу для детей с отставанием в развитии. Но Люба взмолилась, сказала, что наймёт педагогов для девочки, которые вытянут её, пусть только дадут ей время до конца учебного года, *прошу*

вас умоляюще. Дирекция школы пошла навстречу, не особо веря, что у этого ребёнка может проклюнуться интерес к учёбе.

Никаких педагогов Люба, разумеется, и не собиралась нанимать. *За какие шиши?* Она просто поднялась этажом выше к Наде и попросила её позаниматься с девочкой. Рассказала всё как есть, объяснила, что не хочет отдавать своего ребёнка в *школу для дебилов*.

Надя, будучи свидетельницей краха Любиного замужества, её истерик, унижений, понимала, что ребёнок не на шутку травмирован. Ей, как педагогу с достаточным опытом (к тому времени она уже свыше семи лет отработала в школе) было видно, что девочка не отстаёт в развитии, просто ею никто никогда не занимался, вот она и оказалась неподготовленной для встречи со школой.

Несмотря на свою загруженность в «элитной» школе, Надя не нашла в себе смелости отказать Любе и начала ежедневные занятия с Таней. Приходила из школы и забирала девочку к себе, где и репетиторствовала с ней по два часа в день, а то и больше. Наедине с Надей Таня была внимательнее чем в классе, довольно быстро начала читать по слогам, чуть-чуть писать и совершать простейшие арифметические действия. Впрочем, в дальнейшем дело застопорилось, но этого хватило, чтобы в конце учебного года в заключительной колонке дневника Татьяны Курбатовой появились натянутые тройки.

***

Это произошло утром, самым обычным майским утром спустя несколько лет после того как Миша ушёл, а Люба ползала на брюхе на глазах у всего двора и молила его не бросать её, что не повлияло ровным счётом ни на что (особенно на появление Боречки и Никитушки).

Весь двор услышал страшный визг Таньки. Она вопила дико, как резаная.
В общем-то, она и была резаная.

Уже в отделении милиции почерневшая от ужаса Люба рассказала о том, что всему этому предшествовало. Они встали утром и Люба привычно засуетилась: надо было двигаться в темпе, потому что её смена начиналась ровно через полчаса после звонка на первый урок в школе, а с транспортом всё время были какие-то накладки.

Таня сидела второй год в третьем классе, потому что, как уже было сказано, дальше того чему научила её Надя движение в области знаний не пошло. Однако при этом случились изменения были в другом направлении: у Таньки неожиданно развязался язык. К своим десяти годам она бойко изъяснялась, используя нехитрый словарный запас, наполовину состоящий из просторечных или грубых слов. Например, она никогда не говорила «учительница», а только «училка», слово «писать», если речь шла о мочеиспускании, мгновенно заменяла на «ссать». Соответственно, тут же возникали «срать» и «жрать». Отчасти эта лексика передалась ей по наследству от Любы, изъяснявшейся просторечно, отчасти налипла из уличного воздуха, дворовой духоты и выпавшего на её долю ненарядного детства.

Люба, хоть и была уже выпивохой со стажем, совершенно конкретно знала свою дозу — очень даже немалую, но при этом позволяющую ей оставаться на ногах, ходить на работу, выполнять какие-то домашние дела, не впадая в выбивающий из ритма жизни запой. К ней — к такой — однажды

все привыкли, как будто она и всегда была *Любкой-пьяницей* с первого этажа, матерью неотёсанной Таньки. С дочерью она ладила плохо: слова «Танька» и «послушание» никак не хотели уживаться.

Однажды Люба в подпитии рассказала Вере Николаевне, что настояла на встрече Тани с отцом, после чего Миша единственный раз позвонил ей и сказал, что она растит девочку *драконихой — копией самой себя* и что он, в соответствии с законом, будет выплачивать алименты до совершеннолетия, но видеть ни её, ни Любу не желает. Люба впервые за годы заговорила с соседкой о Мише, рассказывала сбивчиво, пустила пьяную слезу, грозилась *прикатрупить* Боречку с Никитушкой. Вера Николаевна обмерла, услышав такое зловещее слово, но тут же расслабилась, отнеся его к общему Любкиному расстройству нервов от алкоголя и дурной, пропащей жизни.

То, что составляло дополнительную тяготу в их жизни — это никуда не девшийся Танин энурез. Каждое утро та просыпалась на мокром матрасе, плотно затянутом Любой в целлофан. Каждый вечер, изо дня в день, Люба стирала простыни и в любое время года, при любой погоде вывешивала их сушиться на бельевой верёвке. К врачам Люба дочку не водила, говорила, что *перерастёт как миленькая*, хотя медсестра Вера Николаевна неоднократно предпринимала попытки разъяснить ей, что детские травмы чреваты *ох, какими нехорошими последствиями*, что нужна помощь невропатолога. Люба сердито обрывала её и никаких врачей, кроме участкового в случае гриппа, не признавала. Вера Николаевна махнула рукой и, подводя черту в разговоре с соседями, сослалась на французскую поговорку: не давай ни соли, ни советов, если тебя об этом не просят.

Когда Тане исполнилось девять лет, Люба притащила в ванную таз и велела Таньке по утрам складывать туда *ссаньё* и заливать водой. Первое время девочка замачивала бельё, но однажды, когда Люба стегнула её ремнём за очередную коллекцию двоек в дневнике, та отказалась это делать. Начала вести себя в точности как злопамятная кошка: простыни сдирала и бросала где ни попадя — хоть кол на голове теши.

В то злополучное утро Танька с заспанным видом притащилась на кухню. Люба резала хлеб — они обычно завтракали хлебом с маргарином. Изредка ворованными конфетами, но это если спешить было некуда, а в рабочие дни как раз очень даже было.

Люба спросила, замочила ли Танька простыни. Та утвердительно кивнула головой и запустила палец в банку с маргарином. Ловко зацепила кусок желтоватого жира, быстро облизала палец. Люба с некоторым запозданием шлёпнула дочь по заднице (*как с голодного края)*, бросила нож возле хлебной доски, нырнула в комнату, зорко осмотрелась вокруг — простыней не было. Крикнула Таньке: *куда, дрянь, их положила?* Та ответила матери, что пусть глаза разлепит, вон же они, в тазу. Это беззастенчивое враньё взбесило Любу, она рванула в кухню, собираясь вышвырнуть уже усевшуюся за стол Таньку и потребовать предъявить спрятанную простынь. Но в ответ девочка решила ещё больше раздразнить мать и для этого стала размазывать маргарин прямо по столу в виде какого-то скособоченного цветка. Тут-то у Любы и *случилось затмение в голове*. Схватив нож, она замахнулась на дочку, а та, вместо того чтобы отклониться в сторону, от неожиданности вцепилась жирными руками в лезвие. Кровь тут же заструилась от ладоней к локтям, и Танька заорала так, что услышал весь дом. Люба попыталась закрыть ей рот рукой, но та вывернулась и побежала ко входной двери. Она догнала

её, повалила и с отчаянием, не понимая что творит, ударила ногой несколько раз в спину.

Тут же в дверь стали звонить и стучать. Это был аккурат в этот момент спускавшийся по лестнице Харитон — он всегда в одно и то же время выезжал на рынок.

Танька дико орала, Люба ошалело смотрела то на неё, то на кровь, разбрызганную повсюду, то на хлебный нож, вывалившийся из её рук. Потом она даже не смогла вспомнить, как открыла дверь. На пороге стоял Харитон, через минуту следом за ним прибежала жена Соня (*испугалась за Харитошу так, что сама чуть было ноги не переломала на этой чёртовой лестнице)*, потом уже и Вера Николаевна.

Женщины хором завизжали не хуже Таньки, но Харитон, привыкший и к крови, и к кровопусканию, не растерялся, зашёл в прихожую и оттуда позвонил в милицию. Люба сидела бесформенным кулём, Танька же тем временем прекратила орать, а только гундосо скулила. Нож Харитон предусмотрительно толкнул ногой в сторону, и тот блестящей вертушкой скользнул по мокрому полу прямо под шкаф. Как только в Любин дом приехал наряд милиции, Харитон первым делом указал на этот вещдок.

***

Показания давали все, у каждого нашлось что сказать.

Харитон обстоятельно рассказал про нож и его положение до того момента, когда он в целях безопасности зашвырнул его под шкаф — *я сразу сообразил, что нужно прятать нож и звонить в милицию, пока она тут всех не искромсала в лоскуты.*

Миша в подробностях расписывал, где и как Люба преследовала его и жену во время гуляния с детишками. Что они многократно замечали её, крадущуюся на некотором расстоянии, и что написали заявление, после чего угроза для детей была отчасти снята, потому как она раскаялась и пообещала не вмешиваться в их частную жизнь. Задокументированное заявление и протокол, составленный майором Щуром, прилагались. Да и сам Щур охотно принял участие в расследовании обстоятельств нанесения телесных повреждений. Во-первых, чтобы продемонстрировать свою значимость в этом деле (всё-таки это он отвратил угрозу от Бореньки и Никитушки), а во-вторых, ему надо было не терять контакта с Харитоном и под это дело обсудить закупку мяса по приемлемой цене — первенец у дочки вот-вот родится, *так вся ж родня нагрянет пялиться на младенчика*.

Вера Николаевна рассказала о том, что после единственной встречи Миши с Таней, обернувшейся безоговорочным отказом отца от дочери, Люба, будучи в не очень-то трезвом уме, грозилась причинить вред Мишиным деткам и даже употребила страшное слово «прикатрупить».

Тему подхватила Соня, вспомнив тот самый день, когда Люба впервые была замечена подшофе, а потом уже просто не просыхала в свободное от работы время. Рассказала и о том, что было хорошо слышно, как Люба регулярно кричала на дочь по разным причинам, а особенно часто по поводу мокрых с утра простыней. Кстати, простыни того злополучного дня были обнаружены затолканными в платяной шкаф на полку с Любиными свитерами. Танька действительно дразнила мать настолько изощрённо, насколько ей позволяла её немудрящая фантазия.

Наде дали слово последней. И Надя рассказала обо всём, о чём знала, задав новое направление в выяснении причин и обстоятельств. А именно о том, что Люба любила Мишу, а он её — на тот момент неработавшую — бросил на руках с маленькой нервной Танькой. Что Люба была травмирована первыми родами и смертью ребёнка. Что после ухода мужа она сразу устроилась на работу, чтобы прокормить себя и дочь.

Затем подчеркнула, что Люба переживала из-за неуспеваемости дочери и не хотела, чтобы её перевели в школу для детей с задержкой умственного развития. Что просила Надю заниматься с ней, и благодаря этому Таня научилась писать и читать.

Что у девочки с ранних лет был ночной энурез, и как стоически мать переносила это, особенно учитывая, что Таня как только перестала молчать — сразу стала дерзить матери.

Наде хотелось хоть чуть-чуть защитить Любу, объяснить, что неудачная семейная жизнь надломила её, но матерью при всём при том она была не самой скверной. Тем более, что порезы на руках девочки оказались неглубокими, синяки на спине — лёгкими, никаких серьёзных повреждений по большому счёту не было. Уже через несколько дней приехали какие-то деревенские родственники и увезли Таню к себе до принятия решения следственными органами.

Надина попытка помочь Любе не дала ощутимого результата. Закончилось дело тем, что Любе дали срок в колонии общего режима с лишением материнских прав. Таня вернулась из деревни и была переведена в интернат, куда Надя в течение трёх лет приезжала довольно часто, всякий раз с гостинцами. Таня жадно сгребала кульки с бутербродами, печеньем и конфетами, на вопросы отвечала кое-как, желая побыстрее отвязаться от Нади, которая почему-то не хотела уходить сразу после выдачи угощенья.

Когда Тане было уже двенадцать, Надя решилась с осторожностью выведать, что девочка думает о матери после нескольких лет разлуки. Та ответила зло и резко, как будто ждала этот вопрос: «Почикала меня — так пусть гниёт на зоне». А потом добавила, что как только выпустят её из интерната, так она сразу к «папке-музыканту» жить пойдёт, он-то её не бросит. И это при том, что отец ни разу не навестил её в интернате.

А потом Надя встретила хорошего человека, инженера по образованию, вышла за него замуж и уехала жить в Москву. На том её связь к семьёй Курбатовых и оборвалась.

***

Хороший человек, инженер по образованию, оказался домашним тираном. Вначале он совершенно безосновательно ревновал Надю к любому мужчине, оказавшемуся рядом с ней. Это мог быть коллега-учитель, таксист, дворник любого возраста. Затем ревность приобрела параноидальный оттенок, и Надя стала «шлюхой», «бесовкой» и вообще, по словам инженера, вышла замуж за него, имея исключительно интерес к московской прописке. Жизнь Нади превратилась в беспрерывное унижение, но она терпела — идти-то действительно было некуда, поскольку уезжая квартиру свою она — в соответствии с действовавшим тогда законом — отдала государству. Государство взяло.

Надя в какой-то момент решила для себя, что он её просто убьёт, и на том вся её мука и закончится. Но получилось иначе. Однажды инженер сказал, что встретил «порядочную» женщину, на которой хочет жениться, а Надя

чтобы выметалась куда угодно с его жилплощади. «Порядочная» оказалась лет на двадцать старше самого инженера и в дальнейшем, как рассказывали очевидцы, заселила в его квартиру сына с невесткой и внуком, после чего инженер довольно быстро и бесшумно скончался от сердечного приступа.

Но вернёмся к Наде. Школьные учителя, её коллеги — некоторым пришлось рассказать ужасную правду (а что было делать?), — посоветовали устроиться воспитателем в рабочее общежитие, где предоставлялось временное жильё, а через несколько лет работы — постоянное.

Так Надя и поступила, оставив любимую школу и «оттрубив» в общежитии пять непростых лет. Там она научилась пропускать мимо ушей потоки матерной брани, вызывать наряд милиции, неотложную психиатрическую помощь и даже трупоперевозку. Безусловно, было и хорошее. Она сумела организовать «Красный уголок» — так это тогда называлось, что-то вроде обычного клуба, но с обязательным бюстом Ленина и красным знаменем. Там молодым рабочим — а далеко не все были алкоголиками и хулиганами, — можно было проводить праздничные вечера, пользоваться книгами из обменной библиотеки, даже фильмы смотреть, когда появилась видеоприставка. Надя из кожи вон лезла и как могла выстраивала «культурный досуг»: распространяла билеты в театры, приглашала на встречи с молодёжью артистов, писателей и бардов — да много что делала, в результате чего в качестве вознаграждения получила однокомнатную квартиру, трудно и честно заработанную горбом. И это было большой удачей: обычно бессемейных ограничивали комнатой.

Затем из общежития уволилась, но в школу не вернулась, сама себе дав зарок не работать с людьми — хоть с большими, хоть с маленьким. Устроилась поближе к книгам: в библиотеку Военной академии вначале библиотекарем, затем получила повышение и стала заведующей.

Так и жила, имея в свои сорок лет с небольшим лет покой, свободу, независимость и одиночество, что её вполне устраивало.

***

— Заходи…те, Люба, — неуверенным голосом произнесла Надя и тут же пожалела об этом.

— Да ты мне, Надь, не «выкай», со мной можно по-нормальному.

— Ладно. Заходи, Люба.

Как только женщина вошла в маленькую прихожую, та сразу наполнилась отвратительной смесью запахов — чего-то жареного типа уличных чебуреков, дешёвого табака и городского автобуса, набитого людьми.

В прихожей Люба прямо на пол сбросила кротовье пальто и шапку-ушанку, с треском вытерла сапоги о коврик у двери, но снимать их не стала. Обнаружилось, что под пальто на ней был надет свитер с закрытым горлом и с дурацким узором в виде многочисленных симметричных зайцев, запрыгивающих в симметричные же ромбы. «Прямо какое-то искусство геометрической абстракции», — подумала Надя, но тут же перестала обращать на это внимание.

— Куда идти, на кухню? Или всё-таки пойдём на площадку, покурим?

Надя мгновенно представила реакцию соседей, которые могут увидеть её с этим чудищем в зайцах, и сказала:

— Не курю я, так что на кухню.

На кухне Люба села у стены на корточки, несмотря на предложенный стул. Урка, ну натуральная урка. Надя и таких видала в рабочем общежитии, только с той разницей, что они не вваливались в её личное пространство.

— Кофе будешь? Чай?

— Чай. Да он у меня свой. Ты мне кипяточку зачутка плесни.

Она открыла совершенно не вязавшуюся с её обликом зеленовато-голубую сумку на длинной золочёной цепочке и достала из неё алюминиевую кружку, алюминиевую ложку и маленькую пачку чёрного чая. Засыпала чуть ли не треть пачки, а когда Надя «зачутка плеснула» кипятку, — отставила в сторону.

Надя же сняла с конфорки турку, всю в некрасивых подтёках, налила перекипевший кофе в фарфоровую кофейную чашку.

— Так ты откуда мой адрес в Москве узнала?

Люба посмотрела на неё с усмешкой:

— И мы «Мосгорсправкой» пользоваться умеем, когда надо. Не пальцем деланные.

— «Мы» — это кто?

— Да мы с Танькой.

— Таня? Где она, что с ней, расскажи!

— Нормально всё у неё. Вот, сумку матери подарила.

Наконец-то стал понятен источник появления у нее этого нелепого предмета. Любка помолчала, разглядывая сумку с явным удовольствием, и продолжила:

— Я, Надь, не за деньгами к тебе пришла, ты не думай. Мне Танька подбрасывает иногда, а мне много ли надо? У меня потребностей особо и нет, после двух-то ходок.

— Подожди, ты что, два раза в тюрьме сидела?

— Два пока, а там как знать…от сумы да от тюрьмы…— изрекла Люба «философское». Надя подумала, что, оказывается, и бывшие зэчки (или они не бывают «бывшими»?) умудряются вворачивать в свою речь расхожие фразы.

— Короче, я когда после первой ходки вернулась, Танька меня и знать не хотела. Да и понятно, кто я такая? Родительских прав меня лишили, фасадом я была примерно как сейчас, только помоложе: не красавица, значит. Жопа голая, в кармане ни копья. А квартиры у меня уже не было. Там же Мишка остался прописанным, я-то об этом не думала, когда молодая была, а он меня выписал и Борьку прописал.

— Какого Борьку? — не поняла Надя.

— Да сынка его, кого ж ещё? Там ещё Никита, но он с матерью в их квартире прописан, а эти двое, значит, в моей. Хитротрахнутая семейка, да…мою халупу чисто для бабла держали. Я туда явилась, значит, на ту их квартиру, где они вчетвером жили. Говорю, ты не бзди, я найду себе угол, но Таньку — как ей восемнадцать стукнет — обязан прописать в мою хату. Он же её тогда выписал, типа у неё была «прописка» в интернате. Ты, фраерок, говорю, из меня дуру-то не делай, я с законом о правах ребёнка ознакомлена. А он сказал: ещё раз явишься — я милицию вызову. Думал, я ментов увижу и зассу! — Любка чуть наклонилась, глянула в стоящую рядом кружку с чаем, но тот, видимо, был ещё недостаточно крепок. Снова привалилась плечами и затылком к стене.

— Ну и что потом?

— А ничего. Я ночью дверь в квартиру и подожгла. Я ж сразу усекла, что она неменянная, деревянная, как при мне была. Загорелось что надо, думаю, вот сейчас останется ему уголь от квартиры, будет знать, как от родного дитя отказываться. Я вроде как припугнуть хотела, я ж не знала, что он

туда жильцов пустил. Бабки делал, всё мало ему было, музыкант-на хуе бант.

— И что, сгорели квартиранты? — Надя даже испугалась своего страшного вопроса.

— Неа, — равнодушно ответила Люба, — они через окно сиганули, первый этаж ведь. И тут же кто-то из соседей прибежал с огнетушителем, другие пожарных вызвали. Из новых соседей, я их не знаю. Сонька-то с Харитоном всё-таки свалили в Израиловку, а Верка, ну, Николавна, она ж умерла, хоть и не старая была ещё. А капитан её на молодой женился, привёз откуда-то с морей — я всегда знала, что сучара он. Да ну и хер с ними со всеми. Когда менты за мною пришли, короче, я даже отпираться не стала. Пусть, думаю, посмотрит, падла, на что я способна. Небось хочешь спросить, где менты меня нашли? Я-то думала к матери в деревню поехать, но притормозила в городе. Со мной ещё две товарки освободились, так мы у одной в её комнате втроём и жили. Ну легавые и вычислили, а я и не скрывалась. Да всё равно по-моему вышло. Меня забрали, а через два месяца Мишка и его баба на машине разбились, насмерть. Она-то богатая была, из торговли, что ли, вот они мотор и прикупили. Небось это она и надоумила его сдавать нашу с Танькой хату. Я тогда жалела очень, что разбился без сыновей — надо было, чтобы всей кодлой сдохли. Чтобы знал, как от дочери отказываться. А сейчас думаю, дети-то не виноваты, пусть живут, они же взрослые уже, так сами должны дотумкать, если только не в отца-христопродавца пошли.

Про «христопродавца» прозвучало как-то неожиданно, но Надя уже поняла, что в голове Любки чего только не было намешано.

— Ну, а сейчас нормально всё у меня. У меня мужик есть. Не просыхает, правда, зато я в тепле живу — у него комната тут, в Печатниках.

Так вот откуда на ней мужская одежда, сообразила Надя. Они на двоих её, что ли носят? Хотя, если он не просыхает, то она ему особо-то и не нужна. А Любке как раз нужна, хоть бы и мужская.

— Я-то когда второй раз на свободе оказалась, Танька совершеннолетняя была и уже разобралась, что к чему. Вы все думали, дура дурой, а она с башкой девка оказалась, хоть и разгульная.

Тут Любка наконец взяла в руки кружку и уже больше не отставила. Не поморщившись отхлебнула своего чифиру, так и продолжила пить мелкими глотками.

— Она ж в Москву работать поехала. Они с девками хату сняли — мне туда нельзя было, — так она быстро Василича в Печатниках подыскала, чтоб заякориться мне, грубо говоря. То есть с Василичем-то она договорилась, денег ему дала, так мы с ним роспись-то и провернули. Он только с бодуна шумит — но я ему сразу водки в пасть, так он смирнеет и вырубается. Не мешает мне, короче. А Танька денег мне иногда даёт, или я тебе уже говорила? Немного, но мне на хавчик и на водку Василичу хватает. А мне главное, чтоб не буянил, всё равно подохнет скоро, так я на себя тратить буду, хотя мне как бы и не надо. Танька мне и подарки делает: вишь, и свитер тёплый, и сумку какую подарила. Я вот в метро ехала, а все на неё и пялятся. Может, думают, в ней бабок полно? А я там свой чай вожу и сиги — вот и всё, так что только ржу над этими карасями малохольными.

— А Таня-то кем работает?

— Танька моя? — Люба удивилась, как будто ответ на этот вопрос был очевиден. — Да на съём ходит она. В интернате ещё сниматься начала чисто за жрачку. А потом что ей делать-то было? Школу она не закончила, а пе-

редком работать научилась. Ну вот и пошла по этой части. Вишь, до самой Москвы дошла и мать не забыла, даром что поцапались мы с ней тогда.

Поцапались, это она про нож, что ли? Или после него ещё много чего другого было?

Любка сделала последний затяжной глоток и встала с корточек.

— Ну, вижу, Надька, ты в порядке, хоть и мужика нет. Да мужик-то найдётся, не дрейфь, главное, что жилплощадь есть, я-то уж в этом секу. Пойду я, всё тебе рассказала.

Она взяла кружку, подошла к раковине, смыла заварку прямо в слив, протёрла кружку белым кухонным полотенцем, на котором тут же остались ржавые следы. Положила кружку и ложку в сумку.

— Люб, а чего ты приходила? Я так и не поняла.

Любка молча пошла в прихожую, Надя за ней. В прихожей натянула пальто, взяла шапку за уши, но как будто передумала её надевать.

— Да я поблагодарить тебя пришла. За то, что тогда одна про меня хорошее говорила. И что Таньку потом проведывала. Если б ты осталась в городе, может, не пошла бы она по рукам так быстро. Да потом всё равно пошла бы, она ж ебучая, — сказала Любка с какой-то примирительной лёгкостью. — Зато у неё как дела начались и как первый мужик завёлся — так и ссаться перестала. А ты, Надь, не бросала её, даже когда папаша похерил. Спасибо тебе.

Она быстро нахлобучила шапку и дёрнула незапертую дверь за ручку.

— Я уж больше к тебе не приеду, мне из Печатников далеко таскаться. Так что давай, бывай здорова!

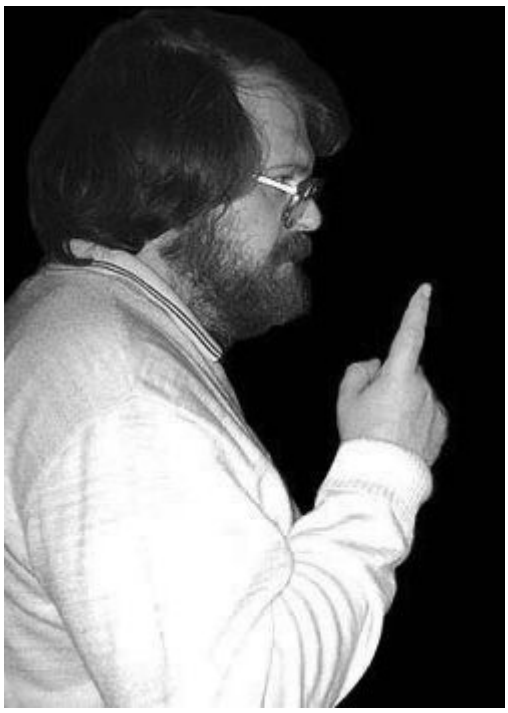
Повернулась, прошла мимо лифта и пошла в сторону лестницы.

— Передавай привет Тане! — крикнула ей вслед Надя.

— Да нахер ей твой привет нужен! Ты лучше мужика нормального себе сыщи!

Надя стояла в дверном проёме, слушая утихающий мерный топот Любиных ног и думала о том, что совершенно не помнит лица Тани, и ей от этого было почему-то досадно. Словно бы она в чём-то обманула Любу, и та поблагодарила её незаслуженно.

Александр Балтин. Лаборатория. Стихи



Александр Балтин родился в Москве, в 1967 году. Систематического образования не получил. Впервые опубликовался, как поэт в 1996 году в журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США).
Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5-ти томах), и свыше 2000 публикаций в более, чем 100 изданиях России, Украины, Беларуси, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, Эстонии, Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США.
Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера. Награждён юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). Государственный стипендиат Союза писателей Москвы. Почётный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Отмечен благодарностью альманаха «Истоки». Лауреат портала «Клубочек» в номинации «Проза» (2016г.). Лауреат газеты «Поэтоград» в номинации «Поэзия» (2016г.).
В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвящённая творчеству писателя.

Внутренняя грация и внутренняя сила — вот две важнейших составляющих поэтики Александра Балтина. В его строках есть библейская мощь и его личная, выстраданная порывистость и нежность.

Здесь рядом — "Поэзия осенних скрипок, / И арфы золотых небес..." и "...Где истории колёса войны / Двигают, где мелят жернова...".

Здесь перед нами стон, плач и хвала Богу библейского Иова — и предельно личное, интимное высказывание, как глубокий взгляд внутрь себя:

Звенья и узлы воспоминаний / Складывают жизнь под пятьдесят — Проскочила лентою мерцаний / И провалов… Но огни горят...

Поэзия Александра Балтина — жемчужина в перламутре перловицы. Перловица в песке, на берегу вечной реки. Найдите ее. Найдите драгоценность.

Елена Крюкова

* * *

В лаборатории моей
В ретортах вызреет хорей -
Помощник яблочного ямба.
Метафоры хранит сосуд,
Коль отбирать их недосуг,
Не день получится, а яма.

Лаборатория пестра,
Игла отчаянья остра,
Гирлянды радости красивы.
Мечты — почти павлиний хвост.
И прячет лабиринты мозг,
Пройти какими — перспектива.

Лабораторией живу
Фантомно, или наяву?
Уже и сам не разбираю.
Круги, неведомые мне,
Пружинят в золотом огне
На зависть солнечному раю.

* * *

Иова вестник поразил:
-Один я спасся, нет детей,
Нет сыновей, каких любил,
И чернокудрых дочерей.

И вестник прибежал другой:
-Верблюдов больше нет, овец!
Рыдай Иов, захлёбом вой –
Хозяин праведный, отец.

Узнаешь язвы полноцвет –
Гной каплет из телесных дыр.
Но отречёшься ли? О нет,
Был пышный мир — стал чёрный мир.

Бог дал — его благодарил,
Бог взял — его благодарю.
Из трёх никто не соблазнил
Проклясть духовную зарю.

Не камень твёрдый договор
Меж Богом и людьми — цветы!
В душе и стон, и сладкий хор,
Иов не знает пустоты.

Известен ли ему финал?
И в бездне, цвет которой лют,
Буреет, красным пышет, ал,
Жив праведный, верша свой труд –
Чтоб всем плод оного сиял.

ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ

1

Поэзия осенних скрипок,
И арфы золотых небес,
И листьев суммы, как улыбок
Детей: мир невозможен без.

Конкретика банальной яви:
Контора, деньги, суета.
Сие серьёзно, что там ямбы.
Счета! Вот наша красота!

Поэзия и жизнь, как будто
Даны на разных полюсах.
Который лучше? Тень абсурда
Мерцаньем промелькнёт в очах
Поэта, сделавшего выбор,
Конечно, не сулящий выгод,
Как звёзды в нежных небесах.

2

Стихотворение в прозе

Поэзия наполняет мир, растворяясь в его конкретике, которая по ощущениям давно вытеснила её, не оставив места ничему не материальному.
О, была поэзия Большого взрыва, точно угаданная бельгийским священником-иезуитом, была; была поэзия коацервата — гигантской лаборатории, в которой некто выкристаллизовывал первые капли жизни.
Нежно и ярко звучащая поэзия Древнего Египта — и сгущение иносказаний Ветхого Завета.
Офисы громоздятся в недрах серьёзно сверкающих стеклом высоких зданий; властные финансовые тузы с комсомольским, не то партийным прошлым, молодые, ловкие люди, научившиеся в соответствующих вузах жонглировать цифрами; банки, клубы, рестораны, турфирмы: деньги и развлечения.
Постойте, какая тут поэзия, а?
Редакция журнала, притулившаяся возле роскошных офисных владений.
Пророчица в бедных одеждах мелькает в толпе — она бессмертна, ибо у неё нет выбора…
Вы остановИте её, расспросите о сущности наших дней, и, преображённая, представшая осенней красавицей, она расскажет вам всё — о жизни и смерти.
Даже без рифмы.

БАРБАРИС

1

Пышно-красная корона
Барбариса, — или рай
Ягод, что вполне законно
На земле, где многим край
Одиночкам и талантам.
Как ликует барбарис,
Данный чудным вариантом
Красоты, что рвётся ввысь.

2

Узкие листы, которых сумма
Замечательный даёт шатёр.
Нежно-усложнён куста рисунок,
Небосвод над ним легко простёр
Власть благословляющую… Оной
Мы не замечаем. Славный куст,
Будто бы орнамент многослойный –

Расшифруй — под жизни жёсткий хруст:
Где истории колёса войны
Двигают, где мелят жернова.
Где жируют те, кто не достойны
Добрых слов. Кому нужны слова?
Жизнь мослы дробит, ломает кости
И мечтам, и помыслам, сильна.
Коль руководит носитель злости
Целою страной — жива ль страна?
Барбариса куст играет густо
Зеленью, а ягоды грядут.
Создавать растения — искусство,
Эволюции сложнейший труд,
Иль субстанций, что определяют
Сложное движение её.
Что кусту соблазны? Не залают,
Не укусят, вечные, ещё…

* * *

Звенья и узлы воспоминаний
Складывают жизнь под пятьдесят -
Проскочила лентою мерцаний
И провалов… Но огни горят.
Было, или не было? Однако
Скручены иные тяжело
Из узлов… Чудесная собака
Умерла, и стало не светло.
Столько с нею связано: хоронишь
В лесопарке. Одиноко пьёшь.
Детства звенья… Если проворонишь
Нечто, что впоследствии поймёшь?
Звенья и узлы ощупать можно.
Память, как прискорбный результат.
Осознать невероятно сложно –
Для чего вот так вот дни летят.

* * *

Крестик, нолик,
Папа, сын.
Поздно, но и
Нет причин
Оторваться
От игры.
Снам — скитаться
До поры.

Нолик, крестик.
Звёзд игра.
Всё известно.
Спать пора.

Спи, сыночек,
Дорогой –
Чёрной ночью,
Золотой…

Изабелла Кроткова. Болящая Берта и невидимый лекарь

Изабелла Анатольевна Кроткова, Россия, г.Тамбов. Образование — Тамбовское музыкальное училище и истфак ТГУ. Работает артистом Тамбовского симфонического оркестра, специальность — скрипка. Является автором трёх романов и трёх рассказов.
Публикации: "Безумные каникулы Дарьи Буранюк" опубликован в журнале "Испанский переплёт" (Испания, Мадрид). Мистические рассказы "Город, где всё недорого" и «Досчитай до десяти» напечатаны в №№ 6 и 7 литературного альманаха "Двойной тариф" (Россия, Санкт-Петербург). Рассказ «Младшая сестра Бога» опубликован в №21 литературно-художественного журнала «Зарубежные задворки» (Германия, Дюссельдорф).
В издательстве «Za-Za» (Германия, Дюссельдорф) у Изабеллы Кротковой вышли четыре книги прозы: «Бар на окраине», «Завещание с простыми условиями», «Никогда не кончится июнь» и «Волшебное зеркало Тимеи».

Волшебные сказки и притчи — бессмертны.
Нам часто не хватает чтения истории, в которой, как в зеркале, мы увидели бы то, о чем старались не думать, боялись вспомнить.
Или то, что когда-то пережили сами.
Или то, что не хотели бы пережить никогда.
На то она и притча, чтобы в ее тишине каждый смог поразмыслить о чем-то своем, сокровенном...
Изабелла Кроткова обращается к древнейшему жанру притчи, и показывает и доказывает нам, что древность жанра жива и прекрасна...

Елена Крюкова

"Старинный шрифт надгробий намекал на готический роман и массировал нервы. Мы ведь любим пугаться. Возможно, потому, что заложенный в наших генах страх потустороннего служит самым бесспорным доказательством существования той стороны."
(А.А.Генис "Уроки чтения. Камасутра книжника")

Красавица Берта, хохотушка и певунья, серьёзно заболела. После вроде бы вылеченной пневмонии неожиданно началось осложнение. К её изголовью вмиг сбежались доктора: они прописали таблетки и уколы, ингаляции и капельницы, да всё бестолку. Ничего не помогало бедняжке, с каждым днём ей становилось всё хуже.

— Давай я отвезу тебя в Соловьиноград, мне дали адрес одного хорошего врача, — предложил заботливый муж Эдуард.

Берта, цепляясь за последний шанс, дала согласие.

И вот, обдуваемая весенним ветром, она стоит на пороге ветхого деревянного дома. Ночь. Место заброшенное… Она представляла Соловьиноград по-другому.

— Только не смотри на меня, — предупредил вдруг сзади спокойный мужской голос сиплого тембра. Чьи-то руки сняли с неё пальто.

— Проходи, не оборачивайся.

Берта удивлённо прошла в комнату, где стоял запах крайней бедности и жилья, давно не знавшего уборки.

За спиной послышались шаги лекаря и руки вновь обхватили её плечи.

Мельком она зацепила взглядом эти руки — длинные чёрные рукава вязаного свитера, не нового, уже порядком замахрившегося.

Руки позади неё совершали какие-то пассы. Берта вдруг почувствовала, как прибывает тепло к её спине. Странное лечение продолжалось больше часа. Берта устала. Врач, наверно, тоже устал.

Внезапно открылся кашель — свистящий, с хрипами, неукротимый. Она захлебнулась им.

— Сейчас, сейчас… — проговорил из-за спины сипловатый голос, руки приподняли Берту, и незнакомец, взвалив пациентку себе на живот, потащил её в ванную.

— Не оборачивайся! — напомнил он. Окончание фразы прозвучало глуше — видимо, лекарь отвернулся. Через мгновение она услышала, что его сильно рвёт.

— Так и должно быть… Всё правильно…

Берта стояла в сцепленных руках народного целителя, чувствовала, как его сотрясает от рвоты, но стоило ей дёрнуться, как он тут же это заметил и прижал к себе, не давая вырваться.

Затем поставил её на пол, развернул к дверям и тихонько толкнул в спину:

— Приходи завтра. После завтрашнего сеанса будет ещё лучше.

Обуваясь, она зацепила горшок с фиалками, стоящий на пороге дома.

— Берта! — окликнул откуда-то Эдуард, но Берта, всматриваясь в темноту двора, никак не могла его разглядеть.

Наконец кто-то потряс её за плечо, она открыла глаза и увидела свою спальню и встревоженное лицо мужа над изголовьем кровати.

Так значит, это был сон, и она даже не ездила в Соловьиноград?.. А что за удивительный доктор лечил её тогда?..

— Собирайся, милая, пора ехать, — сказал Эдуард. — Я уже позвонил врачу, он ждёт нас.

Но Берта стремглав побежала в ванную. Там она начала надрывно кашлять и из неё потоком вышло скопленное в лёгких гнойное содержимое. Дышать стало значительно легче.

Врачу, с которым договорился Эдуард, пришлось перезвонить и отказаться от посещения — Берта вбила себе в голову безумную идею об излечении во сне. Муж был рассержен и огорчён, но переубедить жену так и не смог.

Болящая с волнением ожидала ночи. Она помнила, как сказал из-за спины незнакомец:

— Приходи завтра…

Так и случилось. Стоило только сомкнуть глаза, как она вновь оказалась у обшарпанной двери дома. Берте хотелось запомнить окружающую обстановку, но едва она рискнула повернуть голову, как сзади её ухватили за плечи знакомые руки. Раструбы чёрных рукавов несвежего свитера мелькнули и исчезли за спиной.

— Проходи, — произнёс сиплый голос.

— Здравствуйте… — начала было Берта с благодарностью, но голос перебил:

— И молчи.

Подталкиваемая невидимым целителем, она вошла в дом, где её окутал тот же тяжёлый запах и обступила та же затхлая полутьма.

Руки позади интенсивно задвигались, взбивая воздух, и он начал плавать из стороны в сторону.

Берта услышала, как лекарь сдавленно закашлялся.

— А… можно мне вас увидеть? — осторожно спросила она.

Ответа не последовало.

Наконец раздался короткий выдох — «Всё…». Руки, обхватив Берту сзади, снова приподняли её, и человек, видимо не очень сильный физически, как и в прошлый раз потащил её на своём животе в ванную комнату. Только дыхание его стало прерывистым и шумным.

Дальше было всё то же, что и вчера. Сильная рвота лекаря. А болящая уже смирно стояла в кольце его рук.

Когда он развернул Берту к двери, та сделала ещё одну попытку.

— Я благодарна вам… Кто вы? Можно на вас посмотреть?

Ей показалось, что лекарь колеблется и не решается на ответ.

— Дух здоровья… — наконец произнёс он сиплым голосом, и закашлявшись, подтолкнул её к дверному проёму.

Берта очутилась на пороге, снова споткнулась о горшок с фиалками, едва не упала. Горшок повалился набок. От него откололся краешек.

Утром её опять сотряс безудержный кашель, в лёгких бурлило, следующая порция засевшего там гноя вырвалась наружу. Дыхание стало чище и свежее, и за завтраком Берта порадовала мужа проснувшимся впервые за дни болезни аппетитом.

Весь день прошёл в нетерпеливом ожидании сна: дома, пропитанного нищетой, и целителя, называющего себя духом здоровья.

Едва на небе показался тонкий золотой месяц, больная улеглась в постель.

И вот она вновь открывает дверь в мрачную затхлую комнату.

На этот раз человек, стоящий за спиной, ещё больше разоткровенничался с Бертой.

Она чувствовала, что дышать ему стало намного тяжелее. Движения рук то и дело прерывались приступом надрывного кашля.

— Мы, духи, совещались… Собирали на совет души твоих близких, когда те спали. Предлагали взять твою болезнь на себя. Но никто не согласился, — просипел он. — Только душа одного-единственного человека… Ему я и передам твою хворь сегодня.

Берта впервые за несколько дней свободно вдохнула полной грудью.

— Да? — оживилась она. — А кто этот человек? Эдуард?

Лекарь не ответил. Таща её к ванной, он постоянно останавливался, судорожно кашлял, а после мучительно пытался сделать глубокий вдох. И снова давился и задыхался.

Наутро Берта проснулась совершенно здоровой. Вызванный врач, профессор, разводил руками — семья уже собиралась хоронить несчастную, как вдруг пришло чудесное исцеление.

Эдуард был несказанно счастлив. Он купил Берте платье от знаменитого модельера и золотой комплект с сапфирами, о котором та давно мечтала, а по поводу выздоровления любимой жены закатил настоящий пир. Она благодарно заглядывала ему в глаза, пытаясь прочесть на его лице признаки собственной болезни, но Эдуард выглядел цветущим и свежим.

На вечеринку собрались самые близкие люди — друзья и родные Берты. Она всматривалась в их радостные лица, стремясь угадать — кто же из них пожертвовал собой ради неё и принял на себя болезнь?

Но ни одно лицо не омрачала даже тень недомогания.

В разгар праздника по большой комнате прокатилась переливчатая трель звонка с улицы. Берта, порхая как бабочка, слетела вниз по лестнице своего богатого трёхэтажного дома и открыла прозрачную дверь, выходящую в сад.

На пороге стоял незнакомый человек.

— Ты помнишь Виктора К.? — спросил он сипловатым голосом.

Берта растерянно кивнула. Виктор, простой рабочий на фабрике, был её первым мужем, которого несколько лет назад она без сожаления бросила ради богатого и успешного Эдуарда. Берта всегда немного стыдилась, когда ей напоминали о том, что в прошлом она имела отношение к этому неудачнику.

— Сегодня утром он умер. Твоя болезнь зашла слишком далеко, и вылечить её не смог бы даже самый великий врач. Это знали все души, призванные на совет, — мы, духи здоровья, не скрываем обстоятельств обсуждаемого вопроса. Но душа Виктора всё равно приняла её. Он жил одиноко, почти всё заработанное отдавал больной матери, сёстрам и племянникам. Поэтому никакого имущества после него не осталось. Только вот это...

Дух здоровья поднял руки и протянул Берте горшок с фиалками.

Остолбеневшая, она узнала замахрившиеся края чёрных вязаных рукавов и тяжёлый запах неприбранной комнаты.

Поставив горшок на ступеньки, дух растворился в глубине сада.

Когда через некоторое время гости спустились за Бертой, они подумали, что болезнь всё же не прошла бесследно и наложила отпечаток на её психику: в платье от знаменитого модельера и комплекте из золота с сапфирами она сидела на пыльной лестнице и рыдала, обняв руками расколовшийся цветочный горшок.

10 февраля 2017

Татьяна Чурус. Блажь, Из жизни, Сточная Яма

Родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный педагогический университет (с красным дипломом) и Очную аспирантуру при Новосибирском государственном педагогическом университете (с отличием) по специальности «Русская литература», Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская режиссуры игрового фильма Ираклия Квирикадзе и Андрея Добровольского).

Как режиссер-постановщик участвовала в международном проекте «Мир от рассвета до заката» («Москва от рассвета до заката», режиссер киноновеллы «Танцы»), 2012, а также в проекте МГТРК «Мир» «Мир науки» (цикл передач был выдвинут на премию ТЭФИ), 2012.

Финалистка конкурса сценариев «Лучезарный ангел» (сценарий короткометражного игрового фильма «Выдумщица»), 2015.

Финалистка фестиваля «Волошинский сентябрь» в номинации «Малая проза»: рассказ «Кокушко» был опубликован в альманахе Союза российских писателей «Лед и пламень» (№3, 2015 год), 2015.

Финалистка фестиваля «Волошинский сентябрь» в номинации «Киносценарии» (сценарий анимационного фильма «Пьедестал»), 2016.

Финалистка конкурса на лучшую идею для полнометражного фильма (в соавторстве) от компании REC (синопсис «Труба»), 2016.

Финалистка Международного Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» в номинации «Философское стихотворение», 2017.

Финалистка XV Международного фестиваля «Волошинский сентябрь» в номинации «…Чувство — / Безмерное и смутное — Россия…» издательства «Эксмо», 2017.

Стипендиат Министерства культуры по литературе, 2016, 2017.

Член Союза российских писателей.

Публикации:

1. Чурус, Татьяна. Кокушко // Лед и пламень: литературно-художественный альманах. — Союз российских писателей, 2015, №3.

Большая творческая удача — так воссоздавать разговорную интонацию, чтобы ей поверили; так живописать простую жизнь, чтобы во всей красе предстали перед нами ее сложность, ее неповторимость, ее гротеск, ее трагизм, ее неистовое веселье.

Такова Татьяна Чурус. Она пишет жизнь, впрямую отталкиваясь от жизни, но ее роза — не фотография жизни, не старательный с нее слепок. Эта проза достигает особенной высоты — в какой-то миг она перестает быть прозой, литературой, и становится самою жизнью. Это высший пилотаж литературы. Все это можно, да, придумать! А можно и пережить. И два этих глагола здесь — равновелики.

У Татьяны Чурус свой голос и свой путь. А еще есть у нее то, без чего не может жить, быть на свете художник: страстная и прекрасная любовь к людям.

Елена Крюкова

Блажь

На бабку Чудинову блажь нашла. Все старухи как старухи: утром глаз продрали, ощерились, роток перекрестили, с родственничками полаялись (а то, пожевали (правда, аппетит уж не тот, да и хлеб… разве ж то хлеб — баловство одно), радио послушали, чего люди добрые говорят (а всё боле брешут), — и на улицу: здо- , Иванна, как жись молодая? И пошли язычинами чесать: Катька из пятой квартеры опять с новым хахелем, хивря тонконогая, и куда мать смотрит; а Никитку, Лепшеевского сына, полицанеры под белы рученьки, да в участок, поделом ему, не будешь пить, на отцовы-то деньги; а Настасья сызнова брюхатая: жрать нечего, а она одного за другим, одного за другим на свет выпрастывает — ишь, по двору босота носится, — не гляди что мужик ейный в колонии… А наша-то, малахольная… И шепчут, только присвистывают: совсем чеканукнулась, а ведь как человек была… Это они про бабку, про Чудинову.

И то, как человек была. И чего ей не хватало? И зубы у нее свои, и пенсия хорошая, и старик при ней, сам Чудинов, дядь Коля (его все дядь Колей кличут), и сын Володька на Севере, сварщиком: когда тыщу пошлет, а когда и три, другой бы пропил… Всё у нее, у Чудинихи, было. Жила ведь горя не знала. А тут на тебе. Кому сказать — срам один!

Дядь Коля Чудинов: прихожу, грит, со смены — (восьмой десяток, а всё работает, сторожем ночным при церкви, спаси и сохрани Господи, и в рот нини!) — прихожу, а она и бровью не ведет: сидит на кухне за столом. Я ей, грит, Марья, спишь, что ль? А она как сидела, так и сидит, не двинется, в одну точку уставилась, а перед ней листок какой-то исписанный. Ну, думаю, письмо, видать, получила недоброе, от Володьки, с Севера. Перекрестился, подхожу: Марья, мол, а Марья, Володька-то чего пишет? А она на меня глянула, а будто не на меня, святые угодники! Я письмо цоп — она только тогда опомнилась: отдай, кричит, Христом Богом молю, отдай! Ну, я, ясное дело, очки на нос нацепил, письмецо читаю… Царица Небесная, почерк Марьин — и про нашу жизнь всё слово в слово прописано! Ну, думаю, видать, это она Володьке письмо затеяла. Но как прописано-то — с вывертом! Так люди добрые не пишут! Это, значит, грит, у меня, на ейный-то лад, нос синюшный, на го с, что у козы под хвостом, глаз шальной, брюхо пустым мешком висит, а слово молвлю — будто ведро пустое звякает! Это про живого-то мужа!! И сына родного, не поморщилась, наизнанку выставила: Володька, мол, завихрился, мотается по Северу своему, что говно по проруби! Мать, называется! Да еще про какого-то Петеньку, вот бесстыжая, рядышком приписала: мол, Петенька мой, Петушок, далеко ты, соколик, залетел, на самые не-

-

, Коля, на старость лет удумала — спасу нет, само прет!

Не выдержал дядь Коля — саданул ей промеж глаз, она только и утерлась. Другая бы опомнилась, а эта… куда там, еще пуще писать пустилась: ночью, будто тать, на кухню прокрадется, дверь запрет — и скрипит перышком до самого утра. Что делать? Дядь Коля приступом: иди в церкву, покайся, — так и так, мол, бес обуял. Чудиниха перечить не стала, глаз свой подбитый подмазала — да на покаяние и поплелась.

Отец Серафим долго с ней толковал: отвечай, откуда, мол, сия напасть? А она что? Она одно твердит: ничего не знаю, отец, само прет. Отец ей: ты богоугодное ль пишешь, дочь моя? Чудиниха только присвистнула. Ну смотри, отец ей, не греши. Да перстом эдак пригрозил. С тем и домой воротилась. Едва за порог ступила — листок хвать и строчит. Дядь Коля: ну, сходила? Чудиниха его и не слышит. А ведь как человек была…

Вот идет раз: шары выпучила, головой мотает туда-сюда — старухи, что мухами облепили лавочку возле подъезда, только плюнули: совсем ополоумела! А тут Настасья со своим выводком прет, пузо чреватое выставила: так и так, мол, тетка Марья, посиди с детками, покуда я к мужику в колонию на свиданку сгоняю, боле помочь некому, одна я, мол, на всем белом свете — и из себя выдавила. Наша-то малахольная: да что ты, Настасья, не убивайся, грит, — посижу. И мальчонка самого махонького по головке пятерней приголубила. Вот день сидит, два сидит. На третий день не сдюжила — пошла бумагу марать, что для детских рисунков у Настасьи припасена. Да, писунья ты старая, мальчонку махонького и прохлопала: тот башкой об пол кувырк — там и так пустёхонько, да еще и последнее зернышко выскочило. Кое-как отходила, раззявая, а тут и Настасья с колонии воротись: гостинцев детишкам понавезла, а няньке нашей полоротой платок, весь в цветах, на грудь накинула. Девчонка старшая носом сейчас шмыгнула да и брешет на Марью на Чудинову: мол, мальчонку едва на тот свет не спровадила, а сама исписала всю нашу бумагу, нам рисунки негде малевать. Настасья с грудей у Чудинихи платок, весь в цветах, сорвала да как заорет — а во рту зуб золотой только и блестит: ну погоди, орет, песье ты отродие, вот мужик мой с колонии прибудет, он тебе покажет, как чужих детей прохлопывать и не в свои бумаги свое лыко вставлять. И в спину Марье Чудиновой ботинок худой, каши сто лет не евший, запустила — та едва живая вывернулась. Да дядь Коля добавил промежду глаз. Ступай, грит, к отцу Серафиму — в ноги ему кланяйся: мол, чуть до смертоубийства не дошла с этими писаньями… едри их в корень!

Та, Чудиниха, промежду глаз подмазала — и в церкву. Так и так, мол, отче Серафим, ребятёнка едва не ухайдакала, спаси-сохрани. Отец чикаться с ней не стал: слыхал, мол, про твои похождения, всё пишешь, мол? А знаешь ли ты, дочь моя, что Писание — одно? Гляди, коли не богоугодное дело затеяла — гореть тебе в аду. И перстом огненным Марью окрестил.

А той сам черт не брат: бумагу, что в доме имелась, до клочка исписала. Дядь Коля кинулся за газеткой срам подтереть — а газетка подчистую изузорена Марьиными каракульками аккурат поверх портретов начальников…

Взмолился дядь Коля: брось свое бесовство, кричит, не доводи до греха! Да так расписал жену законную — живого места не оставил. И на смену, церкву сторожить. Утром ворочается — нет Марьи, сгинула. Дядь Коля на образа перекрестился, в окошко зырк, а на скамейке старухи, будто куры на насесте, кукукают с утра пораньше, косточки добрым людям перемывают. Так и так, мол, суседушки, не видали ль мою Марьюшку (да в сторонку словцо перченое с губы сплюнул, что лузгу). Как же не видать — видали. Славно ты ей расписал, старухи дядь Коле — :
всю подноготную вскрыли, как чирей. Выскочила на улицу, грят, точно ошпаренная: морда пылает — ну чистая пьянчутка. А тут Никитка Лепшеевский, шары залил: тетка Марья, кричит, да никак, ты причастилась? И шею скребет, а потом пальцем ать, ать по горлу: «причастилась» — это, выходит, по-ихнаму, по-пьянчужьи, «выпимши». А твоя-то малахольная: да что ты, Никитушка, не допускает отец Серафим до причастия. А этот, шары его бес-

стыжие: так пойдем, я тебя, мол, допущу. Зубы оскалил, а эта, чеканукнутая, за ним. Дядь Коля брюшиной тряхнул: и что? Да ничего, старухи ему. С тех пор и ждем… И только рот раззявили — явилась… во всей красе. Да еще портретец в руках потрепанный. Писателя Максима Горького. Сдержался дядь Коля. Не тронул и пальцем жену свою, покуда за порог не ступили. А уж ступили… родимые матушки…

Долго глядел в око Марьи Чудиновой отец Серафим, всё силился угадать умысел. А око заплыло от угощения дядь Колина, мигнуть и то не мигает. И губища висит гирею. А ведь как человек была… Окрестил заблудшую дочь отец перстом огненным… да не сдержался, залился хохотом. Слышь, дочь моя, смешок смирил, крякнул в бородку, а обо мне, об отце своем, не пишешь ли? Та башкой мотнула: поди разбери. И почапала…

Вот бредет, ноженьку приволакивает, а ей навстречь Катька, из пятой квартеры: жопку обтянула свою, бесстыжая, ножками тонкими сверкает — ну разве в старые времена девки так сверкали? Баб Мань, кричит, а баб Мань! Чудиниха очухалась, на Катьку зырк. Старухи рты раззявили, а Катька: ты, говорят, пишешь? И на старух пялит свои зенки, шельма ты рыжая. Наша, придурковатая-то, кивает: мол, а то как же, пишу. А тут и ухажер Катькин, гнида патлатый, кольца в ушах, руки разрисованы каракульками — фу, срам один! — на своем драндулете гавкающем аккурат перед этой тонконогой и Чудинихой полоумной нарисовался: хай, кричит не по-нашему! Старухи, ясное дело, дыхание затаили, пукнуть и то боятся. А этот, драндулетчик: баб Мань, кричит, хочу, мол, твои писания послушать, уж больно, говорят, складно сочиняешь. Чудиниха придурковатая зарделась: спасибо, сынок. А тот ей, — тоже, сынок выискался, черт патлатый: выходи, мол, как стемнеет, и писульки свои прихвати, бай! — и газанул. Старухи на лавке аж подпрыгнули.

Дядь Коля в церкву: гляди, Марья, Господь, Он ведь всё видит! — однако для верности дверку на ключ запер. Эта малахольная платьице сейчас выходное нацепила, да чулочки новенькие достала из сундука, да платок: то ей сам Чудинов, дядь Коля, даривал к юбилею полтинному — писульки под исподнее сунула и в окно. Юбку задрала почище, чем Катька бесстыжая, к этому патлатому на заднее сиденье шмяк, за шкирку его хвать — завихрились, только пыль подняли, супостаты. Спасибо, дядь Коля на смену ушел, а то он бы ей и хай и бай показал.

Куды мы едем-то, сынок, наша чумичка кричит. А «сынок» уши музыкой своей залепил сатанинской, завей горе веревочкой. Слава Господу, подъехали. Живехонькие! Патлач драндулетом пыхнул и куда-то сгинул, как скрозь земь провалился, Чудиниха и глазом не успела моргнуть. А темень на дворе — жуть! Порыскала-порыскала…

Баб Мань, а баб Мань! Никак, Катька? Чудиниха слух навострила: ейный голосок. Обрадовалась старая. Здесь я, кричит, здесь! Ну, фара нашей чеканукнутой в глазок-то заплывший и ударила косым лучом — едва на ногах устояла. Глядит, полянка какая-то, а на полянке патлач, Катька — жопку обтянула, ножонками дрыгает, Никитка Лепшеевский — «причастился», Настасья — брюхо на лоб прет, точно опара, и мужик ейный, там плюгавец плюгавцем — из колонии при , и старухи тут: Иванна с Семённой! Чудиниха туда-сюда, а сама, вот дуреха-то где, всё писульки свои под исподним щупает, на месте ли!

Те, суседи, наступают. А ну, чего ты там про добрых про людей пишешь? Рыкнули — и пошли потрошить Чудиниху, только перья летят. Не отдам, наша

малахольная кричит, не отдам! Те ей под дых, из-под исподнего писульки вырвали — и были таковы…

Лежит Марья Чудинова, руки раскинула. И ни души кругом…

Долго ли, коротко ли — свет растекся по небу. А само небо близёхонько: потрогать можно. Легко Марье стало… Она очи смежила… а ухом улавливает: что ж ты не послушала-то меня, Марьюшка, на кого ж ты меня покинула? Чудинов, сам. Не любила его Марья, всю жизнь псу под хвост пустила. И Володьку — не любила: махонький был, ночей не спала, надышаться на кровиночку свою не могла! — небось, три тыщи пришлет, не пожалеет для родной для матери… Спи спокойно, дочь моя, отпускаю тебе грехи твои! Ишь, запел, «отче»… Не верила Марья, ни единому словцу отца Серафима не верила…

Голоса смолкли… Небо лодкой качнулось — и поплыла Марья в самую высь, точно пушинка! Что такое? Петенька… живой!

— Как ладно ты про меня написала, — говорит. — Читал бы и читал!

И держит в руках писульки Марьины.

— Вот оно, счастье-то!

Выговорила, блаженная, — да дух и испустила…

Из жизни

Вове Жеребцу было «глубоко за полночь», как говаривал наш острослов одессит Сема, когда он, Вова, из своей маленькой деревушки, которую «без ста грамм» на карте нашей «широкой Родины» и не разглядишь, приехал в Москву учиться на режиссера.
— А что ты там делал-то? Ну, в деревушке? «Вот моя деревня, вот мой дом родной…» — заливался Сема.
— Что делал? Агроном я…
Так к нему привязалась кличка Жеребец: народу все одно, агроном ты или животновод — главное, из деревни…
— А как там, в деревне-то?
Сема почесывал свое горлышко, а Вову ничем не проймешь: и не такое видывал на своем-то веку.
— Да что в деревне: тоже люди живут.
Он «скороговорил» и быстро-быстро семенил своими ножками, как все маленькие. А был он маленький: страшно сказать, какой маленький! «Мэтр и без кепки мэтр», шутил Сема, намекая на режиссерские амбиции Вовы. Его Жеребцом-то прозвали еще почему: как говорится, маленький да удаленький…
Мы-то, выросшие в условиях отдельных городских квартир, «морды воротили» от общажного быта. Еще бы: обшарпанные стены, сломанные стулья, выщербленные полы и вечно искрящие розетки… А Вове хоть бы хны: наберет в ванну воды и ныряет, только знай воду фонтанчиком выпускает из рта. Он и ванну-то, поди, там у себя в деревне не видал…
Холодильника у него не было, так он смастерил что-то вроде кормушки и прибил к окну: там и хранил свои нехитрые запасы. Морозы, помню, нешуточные ударили, так он пакет открыл — и давай ножом откалывать куски мутноватого застывшего молока… Ничем его не возьмешь! Наши-то хлюпики всё в шарфы да в одеяла кутались, а он водой холодной обливался!
А все почему? Цель у него была. Ночью он спал часа четыре. Потом просыпался, делал зарядку, само собой, обкатывал себя ведром воды, включал

свою белую лампу дневного света и что-то писал мелким убористым почерком.
— Сценарий пишу. Из жизни, — делился он со своим соседом по комнате Васей, флегматичным полноватым пареньком, который просыпался всякий раз, как Вова включал свою белую лампу, но боялся ему об этом сказать.
Он был таким маленьким, таким смешным, что никто не мог и заподозрить его в каких-либо сношениях с женщинами. Правда, он пару раз обмолвился Васе, что, дескать, в деревне его ждет дама сердца, но выглядело это так неубедительно, что Сема тут же сострил: мол, она твоя дама сердца, а ты ее король печени…
По вечерам Вова подрабатывал в какой-то забегаловке и откладывал деньги…
— На кино, — делился он с Васей при свете лампы дневного света.
Тот зевал и отворачивался на другой бок.
И все шло по Вовиному плану, пока не приключилась с ним эта беда. «Эту беду» звали Жанка. Она была крашеная блондинка не то кавказских, не то татарских кровей со сросшимися на переносице густыми бровями. Так или иначе, а Бабаян ее признавал за свою. У нее были тонкие длинные ноги, такие кривые, будто она держала ими, ногами, «гарбуза». Так шутил Сема.
— Я эту дурь из башки-то выбью, — делился Вова Жеребец с умирающим от сна Васей.
Не получалось… Да и разве такое дело скроешь: раза два глянул на тот самый «гарбуз» — вся общага уже зудит…
— Ну надо же, а? — сокрушалась этажерка Михаллна. — Такой парень, а? Ему б ну хоть сантиметров пятнадцать росточку… Цены б ему не было! И эта тонконогая… совсем задурила ему голову…
Тонконогая не тонконогая, а с Юркой-артистом ходила… этими самыми тонкими ногами... И каждый раз, когда Вова Жеребец возвращался ночью с работы и видел Жанку на лестничной клетке в обнимку с Юркой, он громко вздыхал и семенил в свою комнату. И Жанка вздыхала:
— Блин, трахнуться негде! Эта дура (ее соседка Аленка, дебелая девственница) чуть что, сразу визжит. У Юрки сосед верующий… Провалиться и не встать!
А кто сказал, что будет легко: общага…
Ну, а тут Вове Жеребцу стукнуло… Днюха у него приключилась, день рождения!
Решили отметить. А что подарить? Денег сроду ни у кого нет: на водку бы хватило.
— А давайте подарим ему… Жанку? А?
Сема предложил — мужики ударили по рукам. А Жанке что? Да и с Юркой поругалась… Была не была!
Вова и справлять не хотел. Но тут такое дело: накрыли стол прямо на кухне. Натащили из комнат стульев. Телевизор тут же старенький орет, а вместо антенны железяка торчит какая-то: ясное дело, Вовиных рук дело, чьих еще!
Захожу свою горошницу разогреть, а у них дым коромыслом.
— Э, нет-нет! — кричит подвыпивший Сема. — За стол! Нечего горох на ночь жрать! — Он засунул свой длинный нос в мой ковшик. — Всю ночь аукать будешь!
На кухню заглядывает Миша, смотрит на пирующих своими огромными глазами-светляками, так, словно никогда раньше не видел, как люди пьют водку. Замечает меня, радостно кивает.

— К нам, к нам! — кричит Сема, но Миша отводит его руку мягким жестом и исчезает в дверном проеме.
— Ну и ладно, нам больше достанется.
Я помешиваю свою горошницу.
— Что за шум, а драки нет?
Бабаян: легок на помине! И давай бить в свой бубен, словно с цепи сорвался.
Я помешивать-то помешиваю, а сама краем глаза поглядываю на пирующих: красавчик Зураб, Сема, Вася, Дашка Сточная Яма (уже лыка не вяжет), красный — не то от выпитой водки, не то от смущения — сам именинник Вова Жеребец, рядом с ним Жанка (обтянула свои фигушки красным топиком)…
Бабаян вьется вокруг Жанки со своим бубном, словно цыган вокруг лошади. Та выстукивает ритм тонкой ногой, обутой в босоножку на высоченной шпильке.
— Я отец троих детей, — кричит подвыпивший Сема. — Со мной и сидеть-то рядом опасно!
Дашка Сточная Яма хохочет и кидается лобызать смазливого Сему своей лягушечьей мордочкой.
— Ты мой дорогой…
— А тут звонит мне… ну, моя бывшая: мол, у тебя четвертый ребенок родился…
И Сема показывает фото новорожденного карапуза на своем мобильном.
— Ну ты прям как я!
Сточная Яма расплывается в улыбке.
— Радость моя, — четко выговаривает каждое слово Сема. — Разница между нами, знаешь, какая?
Сточная Яма испуганно таращит на Сему свои глазенки.
— Мне вот так вот могут позвонить и сказать: мол, Сема, у тебя родился ребенок… — Сема делает многозначительную паузу. — А тебе нет!
Он хохочет, хохочет и Сточная Яма, хотя, судя по выражению ее лягушечьей мордочки, она не понимает, в чем соль Семиной репризы.
На меня никто уже не обращает внимания, разве что Зураб… Как говорится, пьяный трезвого не разумеет.
Я снимаю с огня свой ковшик, еще раз оглядываю пирующих и выхожу.
Меня догоняет Зураб.
— Щас ведь самое интересное будет. Ты чего?
Я мотаю головой: мол, вам интересно, а мне нет… Он хватает меня за руку.
— И за что ты так людей-то не любишь, а?
Его вопрос повисает в воздухе. Я спокойно иду по коридору в свою комнату. Я чувствую спиной, как Зураб стоит и смотрит мне вслед. Я как канатоходец. Да еще и ковшик обжигает мою руку…
Хлопаю дверью: она чуть не слетает с петель, надеваю наушники, скребу ложкой по дну ковшика… Людей я не люблю! А вы любите? Издеваться над человеком только потому… потому… что он маленький… Я вот, когда иду по коридору на каблуках и встречаю Вову Жеребца, всегда радостно улыбаюсь ему: мол, мне дела нет до твоего роста…
Они бегают по коридору, орут, гогочут, мне кажется, что они стучат в мою дверь… Дурдом… Я надеваю беруши… Кое-как засыпаю… Среди ночи вваливается Дашка Сточная Яма: тш-ш-ш… Какой-то мужик кашляет… прямо мне по мозгам… Дашка изо всех сил дергает ручку сливного бачка… Хохочут… И опять: тш-ш-ш… Слава Богу, ушли… Людей я не люблю… Это ж надо, а?..
Утром с головной болью и с ковшиком в руках иду на кухню: бедлам… Пол залит не то кровью, не то красным вином… стены тоже… На плите нет ни од-

ного живого места, куда я могла бы поставить свой ковшик… Бутылки, краюхи засохшего хлеба, грязные тарелки… Меня просто воротит… Гляжу, кто-то свернулся калачиком на стульях и сладко посапывает… Вова Жеребец… Помешиваю свою кашу — Михаллна.
— Это что такое?
А я ноль внимания: я чиста! Вова резко вскакивает.
— Да мы это, Валентина Михаллна… Отметили…
Михаллна мотает головой: мол, знаю я вас! Она затягивается сигареткой, лицо ее опухло, из носа течет…
— Приболели?
— Не твое дело. Возьмешь тряпку — и чтоб все блестело, понял?
— Понял!
И ни с места.
— Ну, иди?
Михаллна удивленно смотрит на Вову, потом на меня: чего это с ним?
Вова не двигается. Я беру свой ковшик и к выходу.
— Погоди-ка!
Михаллна плюет на сигарку, кладет ее на грязную от пепла железную крышку от банки.
— А ну, пошли!
Она властным жестом манит нас с Вовой Жеребцом за собой. Я готова сожрать Жеребца… вместе с кашей…
— Открывай!
Вова послушно открывает дверь в свою комнату. Входим: ковшик обжигает мою руку. Я озираюсь по сторонам: куда бы поставить-то, а? Васина смятая постель пуста, а на кровати Жеребца кто-то лежит, укрывшись одеялом с головой.
Михаллна, как заправский фокусник, срывает одеяло: алле! И что мы видим? Жанка! Выставила свои фигушки с маленькими, словно бородавки, коричневыми сосками. И… Вася! Разлапил свою пухлую ладошку с розовыми пальчиками и большими ногтями на Жанкином ребре, а увесистую рыхлую ляжку положил аккурат на ее лоно, прикрытое редкими рыжими кустиками волос. Вова Жеребец опускает глаза, багровая кровь… точь-в-точь такого цвета, как на стенах общежитской кухни, ударяет ему в голову…
— Эт-то что такое? — по-армейски выкрикивает Михаллна. Того и гляди, выкрикнет и «отставить!».
Я опускаю глаза, беру ковшик в другую руку. В конце-то концов…
— Ладно, иди.
Михаллна машет мне рукой: мол, вольно…
— Если что, подпишешь что надо.
Я киваю и ухожу… Черт, каша остыла…
Вася рассказывал… Посидели, выпили… Разморило меня: закуски мало было…
В общем, такое дело: пошел Вася к себе и лег спать.
Просыпаюсь среди ночи… ну, отлить… А он читает ей…
— Кто? Кому? — И этажерка Михаллна, громко высморкавшись, оторвала глаза от бумаги.
Вова Жеребец… этой, как ее…
— «Вова Жере…». Тьфу ты черт, так и написала… Придется переписывать…
Этажерка плюнула, перечеркнула написанное.
— Ну куда торопишься-то — не успеваю…

А проснулся наш Вася и видит: лампа дневного света, в ее лучах Жанка и Вова Жеребец. Он читает ей «сценарий из жизни», она чувственно мотает головой. Вася терпел-терпел… вышел… Вернулся — ни Жанки, ни Вовы.
— Ну, а дальше что?
— Не помню…
Вася опустил свое пухлое лицо и потер переносицу.
— Не помнишь, да?
Этажерка засмеялась.
Вася помотал головой.
— Ладно, распишись вот здесь. «С моих слов записано верно».
Вася черкнул ручкой и медленно, словно большой мягкий кот, вышел из «предбанничка» этажерки.
Жанка рассказывала… Посидели, выпили… Разморило меня…
А дело так было: стала Жанка стучаться к себе, а дебелая девственница Аленка закрылась на все замки и не открывает. Что делать? К Юрке: мол, так и так, открой… А сосед его, верующий: креста на вас нет! — как заорет: чуть всю общагу не разбудил.
— А Вова… — Жанка стыдливо опустила глаза. — Уступил мне свою постель, как истинный джентльмен.
Теперь уже Вова Жеребец опустил глаза и багровая кровь ударила ему в голову.
— Ну, а дальше? — Этажерка громко высморкалась.
— Не помню…
— А сценарий он тебе читал?
— Какой сценарий?
— Ну, из жизни?
— Из жизни? Не помню…
— Ну, подпишись вот тут вот. «С моих слов записано верно».
Вова рассказывал Жеребец… Посидели, выпили… Разморило меня…
А дело-то как было: прямо на стульях и уснул…
— И это всё?
— Всё…
— А как они оказались в твоей постели?
Вова Жеребец опустил голову.
— И сценарий ты не читал?
— Какой сценарий?
— Из жизни… или какой там у тебя, я что, знаю?
— Из жизни? Не помню…
— Подпишись вот здесь. «С моих слов записано верно».
Зураб рассказывал…
Да ничего не сказал Зураб!
Я что, баба? Вы за кого меня принимаете?
Сема уехал в Одессу: четвертый ребенок у меня родился...
Дашка Сточная Яма… А что с нее взять?
Перечитала Валентина Михаллна то, что «с моих слов записано верно», покачала головой.
— Я что, эти сказки директору покажу?
Потом громко высморкалась, разорвала «сказки» на мелкие кусочки, да и выкинула их в мусоропровод: только и аукнули…
— Ну, ваше счастье!
Михаллна затянулась сигаркой, грозно посмотрела на нас всех… И не выдержала, рассмеялась. Рассмеялся и Зураб, и Жанка прыснула со смеху, и Вова Жеребец хмыкнул, и я скорчила гримасу…

А что дальше? Посидели, выпили… Что им сделается-то? Правда, Жанка съехала: сказала, к родственникам… Вова Жеребец погоревал-погоревал… и продолжал по ночам писать свой «сценарий из жизни». Вася просыпался от света лампы. Сема навещал своих четверых детей…
Жизнь продолжалась.

Сточная Яма

Дашка такая жила себе, по кличке Сточная Яма. Не слыхали? Ну, скажу я вам…
— Ты халат-то запахни! — И наша этажерка Михаллна ткнула пальцем в Дашкино голое брюшко. — Сверкаешь тут мне! И соседку вон принимай…
А засосало меня, братцы мои, в общагу: местечко не для хлюпиков. Этажерка, или дежурная по этажу (это уж кому как больше нравится), Михаллна выдула в меня струю дыма, аппетитно прищурилась:
— Новенькая, слышь? Белье иди получай.
И сантехнику Лехе, который «ходил» к ней:
— Эта долго не продержится, вот увидишь.
— Эт’ почему это? Грудки, глянь, какие кругленькие!
А я иду и слышать не желаю «ихний» треп. А они мне в спину, в спину! А спина как струна!
— И не облизывайся: эта… — Этажерка сделала паузу. — Не даст.
«Эта» не даст, зато даст Дашка Сточная Яма!
Прихожу домой — а они тепленькие!
–Ой, кто к нам пожаловал! — Ее лягушечья мордочка расплылась в улыбке.
— Какая ты у нас красавица… Не хочешь с нами? Слышь, Леш, она не хочет… — Сточная Яма скуксилась. — Не нравимся мы ей… надо же…
— Да отстань ты от нее! — Леха сверкнул металлическим зубом и увлек Дашку в открытую дверь. Та ни в какую, брыкается!
— Нет, ну я хочу знать, ну вот откуда такие берутся, а? Нет, ну мне интересно!
Я захлопнула свою дверь прямо перед носом у Сточной Ямы. Она в отчаянии лягнулась. Дверь подалась вперед всем корпусом, но устояла под напором Сточной Ямы.
Ритмичные звуки массивной железной кровати, которые усиливались смешком Сточной Ямы и рычанием Лехи, сопровождали мой хрупкий сон всю ночь.
Утром заспанная Дашка выползла из своей конуры в плавках и майке. Из приоткрытой двери мне в глаза ударил лучик: это блеснул металлическим зубом сопящий Леха.
— Слушай, ты, это… Ну, я, когда выпью, я… того…
Трезвой Дашку я не видела ни разу…
А кого только не засосало в Сточную Яму, мамочки родные! Перед всеми открывала свои ворота! Даже перед нашим «застенчивым» Гамлетом Арташезычем Айрапетяном, Завхоз Колхозычем, как мы любя его называли: голова как коленка, зато грудь в волосах, словно непроходимая чаща — ни одного живого места.
Захожу утром в ванную — а он бреется… моей бритвой: вырывает из груди кустики шерсти и бережно кладет их в раковину. А они распускаются там, словно молодая рассада…
— Ой, простите, извините… — И запахивает дверь: нет, это уж слишком!
— Гамлетик, ты омлетик будешь или яички всмятку? — булькает мне по мозгам Сточная Яма.

А я стою. Терплю, стиснув зубы. Вафельное полотенце обмотано вокруг моей шеи, словно веревка вокруг шеи висельника.
— Всмятку… — Завхоз Колхозыч опускает глаза и протискивается между мною и дверью в ванную. — Яички… — От него пахнет моим лосьоном. Молодая рассада кучерявится на поверхности воды: раковина засорилась — вечером придет Леха…
Я иду к Михаллне. Ритмичные звуки железной кровати все еще раздаются в моем воспаленном мозгу. Я негодую, я подбираю красивые слова…
— Я тебя к Бабаяну подселю — там будешь свои права качать!
Навстречу мне широко улыбается Леха: металлический лучик бьет в мои больные глаза.
— Ух ты, ух ты!
Я уворачиваюсь от его объятий.
— Я тебе говорю, не продержится…
Этажерка смеется, Леха чмокает своими лосиными губами.
— Ну, значит, продержим!
Я оборачиваюсь. Этажерка хохочет. Леха хватает ее за куриную ляжку.
— Да отстань ты!
— Грудки кругленькие, а попка маленькая, надо же, а…
— Одно и знаешь…
Животное… Открываю дверь — Сточная Яма опускает виноватые глазки.
— Я там тебе курочку оставила — покушай. Не скучай!
Она посылает мне воздушный поцелуй, нахлобучивает на голову белую панаму, и ее желтые сальные патлы стекают по плечам, словно разбитое яйцо.
— Опаздываю!
«Кушаю». Курочка нахально развалилась в большом синем блюде: на озеро похоже… и пахнет! А, в принципе, она неплохая бабенка, ну, Дашка, Сточная Яма…
Иногда она затихала на несколько дней, голодала и ставила себе клизмы… Чищусь, говорила Сточная Яма. Мне же доставались «супчик», «картошечка с котлеткой», «салатики»: «ты же любишь!» Еще как! Я ела — она подкармливала меня и была само совершенство!
Я тогда еще не догадывалась, что все это ради… Него… Он, Слава, смазливый стюард, мужчина, который отрастил самомнение, словно небольшое брюшко…
— …показал мне, что такое любовь! — изливала душу Сточная Яма.
После бани стюард Слава надевал Дашкин махровый халат, одноразовые белые тапочки и причесывал волосы на пробор. Сточная Яма зацветала.
— Пойдем с нами!
Стол ломился от яств: Слава был редким гостем. Он аккуратно поддевал «вилочкой» «красную рыбку, вкусненькую» и отправлял ее в свой «ну ты только посмотри, какой у него!» рот, медленно и со смаком жевал и тыкал в фото всё той же «вилочкой»:
— Это я, на рыбалке!
И смотрел на меня восхищенными глазами: восхищался он явно собой. Сточная Яма везла его в парк аттракционов, спускала на него кровно заработанные деньги.
— Нет, ну ты представляешь: ты, говорит, моя будущая жена, чего ж ты деньги-то считаешь?
В историю предстоящей женитьбы не верила даже она сама.
Потом разыгрывалась бурная сцена. Слава исчезал. Снова блестел своим металлическим зубом Леха, бережно отрывал от груди кустики молодой порос-

ли Гамлет… В ритме биения железной кровати об стену я даже сочинила песенку: «Сточная Яма, Сточная Яма, всем дает налево и направо!»
Однажды утром Сточная Яма медленно открыла мою дверь, словно облако, опустилась на кровать…
— Я ухожу… умирать… Передай эту записку мамочке, обещаешь?
Я спросонья кивнула. Она сунула скомканную бумажку в мою руку и, таинственно заглядывая мне в глаза, испарилась...
— Ну скоро ты там? — прорезал мой слух мужской хриплый голос.
— Иду… — крикнула Дашка. И едва слышно шепнула: — Умирать…
Я встала. Развернула записку: «Мамочка, прости меня! Я очень люблю тебя!» На часах была половина шестого утра: уснешь тут! Черт бы тебя побрал!
Ночевать она не пришла. Господи, впервые за долгое время я выспалась и даже сон видела! Я напевала мою песенку «Сточная Яма, Сточная Яма, всем дает налево и направо!», поддевала «вилочкой» «красную рыбку»…
— Дашка пропала! — завизжала в трубку подружка Сточной Ямы Борзова. — Звоню ей, а там какой-то мужик: нашел, мол, симку в канаве… — И ревет как белуга.
«Рыбка» встала колом у меня в горле: да провались она ко всем чертям в их канавы и… сточные ямы! А черные кошки душу-то скребут. Звоню в милицию: мол, такая-то пропала, телефон берет посторонний… Что? Сколько лет? Да черт ее знает… Лягушечья мордочка… Хорошо, сообщу…
Приехала «мамочка, я очень люблю тебя!». По-хозяйски осмотрелась. А там такой зад, того и гляди, к стенке придавит…
— В психушке она. — И давай распаковывать сумки: специи, мед, варенье…
Я облизнулась.
— Мед нынче не тот. Я медом торгую. Вечерком пловчик приготовлю. Пловчика будешь?
А то как же…
— В психушке, — повторила «мамочка, я очень люблю тебя». — Позор-то какой…
Она выдохнула. Я разглядела ее лицо: мордочка с кулачок, как говаривала моя бабушка, голубые мутные глазки, кусочки туши на ресницах, остренький носик, изжеванные губы… И крашеные рыжие прядки волос, сквозь которые нагло прет седая поросль.
— Ладно, жива хоть…
Я кивнула.
— Тут у вас, говорят, из окон выпрыгивают? Паренек, говорят, недавно, выпрыгнул какой-то нерусский?
Надо же, и когда успела-то все сплетни собрать? Я кивнула: выпрыгивают. Их у нас летунами называют: мол, опять летун? Опять… И чего им не живется-то… Один дядька даже статистику, говорят, ведет: мол, столько-то выпрыгнуло, столько-то травануло…
— Пила она?
Еще как! Я зачерпнула меду: длинный золотистый хвостик потянулся следом за ложкой, поблескивая и переливаясь на свету.
— Да ты бери прямо всю плашку: вон его сколько. Дашка-то мед не жрет: все голодает…
Ага, посмотрела бы ты, как она голодает…
— А ведь такая была… Помню, учителка мне: мол, за партой сидит, ну словно птенчик. Ручки вот так вот сложит — любо дорого поглядеть… Ой… Как пловчик, ничего?
Я кивнула.

— Моя-то мясо не жрет… А что за мужик-то с ней был, ну тогда, ночью?
Да что за мужик? Хриплый голос… «Ну скоро ты там?»
— Ее ведь избитую всю нашли, в канаве…
«Мамочка, я очень люблю тебя» прослезилась.
— Лучше б он убил ее, глаза б мои не глядели…
Дашка Сточная Яма лежала в психушке. «Мамочка, я очень люблю тебя» быстро освоилась и хозяйничала налево и направо, успевая по утрам навещать свою непутевую дочь и кормить меня пловчиками, медовиками и рассказами о Дашкином счастливом детстве: и чего ей надо-то было, засранке, а?
Через две недели она появилась… Тихая, смирная… «как птенчик»… «ручки сложит… любо дорого поглядеть»… Только кожица на лягушечьей мордочке обвисла и глаза утонули в бездонной синеве…
Я перекрестилась. Неужели покой?
«Мамочка, я очень люблю тебя!» уезжала. Сточная Яма тихо поскуливала у нее на плече.
— Ну ладно, хватит! И смотри у меня. Ты поняла?
Сточная Яма покорно кивнула, слизывая сопли языком.
— Я ведь совсем другим человеком стала, — говорила она, лежа в постели и преданно глядя в мои глаза. — Бери, бери, не стесняйся!
Я ела сухофрукты: вот это да, не то что здесь, в Москве, — настоящие, сочные, сочинские! Я, когда была маленькая, думала, что город Сочи так называется потому, что там все сочное… Я улыбнулась этому детскому воспоминанию и зачерпнула горсть высушенных на ярком южном солнце груш.
— Совсем другим! Я ведь… мне ведь пить нельзя… Я ведь…
Сточная Яма разливалась признаниями и клятвами. Я наслаждалась вкусом нежнейшего чернослива. Ну разве у нас чернослив? Одно название…
— Ты посиди еще, не уходи…
Да куда уж еще… Ну разве что немножко медку, чуть-чуть… И мед-то какой: в бутылке… Жидкий… И не застывает совсем! И чистый, ну вот, как слеза… ну, так говорят…
Сточная Яма что-то лопотала своей лягушечьей мордочкой: ква-ква-ква, ква-ква-ква. Заглядывала мне в глаза, хватала за руку: я чуть медом не вымазалась!
— Да пошли они все! Правда же?..
Через два дня появился Слава… Запахло жареным… мясом… Сточная Яма вышла из берегов!
Батарея бутылок — и дикий хохот: я запнулась об эти бутылки, пытаясь пройти в свою комнату… Ну, ты у меня дождешься…
«Сточная Яма, Сточная Яма, всем дает налево и направо…» А у самой зубы стучат от злости: убила бы эту лягушечью рожу… Вот так бы вот потянула бы за уголки рта… и…
И снова аттракционы, «рыбка красная», «пловчик»… Да подавись ты, и не прикоснусь…
Ночью Слава «случайно» перепутал двери. Он сел на край моей кровати, в белом Дашкином махровом халате…
Я не успела отпрянуть: он ловко поймал мою грудь в свою шершавую ладошку…
— Какая ты красивая… Ну чего ты кобенишься: одна ведь…
От него пахло южными пряностями… Голова моя закружилась…
— Ах ты сука!
Сточная Яма ворвалась в мою комнату. Слава, в белом махровом халате, укрывал меня, словно большой тяжелый плед…
Сточная Яма распахнула свой рот — и оттуда потоком полились слова.

— Какая ты сладкая… Я еще вернусь…
Он резко вскочил, схватил Дашку за космы и вытолкнул ее в дверь… Я услышала, как она упала... Господи, да пропади ты пропадом…
Снизу постучали. Дашка затихла: после психушки, как-никак… лягушечья мордочка-то в пуху…
Пришел Слава, тихо повернул ключ в моей двери…
— Не бойся, спит… Я ей водки налил… ну, и какое-то там ее снотворное… Да что с ней сделается? Она живучая… Ну иди ко мне…
Он распахнул белый махровый халат… и показал мне, что такое любовь…
Утром Сточная Яма, как ни в чем не бывало, позвала меня к столу.
— Слава смылся… вот… козел… Я на него вчера, знаешь, сколько денег спустила…
Мое тело все еще пылало от его ласк… Дашкины «блинки с медком» обжигали рот…
— А я чо, сильно вчера бухая была? Ничо не помню… Ой, ужас!
Сточная Яма глянула на себя в маленькое зеркальце.
— Рожа как у алкашки…
А ты кто? Не алкашка, что ли?
— А чо он тебе говорил? Ну, Слава?
Имя «Слава» она произнесла, словно кошка, приторно растягивая слоги.
«Какая ты сладкая! Я тебя всю хочу, всю…» Я помотала головой.
— Да ладно, я же видела, как он на тебя глаз кинул… Конечно, была бы я такая красавица… Он-то вон какой…
Я покраснела. Его лицо нависло надо мной и раскачивалось в темноте, словно маятник: туда-сюда, туда-сюда…
— Ни с кем у меня так не было… — разливалась Сточная Яма. — Хочешь его? Ладно, так и быть, попробуй: свои ведь…
Она захохотала. Лягушечья мордочка расплылась, глазки превратились в щелки… Блин встал у меня колом в горле! Какая щедрость!
Слава не приходил…
— Нет, ну не сучара, а? Тридцать штук у меня занял: мол, ты же моя будущая жена, чего, мол, ты жмешься? Как думаешь, отдаст?
Мое тело все еще помнило его ласки… Я помотала головой: ага, жди, отдаст он тебе! Догонит и еще отдаст…
— Он ведь со мной ради квартиры…
И Сточная Яма вылила мне, что, оказывается, у нее есть здесь «маленькая квартирочка», которую она сдает… Но скоро…
— Думаешь, женится?
«Какая ты сладкая», — шептал он и облизывал меня, словно мороженое.
Я поежилась.
— Ой, тебе холодно? Накинь халатик…
И Дашка кинула мне белый махровый халат… со Славиным запахом…
Вечером пришел…
— Мой бывший муж!
Я ахнула: Господи, у нее еще и бывший муж… Дашка бросила в меня победоносный взгляд. Какая Сточная Яма не мечтает быть Океаном!
«Мой бывший муж» даже не глянул на меня: снял кроссовки и потопал по полу босыми ногами…
«Сточная Яма, Сточная Яма, всем дает налево и направо!» А что мне оставалось делать? Только напевать песенку под звуки ходящей ходуном железной кровати.

Она опять пропала, Дашка, Сточная Яма. Я вздохнула… Я открыла настежь окна, я вышвырнула пустые бутылки и окурки… Я лакомилась медом и сушеными грушами… Я хохотала, черт возьми! Позвонил… Слава…

—

Дашка там говорила что-то насчет машины, что-то там починить нужно… Она тебе ключ не оставляла? Спустишься?

Какая машина? Эта старая развалюха, что ли?

Спуститься или нет?..

Он стоял, как-то весь ссутулившись… Его светлые глаза блестели на загорелом лице. Увидел меня, приосанился…

— Гости только до одиннадцати часов, слышали?

Вахтерша сверкнула своими глазками-буравчиками и записала Славину фамилию напротив номера моей комнаты.

— А паспорт?

— А паспорт отдам, когда спустишься. Ишь ты, взяли моду…

А как же Дашка проводит своих «бывших мужей»?

Мы вошли в лифт. Слава облизнулся и сжал мою грудь своими огромными ладонями. Я вспомнила, как Сточная Яма поливала его.

— Дорого же он мне стоит… Только и знаю что плачу за него. Вахтерше и то совать приходится каждый раз… А что сделаешь? Не могу я без парней… Да и люблю я его… Ты ж знаешь, какой он…

Я закатила глаза. Слава задыхался, расстегивая мою блузку.

— Какая ты сладкая, — шептал он уже в комнате, вставляя ключ в замочную скважину.

Я вдруг как-то обмякла… Я ничего не чувствовала…

— Тебе плохо со мной? А? — почти кричал он, раскачиваясь надо мною, словно маятник.

Я молчала. Я не понимала, что со мной происходит… Да просто Сточной Ямы не было за стенкой… вот и все! А без нее… он мне и не нужен…

— Ну почему ты такая холодная? Ой, влип как дурак… Вот таких вот, как ты, мужики и любят… А знаешь, почему?

Да иди ты…

— Я всю тебя хочу… каждый день… Ты хочешь? Хочешь?..

Ага, то-то ты носу не казал все это время. А как машина тебе понадобилась, ты и нарисовался… со своим брюшком…

Слава заплакал…

Сточная Яма вернулась через неделю… В какой-то грязной кофте, с облезлой плюшевой сумкой через плечо…

— Сволочь… и чтобы я еще хоть раз… Завез меня в какую-то дыру… Деньги отобрал, телефон…

Она жевала сопли, ее лягушечья мордочка дрожала, словно ее дергали за ниточки.

— Еле живая… Завари чайку, а?..

Я отпаивала ее чаем с лимоном. Сточная Яма преданно, по-щенячьи, заглядывала в мои глаза и пила у меня с рук горячий чай… обжигалась, глотала воздух… Слезы текли из ее глазок, оставляя грязные следы на щеках…

— Всё, это в последний раз… Нашли дуру…

Она в изнеможении улеглась на постель.

— Слава не звонил? Я дала ему твой номер… там машина забарахлила…

Я помотала головой.

— Але, Славочка? Да, мой хороший, да…

Я вышла из комнаты… мне противно было слышать эти беспомощные квакань…

«Славочка» не появлялся… Зато пожаловала «мамочка, я очень люблю тебя!»
— Ах ты тварь!
И прямо с порога она наотмашь дала Дашке по лягушечьей мордочке. Та закрылась руками и шмыгнула в свою комнату.
— Ты забыла, как ты валялась в психушке? Ты что, обратно захотела? Нет, ну ты посмотри на нее, а?
«Мамочка, я очень люблю тебя!» сделала широкий жест в мою сторону.
Я сумку в руки и за дверь: разбирайтесь сами! Ну вас всех к чертям!
Вернулась за полночь. На «тарелочке» «кусочек тортика» (так и слышу, Сточная Яма лопочет своим лягушечьим ртом: «Скушай тортика, тебе оставили!»), а за дверью шепоток. Я звякнула посудой — замолкли. То-то! Я вам покажу! А сама тортик в ротик: хорош-ш-шо!
Утром «Мамочка, я очень люблю тебя!» закрылась в ванной. Сточная Яма высунулась из двери и подозвала меня пальчиком.
— Тш-ш, на вот, спрячь!
И сует мне увесистый сверток, из которого выглядывает песцовый хвостик.
— У бывшего стырила. Без штанов меня оставил, так хоть это сперла! Бабе, небось, какой-нибудь прикупил…
И хохочет, мордочка твоя лягушечья!
— Мать не знает. Тш-ш-ш! Спрячь. Можешь поносить, тебе пойдет.
Горжетка просто роскошная! Я накинула ее на шею, туда-сюда, покрутилась у зеркала: ну королева… Вот бы… Слава меня увидел… Я небрежно швырнула горжетку на кровать: она покорно хлопнула своим хвостиком по покрывалу.
Сточная Яма тут как тут.
— Маман засела теперь на весь день. Ну-ка покажись!
Я примерила горжетку.
— Шикардес! Ну какая ты у меня красавица! Слава, знаешь, что про тебя сказал?..
И она кинулась целовать меня своим лягушечьим ртом.
— Всё, кажись, выходит… Тш-ш-ш…
И юркнула за дверь.
— Ну, чем ты меня будешь кормить? — услышала я голос «мамочки, я очень люблю тебя!».
Она что, тут поселиться решила? Дурдом! Никакого покоя! И к завтраку меня не зовут… Да подавитесь вы… А что сказал-то? Ну, Слава… Легок на помине…
— Да у меня… ноги свинцом сводит… думаю вот всё о тебе…
И орет в трубку, словно его режут. Ноги у него свинцом сводит.
— Прилечу из Орла — давай увидимся… прям не могу больше…
Потерпишь… Тоже мне… орел!
— Что тебе привезти?..
И эта туда же…
— Покушаешь с нами?
А у меня его фотка на телефоне…
— Ой, а кто это?
И вырывает у меня из рук трубку.
— Слава, Славочка! А я… а ты…
— Да вот, ищу тебя!
— Соскучился? Приезжай! В Орле? Да ты мой…
Я выхожу из комнаты. Господи, как вы все мне надоели…
Сточная Яма просто цветет!
— А что он говорил-то, а?

Да что говорил — ничего не говорил… ноги у него свинцом свело, что говорил… Я что-то пробормотала… Сточная Яма брызгала слюной.
— Такой заботливый… Черт с ними, с деньгами, правда? Пойдем с нами покушаем?
И наваливает мне гору «пловчика» на тарелку.
— Ты мяско кушай! На вот еще.
И обкладывает гору «пловчика» большими кусками мяса, словно валунами.
— Надо же, — улыбается «мамочка, я очень люблю тебя!», — такая худенькая, а как кушает хорошо! А ты все голодаешь, а толку… Жопу отрастила… На себя бы поглядела…
— Между прочим, Слава звонил!
И Сточная Яма победоносно зыркает на «мамочку, я очень люблю тебя!»: мол, жопу отрастила, а Слава-то все равно мой!
— Да нужна ты ему. У него таких, как ты, в каждом городе… Летун… Вообще-то летунами у нас называют… Я чуть не поперхнулась…
— А может, по маленькой, а?
Сточная Яма достает из-под подушки чекушку… «Мамочка, я очень люблю тебя!» испуганно смотрит сначала на дочь, потом на бутылку, потом на меня…
— А, черт с ним, по одной можно!
Я мотаю головой: водку, да еще утром…
— Она у нас аристократка!
Сточная Яма вливает в себя водку и как-то словно обтекает вся, обвисает… «Мамочка, я очень люблю тебя!» хватает ее за шкирку, трясет туда-сюда…
— Ой, а она живая?..
А я знаю?
«Мамочка, я очень люблю тебя!» что есть сил хлещет Дашку по лягушечьей мордочке. Та приоткрывает слипшиеся веки…
— Славочка…
«Да что ей сделается, она живучая!» Его слова, Славины.
— Послал же Бог дочь, нечего сказать! От людей стыдно.
«Мамочка, я очень люблю тебя!» смотрит на меня своими мутными глазками.
Я выхожу из-за стола: разбирайтесь сами!
Утром Сточная Яма цветет и пахнет.
— Ой, ну хоть не едь никуда… Я уеду, а она опять за свое!
«Мамочка, я очень люблю тебя!» взваливает на горб тяжеленную сумку. Другую хватает Сточная Яма, подмигивает мне: мол, прорвемся! Шепчет мне одними губами, лягушечья твоя мордочка: мол, Слава завтра прилетает!
Да знаю, звонил уже… черт бы его побрал! И вас всех заодно!
Вечером она заявляется в компании… «моего бывшего мужа»… Я не верю своим глазам. Сточная Яма, кажется, тоже… Она виновато смотрит на меня, поджав лягушечьи губки, разводит руками: мол, и сама не знаю, как такое могло получиться. «Мой бывший муж» снимает кроссовки и, даже не глядя на меня, топает по полу своими босыми ногами…
«Сточная Яма, Сточная Яма, всем дает налево и направо!» Звуки все сильнее, сильнее… Я затыкаю уши, я больше не могу, я не выдержу… Я слышу стоны и крики… И тут только до меня доходит, что «мой бывший муж» просто избивает Дашку. Мне страшно. Я ныряю под одеяло… И вдруг тишина… Я выжидаю полчаса, час… я сама не знаю… Осторожно приоткрываю свою дверь… Кроссовок нет… Выхожу, а сердце колотится, словно птенчик в клетке… Заглядываю в Дашкину комнату… Она лежит на полу, раскинув руки в стороны, словно подстреленная птица… Я боюсь притронуться к ней… Я на цыпочках прокрадываюсь обратно к себе и запираю дверь на замок… Фу…

Какой тут сон… В висках стучит… сердце вот-вот вылетит из груди… Только бы пережить эту ночь, только бы пережить…
Утром… Что такое? Я выхожу за дверь: ноги мои в воде, которая хлещет из ванной… Гляжу, а Сточная Яма скривилась под душем, голая, вся в синяках, в кровоподтеках, и льет прямо на пол… Ее лягушечья мордочка расползается в улыбке.
— Ой, какие люди…
Она держится за разбитую губу.
— Ты что, ничего не слышала? Как он меня избивал? Не слышала? Ты моя радость…
Она направляет струю воды прямо в меня. И хохочет… И снова хватается за разбитую губу.
Я выбегаю из этого… болота! В конце концов, я человек! Я не позволю над собой издеваться! Я…
— Ладно, успокойся!
Этажерка ласково гладит меня по головке.
— Выселяют ее… Заходим, а она стоит… хоть бы прикрылась, бесстыжая!
Этажерка смеется, аппетитно посасывая сигаретку.
— Пойдем, я тебя провожу…
Сточная Яма собирает свои вещи. Зыркает на меня с ненавистью подбитым глазом.
— Сучара…
— Ну ты! Язык-то попридержи!
Это этажерка ей.
— Да пошли вы!
— В психушку захотела? А то гляди, я тебе устрою!
Сточная Яма виновато опускает глаза…
Я открываю все окна, я выветриваю самый дух Сточной Ямы…
Дверь в ее комнату бесстыдно распахнута, голая кровать с матрасом, из которого торчат пружины, сиротливо смотрит на меня… Я бессильно падаю на этот матрас и начинаю раскачиваться, как когда-то, в детстве… Железные кругляши кровати остервенело бьют об стену… «Сточная Яма, Сточная Яма, всем дает налево и направо…»
Звонит Слава.
— Я прилетел! Лечу…
Я нехотя спускаюсь…
— Повадились, — сквозь зубы выдавливает из себя вахтерша. — Только до одиннадцати часов, поняли?
И зыркает на нас со Славой: в его руках большой букет белых хризантем.
— Эй, а паспорт! Ишь, шустрый какой!
Слава что-то говорит ей, смеется… Потом сжимает меня своими ручищами в лифте… Цветы падают на пол…
— У вас что, война, что ли?
Слава окидывает удивленным взглядом разоренное жилище Сточной Ямы.
— А Дашка где?
Я ложусь на ее голую кровать и маню Славу к себе рукой.
— Да пойдем к тебе. Здесь-то зачем?
Я упираюсь. Он пытается стянуть брюки, но торопится, путается в штанинах и падает на пол…
— Ч-черт!
Наконец, освобождается от тесной одежды, кидается на меня, как стервятник на добычу… Его лицо с налитыми жилами раскачивается надо мной,

словно маятник, торчащие пружины больно впиваются в мою спину, железные кругляши на кровати бьются об стену… «Сточная Яма… налево и направо…» Я ничего не чувствую…
— Тебе было хорошо со мной?
Я медленно киваю головой.
Ну, встретились мы с ним еще пару раз… А потом… А что потом?..
Я вхожу в твою комнату, которая так и осталась открытой… Сажусь на голую кровать. Торчащие пружины впиваются в мое тело… Я медленно раскачиваюсь… Песцовая горжетка обмотана вокруг моей шеи, хвостик прыгает по груди в такт песенке: «Сточная Яма, Сточная Яма, где ты теперь?»… Видела б ты меня: королева!

Редактор:
Е. Жмурко (Германия)

Редакционная коллегия:
Владимир Порудоминский (Германия), Инна Иохвидович (Германия),
Светлана Лось (Канада)

Рецензенты: Елена Крюкова (Россия), Ирина Жураковская (Украина), Олеся Янгол (Латвия), (США), Наталья Борисова (Германия).

Художник: Ольга Федорчук (Украина)

Copyright © 2013–2017 Зарубежные Задворки

ZA–ZA Verlag: www.za–za.net
Düsseldorf, ноябрь 2017 — 250 с.
Гарнитура «Verdana»; кегль «11»

Отпечатано в типографиии LULU, USA,
Распространение в России и СНГ —
издательство КАРАМЗИН.